ЭВАРИСТ ГАЛУА

Леопольд Инфельд

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Книга Леопольда Инфельда рассказывает удивительную историю Эвариста Галуа, который в возрасте двадцати лет отдал жизнь за Французскую республику. В ночь накануне гибели он написал несколько страниц алгебраических уравнений, сделавших его одним из величайших математиков всех времен.

Короткая жизнь Галуа была полна героизма, страданий и обманутых надежд. Его почти дерзкая уверенность в собственном необычайном математическом даровании стала причиной того, что преподаватели преследовали его, а ученые игнорировали. Исключенный из школы за свой неукротимый республиканский дух, он был затем брошен в тюрьму и, наконец, стал жертвой дуэли, подстроенной его политическими противниками.

Когда Галуа умер, он был известен только как неистовый республиканец, ненавидевший тиранию и боровшийся за Францию и свободу. Но бессмертия Галуа достиг тем, что успел написать за тринадцать часов до смерти и что ныне ученые исследуют как «группу Галуа», «поле Галуа», «теорию Галуа».

С биографией Галуа искусно переплетается рассказ о Франции XIX века — Франции после поражения Наполеона, во время реставрации Бурбонов; Франции Гюго, Дюма, Делакруа; рассказ о бурных днях июльской революции 1830 года, в которой Эварист Галуа сыграл столь трагическую роль.

Книга адресована самому широкому кругу читателей, но и математик найдет в ней для себя много интересного.

-
- I КОРОЛИ И МАТЕМАТИКИ
- II МЯТЕЖ В ЛУИ-ЛЕ-ГРАН
- III «Я — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАТЕМАТИК»
- IV ГОНЕНИЯ
- V ГОД РЕВОЛЮЦИИ
- VI «ЗА ЗДОРОВЬЕ ЛУИ-ФИЛИППА»
- VII СЕНТ-ПЕЛАЖИ
- VIII ВОЗВРАЩЕННАЯ СВОБОДА
- ПОСЛЕСЛОВИЕ
- ПРИМЕЧАНИЯ
- БИБЛИОГРАФИЯ
- ОБ АВТОРЕ
- ИЛЛЮСТРАЦИИ
- notes
    - 1

○ 2
○ 3
○ 4
○ 5
○ 6
○ 7
○ 8
○ 9
○ 10
○ 11
○ 12
○ 13
○ 14

Тот, кого любят боги, умирает молодым.

МЕНАНДР

Эвариcту Галуа было в то время не более двадцати трех, двадцати четырех лет от роду. Он был один из самых неистовых республиканцев.

Александр ДЮМА (отец)

Около 1830 года во Франции появилась новая, необычайно яркая звезда на горизонте чистой математики… Эварист Галуа.

Феликс КЛЕЙН

Русскому читателю

Всего несколько дней тому назад в Москве я говорил по телефону с редактором серии, в которой появится эта книга. Я спросил, кому из зарубежных ученых посвящены другие книги серии. Он назвал Эйнштейна, Коперника, Склодовскую-Кюри, Фредерика Жолио-Кюри. Первое из этих имен очень дорого моему сердцу. Никогда не забуду я огромного личного обаяния и доброты Эйнштейна, его бесконечно глубоких суждений о проблемах физики. Долгие годы я знаком с Фредериком Жолио, человеком, ученым; я восхищен тем, что он стоит в первом ряду борцов за мир. И, разумеется, каждый поляк гордится именами Коперника и Склодовской-Кюри. Прекрасное общество! Однако герой моей книги, Галуа, достоин его, хотя это имя, несомненно, менее знакомо рядовому читателю.

Попросите любого математика назвать, скажем, двенадцать величайших математиков всех времен. Среди них, по всей вероятности, он назовет Галуа. Но Галуа умер, когда ему еще не было двадцати одного года! Как удалось ему совершить так много? Какова была его жизнь? Эти вопроса тревожили меня чуть ли не с детства — с той минуты, когда мой школьный учитель впервые упомянул о проблеме решения алгебраических уравнений. Я дал себе слово, что добьюсь ответа.

Во время войны я находился в Канаде, где работал над научными проблемами, связанными с войной. И до войны и главным образом после нее моим любимым занятием в часы досуга было изучать эпоху Галуа, его жизнь. К счастью, в моем распоряжении были все существующие источники, в том числе фотокопии всех рукописей и газет того периода, а также превосходная карта Парижа 1830 года.

Галуа был выдающийся революционер. При жизни он был известен как друг народа и защитник его прав. Никто (или почти никто) не думал тогда, что он великий математик. Занимаясь его историей, я страдал вместе с ним, восхищался его мужеством, и порой его нежелание открыться, объяснить себя людям приводило меня в ярость. Я пытался нарисовать его образ в соответствии с теми немногими фактами, которые нам известны о нем.

Удалось ли это мне, не знаю. Судите сами. Мне остается лишь добавить: я счастлив, что моя книга выходит на русском языке — языке народа, совершившего Октябрьскую революцию. Вы сумели удержать свои завоевания в отличие от французского народа, который столько раз начинал борьбу и столько раз был предан.

Леопольд Инфельд

Варшава, май 1958 года

Моим читателям

Это было в маленьком, но знаменитом университетском городке в Америке, вскоре после падения Франции. Я сидел с друзьями. Стараясь рассеять мрачное настроение, мы попивали вино и на разные лады повторяли газетные новости и лозунги Черчилля. Суть наших разговоров (правда, в более скромных выражениях) сводилась к тому, что свобода не может умереть в стране, породившей ее, что Францию предали, но что Франция, подобно Фениксу, возродится из пепла. (Мы почувствовали бы себя весьма неловко, если бы кто-нибудь из нас выразился именно так.) Потом заговорили о французских ученых и их судьбе. Я упомянул Галуа. Один из моих друзей, писатель,

спросил, кто это такой. Я рассказал ему историю жизни Галуа. Он сказал: «Это удивительная история. Вы должны ее записать. Напишите о нем книгу». Я ответил, что идет война, что я занят. Но у него на это был готов ответ: «Раз вы заняты, вам нужен отдых от работы. Писать приятно, только если делаешь это ради отдыха». Я возразил, что существует очень мало источников, что многое относительно Галуа до сих пор неясно. Мой друг воодушевился еще больше: «Прекрасно. Значит, ни один профессор из тех, что живут комментариями, не станет уличать вас в ошибках. Можете выдумывать сколько душе угодно».

Все это я вспомнил позже, когда ходил по университетской библиотеке в поисках книжки на уик-енд. Я посмотрел, что значится в каталоге под именем Галуа, и нашел очерк Дюпюи, на который ссылаются всегда и повсюду, когда бы ни зашла речь о жизни Галуа; затем очерк Бертрана, написанный шестью годами позже и содержащий кое-какой новый материал, — как ни странно, я не видел, чтобы кто-нибудь им пользовался или цитировал его. Потом я нашел в библиотеке двухтомник о Луи-ле-Гран — школе, где учился Галуа. Эти книги я взял домой, а вместе с ними «Историю десяти лет» Луи Блана и «Мемуары» Александра Дюма.

Прошло несколько уик-ендов, и со мною произошло нечто такое, что почти невозможно объяснить человеку, с которым этого не случалось, но что покажется естественным всякому, кто это испытал. Я влюбился во Францию XIX века. В годы войны мысли о Франции и Галуа были для меня и моей жены спасительным прибежищем в часы страхов, сомнений, несчастий. Я тратил все свободное время на изучение жизни Галуа, его эпохи. Потому что в повести о Галуа есть две центральные фигуры, одинаково важные: Галуа и французский народ.

Я прочел все источники, которыми располагают богатые американские библиотеки. Затем я узнал от профессора Синга (в свою очередь, узнавшего об этом от профессора Курана), что в Луисвилле, штат Кентукки, живет м-р Уильям Маршалл Буллит, который много лет собирает фотографические копии документов, относящихся к Галуа, и у которого собрано все, что о Галуа написано. М-р Буллит любезно предоставил в мое распоряжение свою коллекцию и свое время. В коллекции есть и ранее никому не известные, неизданные материалы, обнаруженные м-ром Буллитом и его сотрудниками-исследователями. Как ни странно, любому, кто захотел бы написать о Галуа в Париже, не мешало бы съездить в Луисвилль, Кентукки. Правда, эти дополнительные материалы ничего существенного к истории Галуа не добавляют, но тем не менее приятно знать, что весь фактический материал

тебе знаком. Разумеется, не исключено, что какие-нибудь еще не открытые или не опубликованные мемуары эпохи Галуа прольют новый свет на его жизнь; но это кажется мне очень маловероятным.

Все известные источники, однако, освещают лишь отдельные периоды жизни Галуа. Они подобны коротким отрезкам, из которых можно по-разному связать нить жизни. Остальное следует дополнить мыслью, воображением, догадкой.

Человек, читающий биографию, захочет узнать наперед, достоверна ли история, которую преподносит ему автор (что бы ни означал такой вопрос). Кое-кто считает, что биография, написанная в форме художественного произведения, не имеет права на существование и ее следует запретить законом. Однако слово «художественный» можно понимать по меньшей мере двояко. Биография является художественным вымыслом, если автор изображает что-то помимо фактов, если он позволяет себе менять последовательность фактов или умышленно искажать их ради большего эффекта. В этом смысле моя книга нехудожественна, ибо я не считал себя вправе изменять раз и навсегда установленные факты истории или факты, относящиеся к жизни Галуа.

Но слова «художественное произведение» употребляются и с другим значением. Биографию называют художественным произведением, если автор сочетает правду с вымыслом для того, чтобы дать более полное и последовательное (с точки зрения автора) описание жизни героя, если слова, которые произносят герои книги, не зарегистрированы историей. В этом смысле настоящая биография — художественное произведение. Впрочем, когда повествование достигает кульминации и описываются наиболее значительные эпизоды, в них почти все — историческая правда. Мне кажется, у меня есть основание сказать, что по существу эта повесть правдива. О том, что в ней правда, а что вымысел (что придумано там, где история молчит), я коротко скажу после того, как моя повесть будет окончена.

Я пользуюсь случаем поблагодарить по крайней мере нескольких из людей, которые помогли мне: м-ра Буллита, о любезности которого я уже говорил; профессоров Коберна, Кокстера и Шлауха, которые прочитали рукопись и сделали полезные замечания; моего друга С. Чагермана и работников университетской библиотеки, помогавших мне в исследованиях. Микель Грэм, молодой поляк, солдат и поэт, приговоренный болезнью к смерти, умер в госпитале в Торонто. Я бывал у него постоянно, мы стали близкими друзьями. В наших бесконечных разговорах о Галуа прояснилось многое в этой повести. Казалось,

Грэма больше интересовала жизнь Галуа, чем его собственная угасающая жизнь.

Я не благодарю жену; это все равно что благодарить самого себя. Книга в такой же степени принадлежит ей, как и мне.

Леопольд Инфельд

I КОРОЛИ И МАТЕМАТИКИ

Год 1811

В 1811 году у императора Франции родился долгожданный сын. Долгожданный сын родился и у мсье Никола́-Габриеля Галуа в городе Бур-ля-Рен. О рождении римского короля взбудораженному Парижу возвестил сто один пушечный залп, эхом прогремевший по всей империи. В архивах Бур-ля-Рен хранится документ, в котором сказано, что 26 октября в час дня к мэру города явился тридцатишестилетний директор школы-интерната при Императорском университете мсье Никола́-Габриель Галуа. Показав мэру родившегося накануне младенца, Галуа сообщил, что родители ребенка — он и его жена Аделаид-Мари Демант-Галуа и что они желают назвать сына Эваристом. Король римский рос на глазах Франции и всего мира. Эварист Галуа рос только на глазах своей семьи.

В 1811 году над Европой сверкала яркой позолотой империя Наполеона. Цветы, драгоценные камни, колыхающиеся плюмажи украшали придворных дам. Блистали орденами и наградами, полученными от победителя и побежденных им королей, придворные офицеры, генералы, маршалы, государственные советники и посланники иностранных держав. Орлиным оком взирал с высоты трона император на свою разодетую, усыпанную драгоценностями корсиканскую родню, на созданную им новую аристократию, на старую аристократию, привлеченную из изгнания великолепием его двора.

Чем ярче сияла империя снаружи, тем глубже разлагалась

она изнутри. Не были сломлены Испания и Португалия. Россия нарушала континентальную блокаду против Англии. Ежедневно император читал донесения своих шпионов, контршпионов и контр-контршпионов. Богатели, жирели его изнеженные маршалы. Границы империи растянулись до предела. Под властью корсиканского клана старые монархии превратились в царства праздности и лености. Империя вполне созрела для катастрофы.

На арену готовились выступить новые силы. Им было суждено определить судьбу Эвариста Галуа — быть может, самого гениального математика, какого когда-либо знал мир.

Что это были за силы?

Во Франции процветали старые математические традиции. Не только в своей стране, но и во всем мире тон в математике задавали Лагранж, Лежандр, Лаплас и Монж. Им предстояло оказать влияние на Коши, на Галуа, на грядущие поколения математиков. Но не от одних этих людей зависела жизнь Галуа. Новые правители ждали Францию; ничтожные, нетерпимые фанатики готовились душить, калечить гений Галуа. По всей Европе жили в изгнании французы, для которых растущее великолепие империи было источником горькой печали. Брат Людовика XVI, их законный король, представлялся им жертвой того же самого террора, который сломил аристократию и заставил цвет французской знати искать союза с иноземными государствами. Страна предков, страна, где остались их владения, отныне стала для них враждебной землей, насильно захваченной корсиканским разбойником.

Но рано или поздно под защитой иноземных штыков верные сыны Франции вернутся в свое старое отечество, в страну Генриха IV и Людовика XIV.

Людовик XVIII и его двор находились в Хартвелле, милях в пятидесяти от Лондона. Людовик едва мог двигаться: слабые ноги с трудом несли грузное тело. Манеры его были любезны, речь изысканна; его превосходная память хранила стихи Горация и воспоминания о пережитых обидах и оскорблениях. Несчастья так и не сломили его: непроницаемая броня королевского величия защищала его от ударов судьбы. Он жадно искал новых придворных. «И все-таки он был всегда и везде королем, как бог остается всегда и везде богом». От этого немощного человека исходили гордость, достоинство, величие, наделявшие его властью над душами людей. Впоследствии даже генералы Бонапарта признавались, что тучный, до смешного неуклюжий Людовик XVIII вселял в них больший трепет, чем сам корсиканец, за которым они шли к победам и несчастьям.

Младший брат Людовика XVIII и будущий король Карл X, граф д'Артуа, глупец и интриган, был уже в годах и тратил свое время и свои деньги в Англии. Этот изысканнейший из родовитых французских изгнанников, в молодости знаменитый своим изяществом и своими любовными похождениями, был на самом деле безмозглым глупцом, невеждой и лентяем, целиком отдавшимся во власть своих прихотей и страстей. Царственная кровь Бурбонов струилась в его жилах, наполняя его сознанием собственного превосходства. Одному из своих друзей-англичан он откровенно сказал: «Я бы скорей предпочел быть кучером, чем королем Англии. Я не приму корону Франции ценой хартии или конституции — какой бы то ни было».

В чем заключалось превосходство Наполеона над этими двумя Бурбонами — Людовиком и Карлом? Его огромное превосходство заключалось в том, что он понимал очевидные истины, так часто скрытые от убогих, рожденных для королевской мантии и с детства приученных к мысли, что жизнь государств вращается вокруг их особы.

Наполеон был человек низкий, надменный, нечестный с другими и еще более нечестный с собой. Любовь, верность, преданность, критическое отношение к себе были ему чужды. Тем не менее он первый среди правителей Франции понял простую истину, что наука — не роскошь, которой империя может блеснуть перед миром. Он знал, что наука приносит и военный успех. Он хотел, чтобы гордость его империи — Политехническая школа — росла и процветала не только в мирное время, но и во время войны, ибо «не следует резать курицу, несущую золотые яйца». Властители царства математики становились у него герцогами империи и друзьями императора.

Наполеон говорил: «Развитие и достижения математики тесно связаны с благоденствием государства». В самом деле, история математики и математиков — это только часть истории вообще. Короли и математики живут не сами по себе: не одного математика создал или уничтожил тот или иной король. Уроки истории достаточно ясны. Но многие ли из правителей знали и знают сейчас, что «развитие и совершенствование математики тесно связано с благоденствием государства»?

Если рассматривать наследие Эвклида и Ньютона с точки зрения начала XIX столетия, это наследие предстанет нам в расцвете, в зените своей славы.

Однако с точки зрения середины XX века видно, что их система, подобно самой империи, созрела для переворота, для новых идей, призванных изменить наше представление о внешнем мире. Лагранж и Лаплас! Два этих имени более других

символизируют и наивысший подъем и вместе с тем конец механистической философии, старавшейся разгадать прошлое и грядущее нашей вселенной.

В 1811 году жизнь старого Лагранжа подходила к концу. Старый скептик был мудр, одинок, безмятежен. С улыбкой, полудружески, полунасмешливо выслушивал он суждения Наполеона о математике, истории, государстве. Он знал, что властителей мира редко мучают сомнения, а причина их успеха лишь в том, что невежество их сочетается с еще большим самомнением. Он знал по собственному опыту, что в отличие от короля ученого-математика ждет успех только в том случае, если он сомневается, если он смиренно и без устали стремится уменьшить необозримые просторы неведомого.

«Аналитическая механика», прославленный труд Лагранжа, венчает ньютоновскую классическую механику, возводит ее в точную систему, столь же четкую и стройную, как геометрия. Лагранж говорил, что Ньютон не только самый великий, но и самый удачливый из ученых, ибо лишь однажды может быть создана наука о вселенной — и создал ее Ньютон!

В том же самом году сын французского крестьянина Лаплас на шестьдесят третьем году своей жизни стал графом Пьером Симоном де Лаплас. Великая революция 89-го года принесла ему славу и почести. Консульство сделало его министром внутренних дел, империя — графом. Реставрации предстояло сделать его маркизом. Маленький человек и большой сноб, Лаплас был блестящий ученый, чему вечным свидетельством его «Небесная механика».

Наполеон создал империю; Лаплас создал последовательную механистическую схему целой вселенной. Вечно работает гигантская машина вселенной, движение ее предопределено раз и навсегда. Вселенная Лапласа построена по принципу детерминизма. Если мы знаем, как выглядит вселенная сейчас, в настоящий момент, то есть если нам известны расположение и скорость движения всех частиц, всех планет, всех звезд, если, кроме того, нам известны законы природы, — тогда у нас в руках находятся все данные для того, чтобы установить прошлое и предсказать будущее нашей планеты.

Все, что *уже* произошло и чему еще *предстоит* случиться, определяется тем, что существует *теперь* и какие *теперь* господствуют законы. Если они нам известны, мы можем читать и в прошлом и в будущем как в открытой книге. Ничто на свете не должно навеки остаться скрытым от мысли человека. Итак, цель науки очерчена совершенно ясно: узнавать все больше об исходных данных, все лучше изучать законы природы, все глубже

постигать формы математики. Таковы, по Лапласу, ключи, которые откроют перед нами двери прошлого и будущего вселенной.

Высокомерие царило в мире науки. Горделивой теории о том, что миром правят детерминистические законы[1], было суждено погибнуть сто лет спустя с приходом квантовой теории.

Но в 1811 году и империя и идеи детерминизма, казалось, достигли вершины расцвета.

Даже сам император перелистал «Небесную механику» Лапласа. Его особенно пленил третий том — вернее, посвящение: «Бонапарту, миротворцу Европы, герою, которому Франция обязана процветанием, величием и самыми блистательными днями своей славы».

Напрасно искал Наполеон такого же посвящения в четвертом томе, нетерпеливо листая страницы, заполненные формулами и расчетами. Он закрыл книгу, уверенный в том, что прочел достаточно, чтобы отныне излагать свои собственные суждения о вселенной, когда пожелает. Случай не замедлил представиться. Как-то на балу в Тюильри Наполеон заметил, что несколько ученых столпились вокруг Лапласа, который выставил напоказ Большой крест Почетного легиона и орден Реюньона во всей их красе.

— Да, граф де Лаплас, я как раз только что снова просмотрел ваши книги о вселенной. В вашем большом труде чего-то не хватает.

— В самом деле, сир?

— Вы забыли назвать творца вселенной.

Граф поклонился. Лукавая усмешка мелькнула на его губах.

— Сир, эта гипотеза мне не понадобилась.

Император горделиво взглянул на умного мужа науки. Но что за удовольствие мучить человека, который уступает так легко! Он обратил испытующий взор на большеносого старика со впалыми щеками, стоявшего рядом с Лапласом.

— А вы, мсье Лагранж, что на это скажете?

Усталые глаза старика загорелись.

— Сир, гипотеза хороша. Она многое объясняет…

Громкий голос прервал его:

— Вселенная Лапласа точна и совершенна, как хорошие часы. Говоря о часах, не стоит называть часовщиков, тем более что мы о них ничего не знаем.

Наполеон повернулся к говорящему и посмотрел на него пристально, как будто хотел просверлить насквозь это лицо, некрасивое, широкое, обезображенное приплюснутым носом, но маленькие глазки на мясистом лице бестрепетно встретили его

взор.

— А, мсье Монж! Я знал, что вам не смолчать, если разговор зашел о религии. Итак, мсье Монж, вы полагаете, что о часовщике упоминать не стоит. К сожалению, я уверен, что многие ваши студенты в Политехнической школе согласились бы со своим любимым учителем.

Он отвернулся от создателя начертательной геометрии и отрывисто заговорил, обращаясь ко всем:

— Как глава великой империи, господа, я желаю, чтобы тот, кто пользуется моей дружбой и уважением, раз и навсегда отбросил былые атеистические взгляды, которые, как мне кажется, не все еще забыли. Времена революции прошли.

Заложив одну руку за спину, другую — под свой белый жилет, слегка почесываясь, он наставлял слушателей:

— Я вновь вернул — если не духовенство, то *священников.* Пусть несут они людям слово божье, дабы его не забыли. И помните, пожалуйста, господа, что для умеренной религии в моей империи нашлось и всегда найдется место.

Не дожидаясь ответа, не глядя, какое впечатление произвели его слова, он круто повернулся на каблуках и отошел, высокомерно поучая других гостей и выслушивая их льстивые речи.

Лагранж, Лаплас, Монж. Старики. Имена тех, кому предстояло заложить основы новой математики, были еще неизвестны во Франции: имена Огюстена Луи Коши и Эвариста Галуа.

На атлантическом побережье возводились укрепления против возможной высадки английского десанта. Порты оборудовались под базы для переброски частей в Англию, захватить которую было намечено после поражения русского царя. Одним из маленьких винтиков в этой машине обороны был Огюстен Луи Коши, которому в грядущие годы выпало на долю развеять чары Ньютонова наследия и проложить путь к современной математике. В 1811 году двадцатидвухлетний Коши с утра до вечера работал над возведением укреплений в Шербурге, служа императору, которого очень скоро научился ненавидеть и презирать.

Ночи принадлежали ему. Почти каждый вечер Коши писал матери письма, полные любви и нежности. Написав письмо, он обычно брался за книги, лежавшие тут же на его маленьком столике: за «Небесную механику» Лапласа, «Теорию аналитических функций» Лагранжа и «О подражании Христу» Фомы Кемпийского. Он знал, что станет великим математиком. Не он ли был первым по математике в Политехнической школе?

Не ему ли предсказывал мсье Лагранж, что настанет день, когда он превзойдет величайших из современных математиков? Он не обманет надежд Лагранжа. Он пересмотрит самые основы науки. Он упростит методы доказательств и рассуждений, сделает их ясными и убедительными.

В Шербурге Коши написал свой первый труд, посвященный проблеме сооружения каменных мостов. Рукопись исчезла в кармане секретаря академии и погибла для потомства, потому что копии у Коши не было. Таким образом, еще молодым человеком Коши узнал, что, когда научные труды исчезают бесследно, чтобы никогда уже не появиться вновь, это вполне соответствует законам природы. Но Коши верил в бога и в самого себя.

От каменных мостов он перешел к математике и через несколько лет стал величайшим математиком во Франции и после Гаусса в мире.

Мы еще встретимся с Коши. Мы увидим, как тесно была связана его жизнь с жизнью королей Бурбонов: Людовика XVIII и Карла X.

В истории полностью сохранились сведения о том, как в 1811 году родился король римский, как он превратился в герцога Рейхштадтского; о ненависти, страхе, интригах королей вокруг него; о его пути к могиле.

История Эвариста Галуа — история его ненависти к королю, его пути к смерти и славе — сохранилась лишь в обрывках, бессвязных, неполных и противоречивых.

Годы 1812–1823

В 1812 году знаменитый 29-й бюллетень Наполеона принес парижанам весть о том, что их великая армия уничтожена если не русскими солдатами, то русским морозом. Так изумленные, негодующие французы расстались с убеждением, что император непобедим.

Поток русских, австрийских, прусских солдат хлынул в Европу и двинулся к Эльбе, к Рейну, затем к Сене, затопив по пути империю Наполеона, чтобы возродить власть прежних королей.

В 1813 году, в возрасте семидесяти семи лет, умер Лагранж. Трудно представить себе, чтобы Наполеон, видевший тысячи смертей, стал в эти мрачные дни оплакивать смерть одного кроткого старика.

Однако если верить герцогине д'Абрантес, император был «глубоко потрясен». Ему приписывают такие слова: «Я не могу

совладать с горем. Не могу объяснить себе, почему смерть Лагранжа навеяла на меня такую грусть. Мое горе кажется мне неким предзнаменованием».

История сохранила последние слова Лагранжа, сказанные им Монжу: «Смерти не следует бояться. Когда она приходит без боли, в ней нет ничего неприятного. Через несколько минут тело мое расстанется с жизнью. Повсюду будет смерть. Да, я хочу умереть, и мне это нравится. Я прожил жизнь. Я добился признания как математик. Я никогда не испытал к кому-либо ненависти. Я не сделал ничего дурного, и мне будет легко умирать».

Народы должны воздвигать памятники людям, которые могут по праву сказать такие слова на пороге события, ожидающего всех, но никем не постигнутого.

Империя пережила Лагранжа только на год. Дважды за это время пробовал Наполеон остановить наступающий поток и дважды терпел неудачу.

Франция устала от крови, от напрасных обещаний, от зрелища, когда-то волнующего, а ныне лишь утомительного.

Парижане вздохнули чуть ли не с облегчением, когда их покинул Наполеон и в город вошли русские, австрийские и прусские войска. Вновь открылись магазины, их заполнили иностранные офицеры; в кафе пили пунш русские; на Елисейских полях разбили барачный лагерь казаки. Семнадцать медалей носил на груди генерал Блюхер; столь внушительное свидетельство воинских талантов произвело впечатление на парижан. Они взглянули на новую декорацию и без особых угрызений совести, без особого горя примирились с ней.

Отныне французская земля не таила опасности для Бурбонов. Наполеон отрекся от престола, и Людовик XVIII вернулся во Францию вместе со всем своим семейством. Давным-давно забытых правителей встретили шумными заверениями преданности. Белый цвет, цвет флага Бурбонов, стал любимым цветом Парижа; лилии Бурбонов украшали женщин, и даже на окраинах люди вывешивали из окон грязные простыни.

Когда 3 мая 1814 года Людовик XVIII вошел в Париж, вдоль набережной Орфевр, от Нового Моста до Собора Парижской богоматери, был выстроен полк старой гвардии, чтобы заслонить от глаз короля иностранных солдат.

Пропахшие дымом и порохом гренадеры, для которых Наполеон был героем, полубогом, были вынуждены приветствовать короля, обязанного своею немощью не войне, а старости и наследственности. Иные из них, наморщив лбы, ухитрялись сдвинуть высокий кивер на глаза, чтобы ничего не видеть. Другие свирепо, как тигры, скалились из-под усов. Они

взяли на караул с яростью, наполнившей страхом сердца мужчин и женщин, столпившихся за спиной гренадеров, чтобы помахать белыми платками и крикнуть: «Vive le roi! Vive notre pere!»[2]

Прибыв в Тюильри, Людовик XVIII, пораженный богатством и великолепием дворца, причмокнул губами: «Он был хорошим постояльцем, этот Наполеон».

Король воцарился на престоле. Вскоре схлынул поток иностранных солдат, и Людовик XVIII созвал палату депутатов, чтобы отечески пожаловать своим чадам конституцию. Он был облачен в униформу — плод его собственного художественного воображения, — задуманную так, чтобы скрыть телесные изъяны и придать некоторое достоинство его не в меру откормленной фигуре. На нем был синий мундир — нечто среднее между придворным костюмом и сюртуком. Золотые эполеты придавали ему сходство с формой маршала. Атласные панталоны были заправлены в красные бархатные сапоги выше колен. Подагра не позволяла королю носить кожаные сапоги, а он всегда обращал большое внимание на свою обувь. Ему казалось, что в этих сапогах он выглядит так, будто готов в любой момент вскочить на коня и отразить захватчика. На случай, если сапоги покажутся недостаточно внушительными, он был при шпаге.

Стоя в этом наряде на фоне римских статуй, напудренный, тщательно завитой, король звучным, ровным голосом читал свою речь. Его двойной подбородок подрагивал, голубые глаза не спеша останавливались то на документе, то на слушающих.

Он говорил, что весьма доволен собой, он поздравляет себя с тем, что ему выпало на долю раздавать милости, уготованные божественным провидением для его народа. Он поздравляет себя с тем, что заключены мирные договоры с державами Европы, что французская армия снискала себе славу, что его старые глаза видят счастливое будущее Франции. Тучи рассеялись; осанна новому монарху, чья единственная цель — осуществить желания брата, Людовика XVI, выраженные в его бессмертном завещании перед тем, как он был обезглавлен! Его отеческие намерения, уверял король, состоят лишь в том, чтобы выполнить эти желания.

Король кончил, и канцлер, мсье Дамбрэ, стал читать комментарий к новой французской конституции:

«Дыханием господа опрокинут грозный колосс власти, тяжким бременем лежавший на Европе. Но под развалинами этой громады Франция обнаружила непоколебимые основы своей древней монархии. Целиком обладая наследственными правами на нашу великую державу, король ограничится применением власти, полученной им от бога и от своего отца, в пределах,

установленных им самим».

Таким образом, не народ вырвал конституционную хартию у короля, а сам король, побуждаемый отеческой любовью, пожаловал хартию своему народу.

Год спустя на фоне тех же римских статуй те же актеры разыграли сцену совсем другого рода. То был день, когда новый престол Бурбонов содрогался от мерной поступи наполеоновских солдат. Маршалы, генералы и старая гвардия изменили присяге, не в силах противиться чародею, сошедшему на французскую землю, чтобы вновь затопить страну кровью. В сопровождении придворных сановников и всех принцев своего дома незадачливый Людовик появился во дворце Бурбонов. Старый хитрец знал, что его единственный козырь — ненавистная хартия, которую он был вынужден подписать.

Итак, заявил король, Наполеон вернулся, чтобы отобрать у французского народа его свободы и его хартию — «хартию, милую сердцу каждого француза; хартию, которую я клянусь в этот час охранять и защищать. Сплотимся же вокруг нее! Да будет она нашим священным знаменем!»

Крики: «Да здравствует король! Умрем за короля! Да здравствует король на вечные времена!» — огласили зал.

Тогда граф д'Артуа подошел к своему венценосному брату и повернулся к пэрам и депутатам:

— Клянемся жить и умереть верными королю и хартии, залогу счастья наших соотечественников.

Братья упали друг другу в объятия, а собравшиеся плакали и кричали: «Vive la charte!»[3]

Мы услышим, как пятнадцать лет спустя эти же слова прогремят по всей Франции. Мы увидим, как будут умирать парижане из-за того, что король не сдержал своей клятвы.

Людовик говорил, что умрет на поле брани, но, когда по Франции ураганом понесся Наполеон, король и брат его бежали в Бельгию.

Они снова вернулись в занятый чужеземными войсками Париж после того, как Наполеон потерял под Ватерлоо свою на сто дней возвращенную корону и вместе с последним сражением проиграл свою свободу.

Теперь Бурбоны увидели, как шаток был их престол, как мало любят французские чада своего царственного отца.

Как укрепить престол на зыбкой французской земле? У короля и придворных ответ был готов: тюремными застенками и кровью. Начался белый террор Реставрации.

Не пощадили и математиков.

Гаспар Монж, сын разносчика, точильщика ножей, был

поборником дела революции. Он стал спасителем Французской республики, когда вместе с Бертолле наладил производство черного пороха. Монж любил республику, но еще больше он любил императора. Став графом де Пелюз, он забыл, как громко он призывал к уничтожению знати, до того как Кесарь стал Кесарем.

Великий математик и выдающийся педагог, Гаспар Монж изобрел начертательную геометрию, создал Политехническую школу и заложил основы ее великих традиций. Он отец современного метода обучения математике во всем цивилизованном мире. Нынешние учебники ведут начало от лекций, прочитанных в этой знаменитой, первой в мире школе математиков — школе, где получали образование будущие офицеры, ученые, государственные деятели и мятежники; школе, которой восхищались ученые и боялись короли.

Но Монж совершил преступление: во время Ста дней он остался верен Наполеону. В 1816 году Монжу было семьдесят лет. Он оставил Политехническую школу, потому что руки у него были частично парализованы. Когда он прочел трагический 29-й бюллетень, с ним случился удар, от которого он так и не оправился. Гуманнее было бы, пожалуй, убить старика. Этого король не сделал. Но он изгнал Монжа из академии. Согнувшись под тяжестью этого удара, мучимый страхом, Монж бежал от преследований и два года спустя, больной и одинокий, умер, превознося Наполеона и проклиная Бурбонов. Но и смерть не останавливает мести королей. Ученикам Политехнической школы, где имя Монжа стало легендарным, было запрещено присутствовать на похоронах их великого учителя.

Итак, Монж был изгнан из академии, и его место оставалось свободным. Найдется ли во Франции математик, настолько лишенный чувства приличия, чтобы занять это место?

В 1811 году мы видели Коши в Шербурге. Пять лет спустя он, к этому времени уже величайший математик Франции, получил и с готовностью принял предложение занять место Монжа в академии. В том же году он стал профессором Политехнической школы. Это был удачный год для Коши. Король был милостив к великому математику. Несколько лет спустя Коши стал для грядущих поколений примером того, что и Бурбоны могут пользоваться любовью и восхищением прославленного ученого.

Если долг королей — карать за верность к павшим властелинам, то им же принадлежит и привилегия вознаграждать за измену. В том же году, когда Коши стал членом академии, король поручил знаменитому математику и астроному Лапласу задачу перестройки Политехнической школы, с тем чтобы

подчинить непокорных студентов воле престола. Лаплас заслужил доверие короля. Он уже предложил Бурбонам свои услуги: как сенатор, он подписал декрет об изгнании Наполеона. Он даже заменил за собственный счет посвящение на непроданных экземплярах своей «Небесной механики»: «Наполеону Великому» превратилось в «Людовику XVIII». Но удалось ли Лапласу посеять любовь к Бурбонам среди студентов Политехнической школы? Мы увидим четырнадцать лет спустя, что он потерпел позорную неудачу. Тем не менее волны истории, поднимаясь и опускаясь, только возносили Лапласа, пока не принесли его, сына крестьянина, в палату пэров. Он стал маркизом де Лаплас. На его глазах «старый режим» сменился республикой, затем террором, консульством. Его старые глаза видели и величие империи и дни ее позора, белый террор, выход в свет пяти книг «Небесной механики» и возвращение к власти аристократии — «ультра» или «крайних», вместе с Людовиком XVIII и Карлом X.

«Крайних», другими словами, аристократов крайних взглядов — приверженцев короля, крайне рьяных защитников церкви, — ненавидели как народ, так и по-прежнему могущественная буржуазия. В начале своего царствования их ненавидел даже Людовик XVIII. Но по мере того как король дряхлел и слабел, «монсеньор», его брат, и «крайние», окружавшие его, действовали все более нагло и успешно. Можно точно назвать день, когда «крайние» взяли власть в свои руки и событие, швырнувшее им эту власть.

Король был бездетным. У «монсеньора», его брата и будущего Карла X, было два сына. Один, герцог Беррийский, грубый неуч, повеса, плел вместе с отцом интриги против короля и в приступах гнева срывал эполеты с мундиров своих офицеров. Другой сын, герцог Ангулемский, был безобразен, застенчив, слаб, но не лишен известного благородства. Оба были женаты, но законных детей не было ни у того, ни у другого. Случись им умереть, и древо Бурбонов будет с корнем вырвано из французской земли.

13 февраля 1820 года в опере на улице Ришелье новые балерины танцевали в «Свадьбе в Гамаше» и «Венецианском карнавале». Пришли герцог и герцогиня Беррийские. Герцогине нездоровилось, и она пожелала уехать, не дожидаясь конца спектакля. Герцог усаживал ее королевское высочество в карету, когда на него со всего размаха наскочил какой-то мужчина и, не извинившись, убежал.

— Что за негодяй!

И сейчас же, в изумлении, в ужасе, герцог вскричал:

— Меня зарезали!

Его отнесли в вестибюль ложи, а потом, так как рана оказалась серьезной, — в кабинет директора. Вскоре появились герцогиня, «монсеньор», придворные, министры, врачи, связанный по рукам и ногам убийца, полицейский эскорт и, наконец, епископ.

Герцогиня истерически рыдала, мешая французскую речь со своей родной, итальянской. Когда вопли ее затихали, слышались звуки оркестра, далекие голоса певцов, аплодисменты публики. Потом этот неясный шум перекрыл монотонный голос: епископ читал латинские молитвы.

В углу комнаты «монсеньор» совещался с премьер-министром, следует ли вызвать короля. Отец умирающего утверждал, что придворный этикет не дозволяет королю войти в комнату директора театра. Герцог со стоном повернулся к отцу:

— Я желаю видеть короля.

Потом к жене:

— Успокойтесь, дорогая. Подумайте о нашем ребенке.

При этих словах люди подняли головы, переглянулись.

Епископ отпустил герцогу грехи.

— Я желаю видеть короля. У меня есть две дочери. Я хочу видеть дочерей. Да, вы не знаете. Пошли те за их матерью, мадам Броун.

Запинаясь, он назвал имя и адрес, которые, впрочем, давно уже не были ни для кого секретом. Послали за дочерьми.

Вскоре, проталкиваясь через набитую людьми комнату, появились гонцы с двумя испуганными девочками. Герцог им улыбнулся и не стал возражать, когда их вскоре увели.

Он быстро терял силы и только все повторял машинально:

— Хочу видеть короля.

В пять часов утра по узкой лестнице, ведущей в кабинет директора, с большим трудом втащили кресло короля. Вздыхали, кряхтели под тяжестью ноши слуги. Короля благополучно доставили к племяннику, и тогда герцог внезапно пришел в себя. Его речь стала внятной:

— Простите меня, дядя. Простите, умоляю вас. Усталый король с трудом перевел дыхание.

— Не нужно торопиться, сын мой. Мы еще поговорим об этом.

Ужас вспыхнул в глазах герцога вместе с последним проблеском жизни:

— Король не прощает меня. Его прощенье… не скрасит моих последних минут…

Это были последние слова герцога Беррийского. Врач попросил зеркало. Людовик подал ему табакерку, и доктор

поднес ее к губам герцога.

— Все кончено, — прошептал он.

— Помогите мне, сын мой, — сказал врачу король. — Мне надлежит оказать ему одну последнюю услугу.

Опершись на руку врача, разбитый параличом старик закрыл глаза тому, кто так недавно был бесшабашным герцогом Беррийским. Все присутствующие опустились на колени.

Несчастный, заколовший герцога, ничего не достиг. Отныне всех членов оппозиции заклеймили как соучастников убийства. «Крайние» проливали слезы и сеяли клевету, пока власть не перешла к ним в руки.

Семь месяцев спустя у герцогини Беррийской родился сын. Модный свет Парижа радостно повторял на все лады: «Вот он родился, дитя чуда, наследник невинной жертвы».

Десять лет спустя воспоминание об этом ребенке всколыхнет Париж. Но никогда не быть ему королем Франции.

В мае 1821 года разносчики газет на улицах Парижа кричали: «Смерть Наполеона! Его последние слова генералу Бертрану!»

Парижане не проявили большого интереса. После 1815 года французы забыли старого императора. Через несколько лет, однако, ему было суждено возвратиться к жизни. Появился новый Наполеон: Наполеон в простом сером сюртуке, по-свойски беседующий с солдатами у костра на биваке; Наполеон, полный любви к миру и к своим французам, насильно вовлеченный в войну кознями вероломного Альбиона и злодейски убитый английской олигархией на острове Святой Елены. Наполеон, чьим последним желанием было, «чтобы прах мой покоился на берегах Сены — в гуще французского народа, который я так любил». Шла в наступление наполеоновская легенда!

Одной из самых поразительных сторон эпохи Реставрации было влияние общества, официально изгнанного из Франции: ордена иезуитов. Густой, хитросплетенной паутиной опутало оно политическую и духовную жизнь страны.

Иезуиты или их сторонники были среди духовенства, в предместье Сен-Жермен[4], среди депутатов и пэров, министров и придворных графа д'Артуа. Этих светских приверженцев, этих «иезуитов короткой сутаны», противники «крайних» видели повсюду — во всяком случае, так им казалось. До нас дошло, что слуги привратники, горничные, полицейские были шпионами иезуитов, что по велению ордена на рассмотрение палат вносились новые законы и даже король в последние годы жизни стал послушным орудием в их руках. Предполагали, что это

произошло не случайно, а в результате тонко задуманной интриги.

До убийства герцога Беррийского король всегда находился под влиянием кого-нибудь из своих фаворитов. Последним был президент государственного совета Деказ, человек, которого особенно ненавидели «крайние». Клевета, проклятия, обвинения посыпались на него после смерти герцога Беррийского — король был вынужден расстаться со своим фаворитом. И впервые в жизни разбитое сердце старого короля утешала женщина.

К мадам дю Кайла внимание короля привлек член ордена иезуитов отец Лиотар. Нет нужды строить догадки относительно общественных взглядов святого отца. Они достаточно ясно изложены в его эссе «Трон и алтарь». В нем отец Лиотар убеждает нас, что гражданскую печать следует упразднить и выпускать всего одну ежедневную газету, владельцем которой будет король, а редактором — шеф полиции. Здесь следует печатать интересные и полезные новости: изменения погоды и цен на пшеницу, кофе, сахар. Газета подобного содержания, уверяет отец Лиотар, удовлетворит всякому разумному требованию. Одновременно надлежит сжечь зловредные книги Руссо и Вольтера.

В 1821 году влияние мадам дю Кайла на Людовика XVIII установилось прочно. Заботливо обученная отцом Лиотаром, она знала, как увлечь и позабавить короля. Она охотно выполняла приказания «монсеньера», духовенства, аристократии предместья Сен-Жермен.

Все туже опутывали короля интриги, пока он не стал лишь орудием в руках брата.

Вскоре та же паутина принялась затягивать школы Франции, чтобы задушить в них мятежные настроения. Первой по счету была Политехническая школа. В ней все перестроили заново, и атеиста Монжа заменили набожным Коши. Нормальная школа, тоже дитя революции, была предназначена готовить надзирателей и учителей для королевских коллежей.

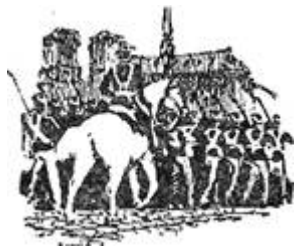
В 1822 году ее закрыли и таким простым способом уничтожили возможный рассадник республиканских и бонапартистских идей. Щупальца иезуитов обвились вокруг королевских лицеев, наиболее важным и знаменитым из которых был Лицей Людовика Великого — Луи-ле-Гран. Его целью было готовить лощеных знатоков латыни и греческого и, главное, верных слуг короля и защитников церкви. Выполнял ли он эту цель? Вместо ответа назовем имена трех самых блестящих студентов коллежа.

В Луи-ле-Гран прошел курс «неподкупный» Робеспьер,

который послал на гильотину Людовика Капета, бывшего Людовика XVI.

В Луи-ле-Гран прошел курс Виктор Гюго, который потом сражался против тирании Наполеона III, окрещенного им для потомков «Наполеоном Малым».

В 1823 году, пройдя основательную подготовку у матери, сдал экзамен в Луи-ле-Гран и был зачислен в четвертый класс Эварист Галуа. Он тоже ненавидел короля Франции и боролся против него.



II МЯТЕЖ В ЛУИ-ЛЕ-ГРАН

Год 1824, воскресенье, 25 января

Сухопарый человек с плотно сжатыми губами неслышно прошел по кабинету к столу мсье Берто. Мсье Берто указал ему рукой на деревянный стул. Другая рука нервно теребила седеющую рыжую бородку.

— Вы хорошо сделали, что пришли, мсье Лавуайе. Очень хорошо. Я знал, что вы один из немногих родителей, на которых можно положиться.

Он взял понюшку табаку, втянул в широкие ноздри и доверительно повернулся к посетителю.

— Перед нами теперь достаточно ясная картина. Мы знаем, как поступить, заручившись помощью верных своему долгу родителей. К сожаленью, рассчитывать можно лишь на очень немногих. Да, мсье Лавуайе, вы сумели обнаружить заговор. Пожалуйста, расскажите мне все.

Глаза мсье Лавуайе были опущены, голос — полон смирения.

— Во вторник, то есть послезавтра, в шесть часов вечера разразится мятеж.

Мсье Берто откинулся назад в своем кожаном кресле и глубоко вздохнул.

— Да, знаю. — Он сжал кулаки. — Вожаки. Нам нужно знать зачинщиков. Всех до единого.

Он грохнул сжатыми кулаками по столу.

Мсье Лавуайе вынул из кармана аккуратный конверт и молча положил на стол. Толстые короткие пальцы мсье Берто вынули из конверта бумажку и положили ее рядом с длинным листом бумаги, лежавшим на столе. Его глаза перебегали с одной страницы на другую.

— Ха! Я так и думал. Да, совершенно верно. Я им покажу… Мы еще посмотрим… — Он повернулся к посетителю. — Вот теперь мы чего-то добились. Из вашего списка и из других источников мы узнали около сорока имен. Все вожаки в наших руках. И кто! Лучшие ученики Луи-ле-Гран. Студенты, которым мы вручали награды, студенты, для которых мы сделали больше всего. За стенами коллежа кто-то отравил их этим ядом, и они принесли заразу в лицей. Им бы хотелось Наполеона вернуть из могилы. Но не это самое страшное. Кое-кто из них хотел бы вернуть из могилы Робеспьера!

Мсье Лавуайе сочувственно покивал головой.

— Перейдем к частным вопросам. Мы послали вашего сына домой под тем предлогом, что ему нужен отдых. Как вам удалось получить от него все эти сведения?

Худое лицо собеседника окаменело.

— Мсье, этот вопрос я обсуждать не намерен. Моему сыну неизвестно, что я здесь.

— Не беспокойтесь о сыне, мсье Лавуйае. Он хороший мальчик, старательный ученик, он прилежно занимается. Могу вас уверить, что в будущем году ему дадут стипендию. Он бесплатно получит лучшее образование, какое можно получить во Франции. Совершенно бесплатно. Пока я тут директор, я за это ручаюсь.

Помолчав в раздумье, он сердито выкрикнул:

— Хотел бы я знать, что они имеют против Луи-ле-Гран?

— Это тягостный предмет, мсье. Я предпочел бы его не касаться.

— Но вы должны сказать! Мне нужно знать. Я настаиваю!

Налитые кровью глаза мсье Берто впились в суровое лицо сидящего перед ним человека.

— Они говорят, что вы, мсье, вернете иезуитов и отдадите лицей в их распоряжение.

— Ах, так! Опять эти старые бредни! — Он говорил обиженно, с горечью. — Я не могу назначить профессора без письменного разрешения министра, не могу исключить ни одного студента, а меня обвиняют в том, что я передаю школу иезуитам. Да, знаю. Для этих республиканцев и бонапартистов каждый, кто верен королю, — иезуит. Они хотят весь мир запугать своими

иезуитами. Еще что они говорят?

Ровный, монотонный голос произнес:

— Говорят, что пища нехороша, что ее плохо готовят.

— Еще одна басня. Жалуются, что плохо кормят. Попадись они мне в руки, эти подстрекатели со стороны, которые сеют смуту в Луи-ле-Гран. Скажите, пожалуйста, их плохо кормят! Ну, а еще есть что-нибудь?

В его напряженном голосе зазвучал страх.

— Есть, но мне не хотелось бы говорить на эту тему.

— Нет уж, договаривайте. Я понимаю, что этот разговор не доставляет особенного удовольствия ни вам, ни мне.

Мсье Берто расстегнул и снова застегнул пуговицу на своем черном засаленном сюртуке. У мсье Лавуайе внезапно блеснули глаза.

— Им хотелось бы, мсье, чтобы убрали вас, — внятно сказал он, — потому что ваш вид и ваши манеры — позор для школы.

Лицо мсье Берто побагровело, густая краска залила шею, резко оттенив поношенный черный галстук. Он перестал застегивать сюртук и забарабанил по столу, пытаясь унять дрожь в пальцах.

— Ну, я им покажу! Они у меня увидят!

С отвращением и стыдом взглянул он на восковое лицо собеседника, чувствуя, что ненавидит его не меньше, чем своих студентов.

— Вы нам весьма помогли, мсье Лавуайе. Весьма. Очень вам признателен. — Голос мсье Берто звучал тускло, невыразительно.

Отодвинув стул, он поднялся из-за стола, протянул руку. Сухая фигура склонилась в поклоне, и мсье Лавуайе беззвучно затворил за собой дверь.

Вечером, в половине десятого, Луи-ле-Гран погрузился в молчание.

За дверью каждой огромной спальни стоял надзиратель и, прижавшись ухом к замочной скважине, прислушивался к сдавленному шепоту заговорщиков. Настало время доказать свою преданность, состряпать донос, увеличить свое жалованье с тысячи двухсот до полутора тысяч франков в год и заложить основы карьеры преподавателя Луи-ле-Гран, как знать — быть может, профессора.

Все свободные от дежурства надзиратели, все профессора вместе с заведующим учебной частью — проктором — собрались в длинном конференц-зале. В воздухе пахло нюхательным табаком. За столом, покрытым зеленой скатертью, запачканной воском и чернилами, восседал на почетном месте мсье Берто.

Вокруг стола сидели около сорока профессоров. Второй круг — на почтительном расстоянии — составляли надзиратели, тоже около сорока человек.

Пожелтевшие от табака пальцы директора резко взмахнули колокольчиком. Он заговорил голосом густым и громким; на стол, на людей, сидевших рядом, полетели брызги слюны. («Не подходите к директору без зонтика», — было любимой шуткой надзирателей.)

— Господа! Пришел суровый час в жизни нашего коллежа. Есть серьезная опасность, что в Луи-ле-Гран могут повториться события ужасных дней 1819 года. Любой ценой мы обязаны их предотвратить! Вам будет трудно поверить мне, господа, но, уверяю вас, все это правда. Задуманы страшные дела. Вам посчастливилось, что я вовремя раскрыл заговор.

Взгляды профессоров и надзирателей устремились к директору. Все с изумлением увидели, что на нем его лучший синий сюртук, чистая белая рубашка, а широкий черный галстук сверкает новизной.

Директор протянул руку в сторону надзирателей.

— Вас студенты намерены избить, выбросить из окон, а мебель разнести в щепки.

Директор указал на профессоров.

— Вас тоже вышвырнут вон. Они собираются захватить в свои руки всю школу. Тогда, как им кажется, они смогут продиктовать нам условия мира.

Он сиял от ощущения собственной силы, от способности внушать страх. Теперь будет вдвойне приятно унять нарастающие волны страха и явить взорам всех твердый утес власти.

— Они допустили всего одну ошибку. Они забыли о том, что в школе есть директор. Мне уже известны все зачинщики. Я знаю каждого. Все они в моем списке. Их сорок, господа!

Слабая, гнусная улыбка расползлась по его лицу.

— Можете быть уверены, господа, я знаю, как поступить с бунтовщиками. В положенный срок вам это станет известно. С вашей помощью я спасу коллеж нашего возлюбленного монарха.

С жестом отвращения директор нетерпеливо повернулся к соседу справа. Никогда ему не нравился этот мсье де Герль и никогда не понравится. На вид и стар, и утомлен, и слаб, а на самом деле непоколебимо упрям, не сломишь. Как сохранился в Луи-ле-Гран этот пережиток времен Наполеона? Сохранился в школе, некогда гордой своею принадлежностью к ордену иезуитов? Ему, директору, надо бы знать, как опасен наставник, которым восхищаются ученики. От бунтовщиков он избавится — отделается и от мсье де Герля.

— Наш проктор, мсье де Герль, занимающий после меня самое высокое положение в Луи-ле-Гран, попросил у меня разрешения сказать несколько слов от своего собственного имени. Я согласился. Но как директор я хочу довести до вашего сведения, что не одобряю того, что он вам скажет.

Мсье де Герль поднялся и тихо, почти шепотом заговорил:

— Вот уже пятнадцать лет я проктор Луи-ле-Гран. Я пережил страшные дни тысяча восемьсот девятнадцатого года. У меня на глазах был закрыт и распущен наш лицей. У меня на глазах сеяли ненависть и недоверие. Этих ужасных дней мне не забыть никогда. Нет, я не считаю, что студенты вправе вмешиваться в дела администрации лицея. Но я не верю и в силу. То, что происходит сегодня, — результат насилия, совершенного пять лет тому назад. Может быть, завтра мы решим, что добились успеха. Но несколько лет спустя мы обнаружим, что на самом деле лишь подготовили почву для будущего мятежа.

Он говорил спокойно, не обращая внимания на директора, который пытался соскрести с зеленой скатерти восковое пятно.

— Сегодня ученики кричат: «Долой иезуитов!» Я согласен, что это неразумно. Согласен, что, к сожалению, наши ученики не проявляют должного религиозного чувства. Я готов даже пойти еще дальше и согласиться, что, возможно, кто-то заронил в их головы опасные республиканские идеи. Но как же случилось, что этим веяниям со стороны удалось захватить всех студентов? Разве это не свидетельство того, что они недовольны, несчастливы в Луи-ле-Гран? Я допускаю, что это беспокойство, эта неудовлетворенность — всего-навсего плод их фантазии. Но скажите, чего мы можем добиться страхом и насилием?

Он помолчал. Когда он снова заговорил, голос его звучал еще спокойнее.

— Боюсь, что я защищаю безнадежное дело. Если так, это последний год моего пребывания в Луи-ле-Гран. Но мне хотелось бы обратиться к вам с предложением. У нас тут имена сорока зачинщиков. Почему бы не собрать их завтра утром, не выслушать, чего они хотят, и не попробовать урезонить их? Мы могли бы прийти к соглашению и таким образом спасти от позора и школу и самих себя. Я знаю, господа, что вы найдете мои слова странными. Но выиграть это сражение мы не можем. Нельзя побороть девятьсот учеников. Нам может показаться, что мы одержали победу. Но чем значительнее покажется нам эта победа, тем неизбежнее будет наше окончательное поражение.

Директор забарабанил пальцами по столу.

— Если я правильно понимаю вас, мсье де Герль, — злобно начал он, едва проктор успел опуститься на стул, — вы хотите,

чтобы мы пошли на переговоры с бунтовщиками, обошлись с ними как с равными — с профессорами и наставниками. Если они объявят, что им не по душе мсье Берто, не по вкусу такой-то профессор, не по нраву надзиратель, вы им скажете: «Ладно, дети мои, будь по-вашему. Завтра сменим директора, сменим профессоров, сменим надзирателей, которые вам неугодны». Потребуют каждый день за обедом шампанского — хорошо, получайте шампанское. Следует знать: чем больше ученикам уступаешь, тем большего они требуют, тем безрассуднее становятся. Наше учебное заведение призвано внедрять повиновение и дисциплину. Если этого можно добиться только силой, значит добьемся силой.

Теперь он попытался перейти на деловой тон

— На заседании старших преподавателей мы разработали детальный план действий. Сейчас я разъясню вам наш план. Каждый из вас будет нести ответственность за его выполнение. Прискорбно, что мы не можем рассчитывать на мсье де Герля. Его взгляды, как вы только что слышали, весьма несходны с нашими.

Директор подошел к стене, на которой висел большой план Луи-ле-Гран, освещенный с обеих сторон свечами. Он чувствовал себя генералом, устроившим смотр своей армии профессоров и надзирателей. Он водил указкой по карте, показывая поле сражения. Здесь ему предстоит разбить армию неприятеля — бунтовщиков. И с божьей помощью, во имя короля он одержит победу!

Год 1824, вторник, 27 января

В половине шестого утра в Луи-ле-Гран настойчиво зазвонили колокола, разгоняя всякую надежду поспать еще немножко.

Когда Эварист Галуа проснулся, было еще темно. Он увидел знакомое лицо надзирателя, зажигавшего немногие свечи в подсвечниках, укрепленных на стенах. Потом услышал: «Подъем! Всем вставать!» Надзиратель срывал одеяла с тех, кто еще лежал в постели.

Эварист начал одеваться. Каждая мелочь в комнате, каждое лицо были ему знакомы. Тридцать шесть кроватей, одни из железа, другие из дерева. Стоят ровно на три фута друг от друга. Убери их, и ничего не останется, кроме холодного кафельного пола и шкафчиков, выстроившихся вдоль стен.

Он взглянул на окна. Ужасные окна. Они так высоки, что не дотянешься. Когда рассветет, он увидит кончик дымовой трубы на унылом фоне зимнего неба. И потом — эти узкие, частые квадратики железных решеток! Стоит подумать о Луи-ле-Гран, и

перед закрытыми глазами сразу встают решетки. Лунными ночами их тени тянутся по полу через кровати, ложатся на лица соседей. Каждое утро, каждый вечер, глядя на эти стены, он думал о тюрьмах. Похожа ли эта спальня на тюрьму? Наверное, в тюрьме еще хуже.

В комнате было холодно. Студенты поспешно одевались, возбужденно переговаривались — о клопах, искусавших их ночью, о приготовленных или неприготовленных уроках; приглушенно, полуфразами напоминали друг другу о наступающих событиях.

Одевшись, Эварист спустился к уборным. Их вонь пронизывала все здание, усиливаясь по мере приближения, пока не становилось трудно дышать. В этом зловонии студенты дожидались свободного места, торопили друг друга. Сидящие внутри болтали с теми, кто стоял снаружи.

Вернувшись в спальню, Эварист взял маленькое полотенце и побежал с ним к фонтану в центре двора. Как и другие, он растер лицо сухим полотенцем, подставил руки под фонтан, быстро вытер их, бегом вернулся в спальню, повесил полотенце на крючок, схватил большой латино-французский словарь, «О дружбе» Цицерона, «Метаморфозы» Овидия, тетрадь и отправился в комнату для занятий четвертого класса. В шесть часов пришел надзиратель, и ученики взялись за уроки.

Для Эвариста это были хорошие минуты. Он открывал книгу Овидия и слегка шевелил над ней губами, чтобы убедить надзирателя, что заучивает наизусть. Сонным, скучающим взглядом надзиратель лениво выискивал жертву — ученика, которому вздумается заговорить с соседом. Эварист в точности знал, что произойдет за эти полтора часа подготовки к занятиям. Как и всегда, он будет мечтать. Он увидит картины, в тысячу раз более реальные для него, чем окружающий мир.

В эти минуты он никогда не бывал в Луи-ле-Гран. Он уходил всего за несколько миль от Парижа. Но Бур-ля-Рен был далек от Луи-ле-Гран, как будто это были два разных мира.

Эварист видел отца так близко и отчетливо, что казалось, сейчас дотронется до него. Он чувствовал, как мягко скользит по его волосам отцовская рука. Когда Эварист вспоминал отца, ему представлялся свет, солнце, излучающее тепло, от которого тает снег; или ясный день, когда в воздухе пахнет сеном и цветами.

Запахи! В них все. Бур-ля-Рен — это цветы и сено. Луи-ле-Гран — едкий запах мочи.

Отец умел громко смеяться. Правда, с недавних пор его смех часто и внезапно обрывался. Мать никогда не пыталась продлить веселье отца. Думая о матери, Эварист представлял себе греческую богиню, черноволосую, с блестящими черными

глазами. Он улыбнулся.

— Галуа! Вы, кажется, неплохо проводите время.

Он услышал голос надзирателя, но слова его пропустил мимо ушей и, уставившись в книгу Овидия, забубнил:

> Aurea prima sata est aetas, quae vindice nullo,
> Sponte sua, sine lege fidem rectumque colebat.[5]

Как хорошо знал он эти стихи! Ему все еще слышался ровный, терпеливый голос матери, толкующей ему их значение. Он мог всласть мечтать о Бур-ля-Рен. Мать научила его всему, что они сейчас проходят по латыни и греческому. Зачем его послали в Луи-ле-Гран? Почему не оставили учиться дома? Отец и мать гораздо больше знают, чем все его профессора и надзиратели, вместе взятые. Да вот — эти стихи. Он вспомнил, как горда была мать, когда он без ошибок, без запинки продекламировал их у деда, мсье Деманта. Он знал, что мать гордится им, хотя выражение ее лица не изменилось. Но отец подошел, прижал его к себе, поцеловал. Мать что-то шепнула ему, и лицо отца помрачнело.

Тогда дед спросил: «Эварист, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?»

Иногда он думал, что хочет стать важным судьей вроде деда, иногда — мэром Бур-ля-Рен, как отец. Кем ему хотелось стать теперь? Где быть? Подальше от Луи-ле-Гран. Хотя нет, ему нельзя ненавидеть лицей.

Отец говорил: «Можешь ненавидеть идеи, но не людей, которые их воплощают. Даже если бы тебе удалось уничтожить этих людей, ты все равно не уничтожил бы их идеи».

Он изо всех сил постарается не чувствовать отвращения к толстой красной физиономии мсье Берн то, к длинноносому прыщавому надзирателю.

Несколько дней тому назад, когда ездил домой, он сказал матери и отцу, что ему не нравится Луи-ле-Гран.

Мать ответила:

— Без хорошего образования ты ничего не добьешься. Если хочешь стать судьей, врачом или ученым, нужно идти учиться и получить диплом, нравится это тебе или нет.

Он было заспорил, стал передразнивать профессоров, директора, надзирателей, пока отец не покатился со смеху. Мать резко положила этому конец:

— Нас ты, надеюсь, в коллеже не передразниваешь?

Она вышла из комнаты. Если бы не отец, Эварист расплакался бы. Отец заговорил с ним как с равным:

— Тебе не нравится в школе чисто внешняя сторона. Все это будет не так уж важно, если у тебя будет своя собственная внутренняя жизнь. — Он слабо улыбнулся и со смущенным видом добавил: — Чаще заглядывай в самого себя, и ты будешь реже видеть Луи-ле-Гран.

Как часто слышал он, что способности — не все и есть кое-что поважнее. Но это «кое-что» для разных людей было различным. В Луи-ле-Гран это означало послушание. Для матери это были спокойствие и сила. А для отца? Нелегко сказать. Он знал только, что для отца это было связано со значением двух слов, которые ему так часто приходилось слышать: «свобода» и «тирания». Как непохоже звучали эти слова, как по-разному загорались глаза отца, когда он их произносил! Одно было так же далеко от другого, как Бур-ля-Рен от Луи-ле-Гран. Свобода — за нее храбро дерутся и с радостью умирают. Тирания — сила, которая палками и угрозой заставляет творить позорные дела. Свобода — свет, тирания — тьма. Свобода — это Бур-ля-Рен, тирания — Луи-ле-Гран. Но против тирании нужно бороться. Нужно бороться против Луи-ле-Гран. Сегодня им дадут бой. Почему «дадут»? Почему он не думает: «Сегодня *мы* дадим бой тирании в Луи-ле-Гран?» Он для них новичок, чужой, которому нельзя доверять. На сегодня у него нет ни одного опасного поручения. Ему придется делать только то же, что и всему классу: рвать книги, жечь их, бить надзирателя. Эта мысль привела его в ужас. Швырять огромные словари в лицо взрослым! Он содрогнулся. Если бы этот час не наступил никогда! Что скажет мать? Поймет ли она?

Послышался пронзительный колокольный звон. Колокола! Мелодичен был их голос в Бур-ля-Рен! Их голос был голосом мира. Колокольный перезвон в Луи-ле-Гран будил смятение и тревогу.

В комнату вошли двое, неся большой котел с луковым супом. Ученики разобрали миски и ложки, грудой сваленные в углу. Служитель налил каждому половник супу. В пять минут суп съели, убрали посуду и вытерли лужи грязными тряпками.

Начали собираться ученики, которые были на половинном содержании. У себя в пансионах они проделали ту же утреннюю процедуру, что и их товарищи в школе. А с восьми утра до послеобеденного времени все они составляли одну большую семью, ставшую сегодня единой боевой силой.

В восемь часов вместе со звонком в четвертый класс вошел мсье Гюйо. Вошел, чтобы увидеть семьдесят враждебных лиц. У него были чуть согнутая спина, беспокойные и усталые глаза. Он

открыл деревянную дверцу в барьере, окружавшем кафедру, и сел. Лицо его виднелось из-за гипсового бюста Цицерона.

Сегодня в классе царило спокойствие. Никаких шуток над мсье Гюйо, подшутить над которым было так легко, что это уже перестало казаться забавным. Две недели тому назад на кафедру могли бросить крысу. Но не сегодня. Порой в бюст Цицерона летели бумажные шарики и рикошетом попадали в лысую голову мсье Гюйо. Но не сегодня.

Сегодня ученики послушно подчинялись всему. Они декламировали, переводили, пересказывали, разбирали, писали упражнения — иными словами, на шаг приблизились к цели, поставленной перед ними в Луи-ле-Гран: думать и писать по-латыни. Именно это отличало хорошо образованного француза от прочих.

Однако под внешним покорным безразличием скрывалось ежечасно возрастающее напряжение. Четвертый класс с гордостью сознавал, что он самый младший класс, принимающий участие в бунте. На него положились старшие. И четвертый класс не подкачает.

В полдень окончились утренние занятия. Ученикам давался свободный час, чтобы поесть рисового супа и тарелку мяса с овощами, чтобы отдохнуть и набраться сил для послеполуденных занятий.

Эварист стоял у окна, глядя на обширный двор. Он увидел, как распахнулись ворота и въехала повозка, запряженная парой лошадей. В этом не было бы ничего необычного, если бы не присутствие директора и нескольких надзирателей, кричавших вознице, куда править и где остановиться. Эварист повернул голову, вытянул шею и увидел еще один экипаж и третий, а за ним — еще две лошадиные морды.

Другие ученики при виде этой необычной процессии разразились радостными возгласами:

— Кто там из них надзиратель, кто лошадь? До чего похожи!

— Не стоит льстить надзирателю.

— Зачем тут эти повозки?

— Надзиратели удирают.

— Испугались!

— Догадываются, что их времечко кончилось!

Вошел учитель греческого. Ученики не спеша рассаживались по местам, дерзко поглядывая на профессора, как бы говоря: «Ну погоди! Пройдет несколько часов, и ты увидишь!»

Эварист все твердил себе: «Что означают эти повозки? Зачем они там, во дворе?»

Послышались далекие голоса, потом грохот повозки,

выезжающей со двора.

Что это значит?

Полчаса спустя непонятные голоса возвратились. На этот раз они звучали чуть иначе, более возбужденно, пожалуй. Снова послышался грохот экипажа, выезжающего со двора. Эварист хотел было сказать об этих звуках соседу, когда услышал повелительный голос с кафедры:

— Галуа! Читайте следующее предложение.

Он не знал, какое предложение следующее. Он даже не знал, что читают — Ксенофонта или Новый завет. Не говоря ни слова, он поднялся. Сосед попробовал подсунуть ему книгу, открытую в нужном месте. Да, это Ксенофонт. Но Галуа не шелохнулся.

Тут профессор последовал наставлению директора: «Ведите себя как обычно. Делайте вид, что вам ничего не известно».

Профессор повернулся к Галуа.

— А-а, вот оно что! Мечтаем? У вас есть посторонние мысли, и они, конечно, гораздо важнее всего, чем мы тут занимаемся.

Профессор аккуратно выговаривал каждое слово:

— Вас, несомненно, занимают весьма важные размышления. Вы, может статься, уже решили какую-нибудь великую мировую проблему. Расскажите-ка нам о ней. Поделитесь с нами вашими глубокими и содержательными мыслями.

Мягкий, иронический голос внезапно сменился сердитым окриком:

— Чем вы занимались? Никакого ответа.

— Упрямитесь? Так! Запомним!

Он нацарапал что-то у себя в книжечке и веско произнес:

— Вы ленивы, невнимательны и болтливы. И повернулся к следующему.

Уроки кончились в половине пятого вечера. Ученики перешли из класса в комнату для занятий. Там их ждала закуска: кусок черствого хлеба, смоченного водой. Они перешептывались с набитыми ртами:

— Еще всего полтора часа.

— Начинайте сразу же, как наша четверка даст сигнал.

— Слушайте колокол.

— Все выйдет хорошо, если мы будем держаться вместе.

Им приходилось говорить шепотом. С ними все еще был профессор, дожидавшийся, пока придет надзиратель. Ух, этот надзиратель! Как хорошо они изучили его длинное, лошадиное лицо с отвислым носом! Каким оно было смиренным и подобострастным, когда он, то и дело отводя взгляд, говорил с профессорами! Но стоило ему обратиться к ученикам, как лицо

это искажалось от злобы и высокомерия. Он шпионил за ними по ночам, доносил о малейших нарушениях правил, педантично записывал каждого, кто хоть на минуту позже явился из отлучки, оскорблял и запугивал учеников сладким голосом, не повышая тона ни в гневе, ни в раздражении.

Сегодня, как обычно, он будет до шести часов следить, чтобы они готовили уроки. Зато потом он окажется в их власти. Да, это будет чертовски приятно — взгреть его как следует.

В комнату вошел надзиратель. Но это совсем не то лицо, которое они готовились увидеть. Куда делись длинный нос и прыщавая кожа?

Они услышали энергичный, не допускающий никаких возражений голос:

— Мсье Рагон явиться не может. Вместо него за вашими занятиями наблюдать сегодня стану я. Вам заданы два последних упражнения по-латыни и по-гречески. Приступайте!

Кто-то постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, открыл ее. Это был школьный привратник. Он подал надзирателю длинную черную тетрадь.

— Фублон. Ученик встал.

— Немедленно в кабинет директора.

Фублон стоял в нерешительности. Наступила мертвая тишина. Все взгляды были прикованы к нему.

— Вы слышали, что я сказал?

Фублон вышел. Привратник закрыл за ним дверь.

— Террен.

Ученик встал.

— Немедленно в кабинет директора.

Террен вышел. Тишина стала еще напряженнее.

— Буйе, Фарго. Вышли и эти.

Ошеломленные, ученики в страхе переглянулись. Случилось нечто непредвиденное. Это как раз те четверо, которым предстояло начать бунт. Успеют ли они вернуться до шести?

Напряжение росло. Ученики обменивались записками.

— Кто начнет?

— Как насчет этого нового надзирателя?

— Кто набросится первым?

— Вернутся они вовремя?

— Если они к шести не вернутся, кому начинать?

Мысли Эвариста устремились по привычному руслу, неизбежно ведущему в Бур-ля-Рен. Но мало-помалу им овладели тревога и беспокойство. Теперь, как и все другие, он ждал колокольного звона — сигнала тушить свечи, стоявшие на каждом столе. Тьма укроет, спасет от расправы. И вина и подвиг

останутся безымянными.

Но колокола не звонили. Приученные к точному, как часы, распорядку, ученики отозвались на опоздание подобно часовому механизму. Всем нутром, каждой клеточкой своего тела чувствовали они, что минуло шесть часов.

— Кто начнет?

— Когда начнем?

— Кто же начнет?

Эварист думал: «Колокола не будет. Не будет, это ясно. Нам кажется, что само время звонит в колокола, что их звук прилетает к нам в классы так же, как в мир приходят день и ночь. Но колокола приводят в движение человеческие руки, а руку человека можно остановить. Порядки в Луи-ле-Гран незыблемы и жестки, как сталь. Наполеон может встать из могилы, Париж — сгореть дотла, но колокола Луи-ле-Гран будут звонить так же, как вчера, как сто лет назад. А сегодня колокола молчат. Их молчание сеет смятенье. Оно-то и сломит мятежный дух, нагонит страху, заставит покориться».

Эвариста подхватила волна негодования. Щеки его пылали, он почувствовал боль в глазах, услышал громкие удары своего сердца. Он встал. Все повернули к нему головы. Красный, с горящими глазами, он стоял неподвижно. Открыл рот, потом снова закрыл. Правая рука его скользнула вдоль стола, нащупала толстую книгу — греко-французский словарь. Он схватил тяжелый том правой рукой, размахнулся и бросил его в свечу, горевшую на столе надзирателя.

Это был удачный бросок! Свеча упала и потухла. Словарь перелетел через край стола и шумно хлопнулся на пол. Кто-то бросил еще один словарь, чуть не сбивший вторую свечу на столе надзирателя. Словари полетели со всех сторон. Почти все свечи на столах учеников погасли. Несколько свеч вдоль стен еще горели, отбрасывая в полутемный класс причудливые тени. Надзиратель встал и, лицом к классу, неверными шагами попятился к стене.

Кто-то крикнул:

— Долой иезуитов!

Другой отозвался:

— Долой Берто!

— Долой иезуитов! Долой! Долой Берто! — нестройным хором подхватил класс.

Внезапно дверь со стуком распахнулась. Крики утихли; все повернулись к двери. Надзиратель прервал свое отступление. Ученики, стоявшие на скамьях, замерли.

Спокойно и величаво вошел и остановился у первого стола

старший надзиратель мсье Густав Эмон. Он не выглядел ни удивленным, ни рассерженным.

Встав лицом к классу, он мягко заговорил:

— Я пришел, чтобы сообщить вам нечто важное. Казалось, он только сейчас заметил потухшие свечи, стоящих на лавках учеников, разбросанные по полу словари. Он внимательно огляделся вокруг.

— Можете садиться.

В этих словах таилась чудодейственная сила.

Ученики соскочили со скамей, вернулись на свои места, уселись. Все старались как можно быстрее принять обычный вид. Эварист машинально делал то же, что и другие: зачарованно глядя на вошедшего, выполнял его приказания, вслушивался в каждое слово.

— Я пришел сообщить вам нечто важное. Я уверен, что большинство из вас, а может быть и все, с радостью примут мое сообщение.

Он помедлил и обвел взглядом молчаливую, завороженно слушающую аудиторию.

— Нам давно известно, что кое-кто из учеников пытался сеять среди вас смуту и недовольство. Беззастенчиво обманывая вас, они плели небылицы, распространяли лживые слухи. Они пустили слух, будто бы с согласия нашего директора мсье Берто школа вновь попадет в руки иезуитов. Не приходится говорить, что это ложь, и ложь весьма глупая. Ученики, пустившие подобный слух, прекрасно знали, что это неправда. Однако — и, я уверен, неосновательно — они полагались на глупость своих товарищей. Они взывали к вашему чувству дружбы и товарищества. Они старались вас уговорить, но были готовы, если нужно, прибегнуть к страху и насилию. Они попытались поставить вас под удар, рассчитав свои действия таким образом, чтобы вы понесли наказание вместе с ними. К счастью, я могу сообщить вам новость, которую вы будете рады услышать.

Он вдруг театрально возвысил голос:

— Этих учеников — их сорок человек — сегодня исключили из Луи-ле-Гран.

В классе было тихо; на зловещем фоне тишины потрескивание нескольких горящих свечек казалось невыносимо громким. Сорок учеников, самых лучших, исключены из Луи-ле-Гран! Вырваны из среды товарищей и брошены туда, где их ждет гнев или отчаяние родителей. Деланно-трагический голос помолчал как раз столько мгновений, сколько требовалось, чтобы и самый тупой ученик понял, что кроется за этой фразой: то, что произошло здесь, в четвертом классе, повторилось в каждом

классе Луи-ле-Гран. Ученики вспомнили повозки: теперь стало ясно, что странные звуки были криками протеста; каждый грохот повозки означал, что еще один из вожаков задуманного бунта навсегда покинул лицей. Властный голос продолжал:

— Эти ученики никогда не вернутся в Луи-ле-Гран. Им, вероятно, придется расстаться с надеждой продолжить свое образование во Франции. Отныне вы свободны: больше им вас не запугать. Можете учиться без помех.

Напряженно-драматический тон сменился невозмутимо спокойным:

— Хотелось бы думать, что с этим инцидентом покончено. Кое-кто среди вас повинен в том, что пренебрег своим долгом и не сообщил дирекции о планах мятежа. Но если это и так, мы готовы все забыть и вернуться к нормальным занятиям. Вас прислали сюда учиться. Мы, ваши преподаватели, несем за это ответственность. Вам следует понять: чтобы так поступить, мы должны быть уверены в вашей лояльности. Нам нужно твердо знать, что вас не связывают обещания, возможно данные вами зачинщикам бунта. Иначе, вполне очевидно, что если вы разделяете их взгляды, вам надлежит разделить и их участь. Вы, несомненно, согласитесь, что это и логично и справедливо.

Он огляделся по сторонам, чтобы посмотреть, считает ли тут кто-нибудь его рассуждения нелогичными или несправедливыми. Никто не проронил ни звука.

— Мне и — я уверен — вам всем хотелось бы покончить с этим тягостным происшествием. Но прежде я хочу, чтобы вы дали клятву верности нашей Школе, Я хочу, чтобы вы сказали мне, что не чувствуете себя связанными никакими обещаниями, которые вы дали добровольно или по принуждению. Я назову ваши фамилии, одну за другой. Те из вас, кто стоит за порядок, дисциплину и верность нашей школе, подтвердят это, сказав «обещаю». Вы понимаете, разумеется, что вас никто не заставляет. Вы должны дать обещание по собственной доброй воле. Иначе оно ничего не стоит. Читаю список. Аделье. Встал худенький мальчик и робким, дрожащим голосом прошептал:

— Обещаю.

— Нужно говорить громче, чтобы нам всем было слышно. И только по собственной воле, не иначе.

Сквозь слезы мальчик повторил громче:

— Обещаю.

— Вот это другое дело.

Эварист почувствовал, что у него заледенели пальцы, а щеки и лоб горят как в огне. Не разжимая плотно сомкнутых губ, он неслышно произнес:

— Обещаю! Обещаю! Обещаю тебе, что никогда в жизни не забуду этот страшный урок вероломства и лицемерия. Ненавижу тебя и таких, как ты. Ты научил меня понимать, что такое ненависть. Отец старался мне внушить, что можно жить без злобы. Только не здесь, не в Луи-ле-Гран! Людей вроде тебя я всегда буду ненавидеть — таких, которые угнетают слабых. Я буду драться против тебя и подобных тебе, где и когда бы я вас ни встретил. Обещаю! Клянусь перед богом, клянусь всей душой. Обещаю…

Эварист услышал спокойный, безразличный голос:

— Галуа.

Он встал. Страдание, гнев, страсть прозвучали в крике:

— Да, я обещаю!

Мсье Эмон поднял голову и увидел юное треугольное лицо с широким лбом и заостренным подбородком. Глубоко посаженные глаза, казалось, пронизывали его насквозь. Мсье Эмон с усилием отвел взгляд и, прежде чем назвать следующего, пробормотал:

— Очень странный мальчик.

Год 1824, среда, 28 января

Каждый год на Сен-Шарлемань, в день школьного праздника, заранее отобранные лучшие ученики присутствовали на банкете. Потоки латыни и цветистого французского красноречия низвергались во время банкета из уст профессоров и студентов.

Праздничный банкет в среду 28 января 1824 года был не похож ни на один другой в долгой истории Луи-ле-Гран. За несколько недель для участия в банкете отобрали сто пятнадцать учеников. Накануне праздника сорок из них были отправлены по домам.

Огромная, ярко освещенная столовая была украшена папоротником и цветами. За трибуной, где стоял длинный стол для профессоров, висели на стене белые флаги с гербовыми лилиями Бурбонов. Столы для учеников стояли под прямым углом к помосту, где находился стол для надзирателей.

Молча вошли семьдесят пять учеников, одетых в воскресную синюю форму. Они посмотрели на пустые тарелки, стоящие перед ними, на сорок незанятых мест. В комнату вошла процессия преподавателей во главе с мсье Берто. Ученики встали, почтительно опустив глаза. Потом смиренно уселись, как побитые собаки, которым задали хороший урок.

Директор победоносно осмотрел сидящих внизу учеников. Кое-кто из них поднял голову. Они увидели сияющего директора, рядом — его пятерых заместителей. Поискали глазами проктора, мсье де Гер-ля, человека, который пользовался их любовью и

доверием. Но его не было. Он не пожелал стать свидетелем унижения своих учеников. Ни одного дружеского лица там, наверху. Ни одного лица, смягченного жалостью или сочувствием.

Ни слова на трибуне, где сидели профессора. Ни слова среди учеников. Взялись за суп. Подали цыплят. Лишь стук ножей и вилок нарушал тишину. Слышно было даже, как жуют. Комната казалась мрачной и темной, хотя зажжены были все свечи в люстрах. Десерт приняли без замечаний и съели не спеша. Даже шампанское встретили вяло и безразлично.

Гнетущее настроение рождало тишину. Тишина Давила, росло напряжение. Обстановка была мрачнее, чем на похоронах.

Поднялся директор. Взял пухлой рукой бокал с шампанским, другой пригладил бородку.

— Я пью за здоровье нашего возлюбленного короля Людовика Восемнадцатого!

И тут случилось нечто непредвиденное, невероятное.

Ученики переглянулись. Они знали, чего от них ждут. Они могут сжечь школу, избить надзирателя, но отказаться пить за здоровье короля они не могут. Они не сговаривались отказаться от этого тоста. Просто никто не захотел первым встать на ноги. Они грозно смотрели друг на друга, бросая вызов каждому, кто посмеет подняться. Но таких не нашлось.

Все остались сидеть. Директор и профессора стояли в ужасе и недоумении, глядя на неподвижных учеников, словно приросших к скамьям и бросающих им в ответ дерзкие взгляды. Исчезла унизительная покорность; поражение превратилось в победное торжество. Пришло время их мести. Они не отрываясь глядели в багровое лицо директора. Они увидели, как директор и профессора опустились на свои стулья, стараясь сохранить высокомерный и безразличный вид. Снова тишина, но уже другая. Теперь торжествовали ученики, а профессора чувствовали себя униженными.

Мсье Эмон бросил вопросительный взгляд на директора. Тот медленно наклонил рыжую голову. Мсье Эмон встал. Сейчас прозвучит волшебный голос. Но что это? На лбу мсье Эмона выступили капельки пота. Всемогущий бог, снизошедший в Луи-ле-Гран с Олимпа, вспотел от страха. Он поднял бокал:

— Я пью за здоровье нашего директора, мсье Берто.

Волшебный голос утратил свои чары. Ни один ученик не шелохнулся. Только ярче заблестели глаза, насмешливо разглядывающие занятные фигурки там, на трибуне; слишком чванные, чтобы выдать свое замешательство, слишком неловкие, чтобы скрыть отчаяние. Как марионетки, повторяют они: «Да

здравствует мсье Берто!» — и это звучит теперь скорей как издевательство, а не пожелание.

Один молодой профессор вспыхнул, поднялся и быстро произнес:

— Пью за нашего проктора, мсье де Герля, которого сейчас нет среди нас.

Вот тут прорвалась долго сдерживаемая энергия:

— Да здравствует мсье де Герль!

Несколько человек, вскочив на скамьи, кричали истерически, все громче. Хором они повторяли снова и снова:

— Да здравствует мсье де Герль!

Один из них шагнул со скамьи на стол, сбросил на пол несколько тарелок с остатками цыпленка, отшвырнул ногой бокалы с шампанским и, размахивая в такт вилкой, стал дирижировать хором голосов, придав ему ритмичность, стройность, силу. Другие ученики схватили вилки и ложки и принялись отбивать ритм на тарелках и бокалах, разбивая их вдребезги, проливая на пол вино.

Директор стучал кулаком по столу.

— Тишина! Тишина! Я хочу вам что-то сказать.

Но стоило его словам на мгновение зазвучать громче, как крик «Да здравствует мсье де Герль!» усиливался, пока голос директора не тонул в нем. Видно было, как мсье Берто возбужденно открывает рот, потрясает кулаками, но ни единого звука не было слышно.

Наконец его слова прорвались сквозь шум:

— Тишина! Тишина! Я хочу вам что-то сказать. Вы больше не ученики нашей школы, мы слагаем с себя ответственность за вас. Вы исключены из Луи-ле-Гран. Все вы вернетесь к родителям. Тихо! Повторяю вам…

Вопли смолкли, наступило молчание. Никому не пришло в голову заново подхватить крик, слова потеряли смысл, выдохлись. Теперь должно наступить нечто иное. Даже если им придется покинуть школу, они не будут сломлены. Они ждали, чтобы кто-то возглавил их, указал им, как проявить силу, которую они в этот день обнаружили в себе.

Чей-то чистый голос, прервав молчание, запел запрещенный гимн — «Марсельезу». Песня росла и ширилась. Она звучала все громче, взволнованней. Она опять с ними, боевая песнь их отцов, сохраненная в глубине их сердец. Они пели песню, от слов которой зажигались огни свободы, песнь борьбы, победы, песнь славной Франции. С этой песней некоторые из них шесть лет спустя дрались и умирали на улицах Парижа.

Год 1824, сентябрь

Целых три дня продолжалась агония Людовика XVIII, последнего из королей Франции, которому было суждено почить на французской земле. Его окружала толпа придворных. В жаркой духоте царила тишина, нарушаемая лишь стонами больного. Незадолго до смерти он простер над головой трехлетнего герцога Беррийского белую руку с узловатыми, окостеневшими пальцами и прошептал: «Да благословит тебя бог. Пусть брат мой бережно хранит корону для этого ребенка».

Мадам дю Кайла сослужила службу своим покровителям, уговорив короля позвать исповедника. За эту услугу она получила восемьсот тысяч франков.

16 сентября, около четырех часов утра, дворянин, поддерживавший полог над кроватью, опустил его и объявил, что король «более не дышит».

Девять дней спустя гроб Людовика XVIII опустили в склеп собора Сен-Дени, и сумрачные стены в последний раз приняли короля Франции.

Один за другим герольды сбрасывали на гроб свои шляпы и гербовые щиты, и каждый раз этот трагический жест сопровождался криками: «Король умер! Король умер!»

Вперед вышли три герцога. Каждый бросил в склеп флаг той королевской гвардии, который он командовал, и герольды трижды повторили: «Король умер!»

Потом туда же были брошены корона, скипетр, шпоры, латы, шпага, щит — все военные доспехи этого столь не воинственного монарха. И собор огласился звоном металла и криками герольдов: «Король умер!»

Хромая, вышел вперед великий камергер князь Талейран и опустил над гробом королевский флаг Франции.

Затем выступил главный дворецкий и трижды ударил тяжелым жезлом в каменный пол. Когда замерло гулкое эхо, он прокричал: «Король умер! Король умер! Король умер! Помолимся за упокой души короля!»

Все молча склонили головы.

Главный дворецкий еще раз постучал жезлом.

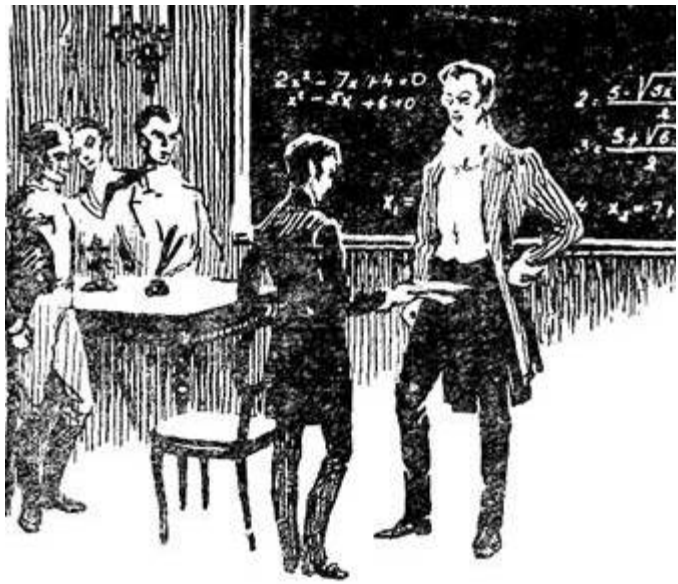
— Да здравствует король!

Двери склепа с треском захлопнулись, забили барабаны, загремели трубы, и хор герольдов провозгласил:

— Да здравствует король Карл Десятый, милостью божьей король Франции и Наварры, самый христианский, самый великий, самый могучий, наш почитаемый господин и добрый повелитель! Да пошлет ему бог долгую и счастливую жизнь. Воскликнем же все: «Да здравствует король!»

Так началось царствование Карла X, последнего французского короля династии Бурбонов.

III «Я — ДЕЙСТВИТЕЛЬНО МАТЕМАТИК»



Год 1825, 29 мая

В январе 1825 года «Монитер» объявил, что весной в Реймсе состоится коронация Карла X. Горделиво и благодарно поглядывали граждане Реймса на башни своего собора, откуда на город должен был пролиться золотой дождь. Вскоре любой темный угол, если в нем могла поместиться кровать, сдавали за шестьдесят франков в сутки.

Посол Великобритании лорд Нортумберлендский послал своего управляющего найти комнаты в Реймсе. Тот увидал на большом доме надпись: «Продается», и спросил хозяина:

— Сколько?

— Десять тысяч франков.

— Я хочу только снять дом.

— На какой срок?

— На три дня, пока проходит коронация.

— Тогда тридцать тысяч.

За месяц до коронации собор заполнили каменщики. Из страха, как бы что-нибудь не свалилось королю на голову, они сбили все нетвердо державшиеся куски скульптуры. В кучу мусора попали и осколки Христова лица и куски ангельских крыл.

В мае «Монитер» радостно известил, что король будет помазан на царство древним святым елеем, принесенным с небес голубем. Бесценный пузырек веками хранился в Реймсе. Но в страшном 1793 году представитель народа и комиссар Конвента гражданин Руль схватил священный флакон, разбил его о голову статуи Людовика XV и пролил елей на каменного короля, на землю, в грязь. Однако случилось чудо: надежные, хоть и безвестные, лица собрали священные капли и сохранили их для великого дня, когда в Реймсе будут снова короновать короля Бурбона.

Процессия вступила в собор ранним утром. Король был облачен в вишневое с золотом одеяние. На пэрах Франции, окружавших короля, были длинные, расшитые золотом мантии из бархата и горностая.

Внутренняя часть строгого готического собора ради торжества преобразилась в греческий театр. Представление состоялось под балдахином из малинового атласа. Архиепископ и король были главными актерами в спектакле, который шел пять часов подряд и в котором король шесть раз переодевался. Помогал ему его двоюродный брат и первый принц крови Луи-Филипп, герцог Орлеанский. В одной из сцен король лежал, распростершись на подушках; красивое лицо его и седые волосы прикасались к ковру, который попирал архиепископ. Через семь отверстий в платье Карла представитель святого отца колол тело короля золотой иглой. В другой сцене, получив в правую руку скипетр, а в левую — символы правосудия, король преклонил перед архиепископом колени, и архиепископ помазал чело короля чудом сохраненным святым елеем, а затем возложил на него корону Карла Великого.

Кое-кто из зрителей помнил совсем другое, хотя и не менее красочное зрелище, которое привело их в восторг лет двадцать тому назад. Оно разыгралось не в Реймсе, а в Соборе Парижской богоматери. И тогда не архиепископ, а сам папа прибыл из Рима, чтобы короновать молодого бога войны. И ни разу не распростерся Наполеон перед святым отцом. Нет! Его святейшеству не дали даже прикоснуться к короне. Наполеон сам взял корону Карла Великого в свои царственные руки и плотно надел ее на свою царственную голову.

Те из зрителей, кто ненавидел «крайних», в страхе наблюдали за спектаклем. А что, если король сейчас поклянется старой клятвой французских королей: охранять права церкви и истреблять еретиков? С облегчением услышали они новые слова древнего обряда: король дал клятву соблюдать конституционную хартию.

Когда, наконец, церемония завершилась и Карл во всем своем королевском облачении неподвижно восседал на троне, измученные зрители прокричали: «Vivat rex in aeternum!»[6]

Революция? Империя? Короткие, темные эпизоды в славном прошлом Франции. Отныне, когда навеки воцарилась династия Бурбонов, следы тех дней должны исчезнуть; память о них — умереть в сердцах людей.

Огромный занавес, отгораживавший заднюю часть собора, раздвинулся. Внутрь ворвалась толпа, зазвонили колокола, заиграл орган, громко затрубили трубы. На мушкетные выстрелы откликнулись пушечные залпы, а со сводчатой крыши выпустили сотни голубей. Напуганные шумом толпы, голуби порхали в облаке ладана.

Так короновался в Реймсе последний король Франции.

Годы 1825–1827

То были годы, когда разбитая французская буржуазия опять начала поднимать голову, выдвинув для борьбы с «крайними» два лозунга. Первый — «Да здравствует хартия!» — не нашел большого отклика. Людям не хотелось беспокоиться насчет хартии, которую король и так поклялся соблюдать. Второй лозунг увлек воображение Франции, воспламенил страну. Повсюду и везде повторяли на разные лады: «Долой иезуитов!», «Долой черных священников!»

«Наш век будет трудно объяснить нашим детям, — философствовала одна либеральная газета. — На очереди дня — богословские распри. Только и слышно разговоров, что о монахах да иезуитах».

Тупоумие и слепота «крайних», поддерживавших Карла и иезуитов, служили для их врагов лучшим союзником. Либералы без устали повторяли все те же доводы: Францией правит король, но король — послушная игрушка в руках иезуитов. Палаты приняли закон: кража священных предметов из церкви карается смертью. Те же палаты приняли закон, карающий богохульство наравне с изменой родине. В Реймсе король пал ниц перед архиепископом. Разве это не свидетельствует о том, что иезуиты стремятся перевести стрелки на часах истории назад, к средневековью, к временам инквизиции?

Вскоре лавочники и ремесленники Парижа увидели зрелище еще более тревожное. В 1826 году на церковном празднике «Жюбиле» по парижским улицам прошли религиозные процессии, и каждую из них почтил своим присутствием король.

Последнее, самое пышное шествие завершилось

благословением камня, служившего основанием для памятника королю-мученику Людовику XVI. Карл X, члены королевской фамилии, кардиналы, епископы, две тысячи священников, маршалы, генералы, офицеры, пэры, депутаты, светские чиновники, судейские служащие образовали процессию, превзошедшую все другие своею многочисленностью и пышностью.

Когда шествие вступило на площадь Людовика XV, загремела артиллерия. Архиепископ Парижский поднялся на ступени великого алтаря. Трижды воззвал он к небесам о милости и прощении. Все присутствующие упали на колени. Потом король, облаченный в фиолетовую мантию — цвет траура королевского дома, — вышел вперед, чтобы заложить основание для памятника, которое затем должен был благословить архиепископ.

Парижанам, падким на всякое красочное зрелище, эти две мантии — короля и архиепископа — казались очень похожими друг на друга. По улицам, вдоль которых были выстроены войска, процессия возвратилась к Собору Парижской богоматери. Едва успели отгреметь пушечные залпы, как во все стороны из Парижа полетели новые слухи: короля произвели в сан епископа, он член ордена иезуитов; участие в процессии — это епитимья, возложенная на него церковью во искупление грехов молодости. Из разговоров и памфлетов рождались все более и более невероятные слухи: что невозможно будет получить работу, если ты не иезуит; что иезуиты держат наготове тысячу человек, вооруженных кинжалами; что папа может, если ему заблагорассудится, свергнуть монарха с престола. По слухам, господство религиозных фанатиков представлялось более опасным для тружеников полей, мастерских и заводов, чем анархия самых кровожадных революционеров.

Пытаясь пресечь эти слухи, правительство привлекало к суду каждого, кто «с неуважением высказывается о лицах или делах, связанных с религией». Однако в большинстве случаев судьи отпускали обвиняемых на свободу, после чего речи последних становились еще яростнее, еще оскорбительнее. В витринах парижских магазинов были выставлены портреты святых отцов со вздутыми животами и непристойными лицами, рисунки, на которых изображались тощие, аскетические монахи, сжигавшие книги Вольтера. Реальная опасность, которую представляли собой иезуиты, была раздута до невероятных размеров, пока она не набросила тень ненависти и страха на всю Францию.

В кафе, клубах, винных лавках то и дело слышалось слово «иезуиты». В королевских коллежах ученики повторяли то, что слышали от родителей. Настроение, которое господствовало в

Луи-ле-Гран, лучше всего обрисовано в тревожном письме, написанном новым директором, мсье Лабори, своему начальнику, министру народного образования:

«Религиозного чувства у студентов не существует. Благочестивые, а таких немного, стыдятся перекреститься. Им приходится скрывать свою набожность, чтобы оградить себя от насмешек, более того — от преследований громадного большинства других. Ведутся самые нечестивые разговоры о наших святых отцах. Никакого почтения к святыне, где совершаются страсти господни. Меня пугает распущенность, царящая в умах и душах учеников. Можно без преувеличения сказать, что зло достигло здесь своего апогея. Даже профессора подают им плохой пример тем, что сами нерегулярно посещают службы. Не подлежит сомнению, что родители подливают масла в огонь своими нападками на пресловутый орден иезуитов. (Я сам не раз слышал такие высказывания и призывал родителей к молчанию.) В присутствии наставников или в лучшем случае за их спиной родители твердят сыновьям об угрозе господства церкви и таким образом поддерживают в них мятежный дух.

Как обуздать детей, если в своем неповиновении они могут рассчитывать на поддержку родителей? Если, безусловно уверенные в снисхождении, они иногда надеются и на похвалу? Главная тема разговоров среди учащихся — иезуиты».

После мятежа в Луи-ле-Гран опозоренный директор мсье Берто был смещен. Он вышвырнул сто пятнадцать лучших учеников, красу и гордость лицея, всех победителей научных конкурсов, прославивших Луи-ле-Гран среди других королевских коллежей. Однако мятежный дух восторжествовал, и этого директору не простили.

Итак, мсье Берто убрали и его преемником назначили мсье Лабори. Мсье Берто был груб, жесток, неуклюж. Мсье Лабори был прекрасно образован, искусен в интригах. Мсье Лабори любил короля.

В коллеже будет царить все тот же дух. Но отныне подавлять мятежи будет рука в перчатке. Она сумеет притупить боль и заглушить шум ударов.

То были годы, когда Эварист Галуа шаг за шагом подвигался вперед, пока не дошел до класса риторики. Он никогда не забывал, что только отсутствие на банкете в праздник Сен-Шарлемань спасло его от участи ста пятнадцати исключенных.

То были годы, когда преподаватели Луи-ле-Гран жаловались, что ученик Галуа рассеян, недостаточно прилежен и послушен. Он, быть может, не лишен способностей, говорили они, и даже выдающихся. Но он ребячлив и чудаковат. Директор настойчиво

советовал мсье Никола́-Габриелю Галуа оставить сына на второй год в том же классе. Но старый мсье Галуа не согласился, и, таким образом, осенью 1826 года Эварист поступил в класс риторики и начал считать дни, отделявшие его от свободы.

Год 1827, февраль

На стук Эвариста раздалось отрывистое: «Войдите». Он вошел в кабинет, остановился у двери. Директор продолжал писать. Эварист смотрел на резкие черты лица директора, на его плотно сжатые губы, на худощавое, аскетическое лицо. Потом перевел взгляд на письменный стол, пересчитал все лежавшие на нем предметы, рассмотрел все картины на стенах и снова уставился на директора.

«Ты великолепно знаешь, что я тут жду, пока ты меня заметишь, — думал он, — Это новый вид пытки, изобретенный великим магистром инквизиции, директором Луи-ле-Гран мсье Лабори. Я тебе напомню о себе. Подойду совсем, совсем тихо, а потом внезапно вырву перо у тебя из руки, сломаю его и скажу: «Мы все ненавидим и презираем тебя. Ты иезуит, иезуит, иезуит короткой сутаны». Тогда ты заметишь меня?»

Директор поднял голову.

— Ах да, это вы, Галуа.

Он отложил перо, откинулся на спинку стула и очень медленно, очень отчетливо и свысока заговорил:

— Галуа, я прочел и обсудил вашу характеристику. Это не то, что мы все ожидали.

Галуа ответил, но только про себя: школа научила его скрывать свои мысли. «Это потому, что мне не нравишься ни ты, ни твоя школа. Я знал, что как бы усердно я ни трудился, что бы ни делал, ты все равно не дашь мне кончить школу в этом году. Таков приказ черных монахов».

Мсье Лабори подождал, но ответа не последовало.

— Нам казалось, что вы чересчур молоды для класса риторики. Вам еще нет шестнадцати. Но мы подумали, что, может быть, мы не правы. Мы не хотели настаивать. К несчастью для вас и вопреки нашим надеждам, время показало, что мы были правы. Мы уверены, что во втором классе вам будет гораздо лучше. Вы попадете к отличному наставнику, мсье Жирардену. Вы будете встречаться с юношами вашего же возраста. Работа покажется вам куда легче, и вы, несомненно, будете гораздо лучше успевать.

Как бы дожидаясь ответа, директор помедлил и затем снова начал ронять изысканно-отшлифованные фразы:

— Единственная наша забота — благо учащихся. Именно

поэтому мы стараемся не только сообщить вам знания и развить ваш ум, но, превыше всего, сформировать ваш характер. Вы еще оцените это, когда будете старше. Надеяться, что вы сможете оценить это теперь, значило бы желать слишком многого. Но лишний год пребывания в Луи-ле-Гран может открыть вам глаза. К вам придут не только знания, но — что гораздо важнее — зрелость и понимание.

Опять никакого отклика. Мсье Лабори повернулся к Эваристу.

— Вы понимаете, что я говорю?

— Превосходно, мсье.

— Значит, вы со мной согласны? Галуа ничего не ответил.

Голосом, в котором не было ни малейших следов раздражения или нетерпения, директор повторил:

— Я вас спрашиваю, согласны ли вы со мной? Эваристу удалось подавить нарастающий гнев и спокойно ответить:

— Нет, мсье.

Директор взглянул на него с интересом, и его дружеский голос стал еще более сладким:

— Тогда скажите, почему вы не согласны. Может статься, обсудив этот вопрос, мы найдем решение, которое удовлетворит нас обоих. Такое решение можно легко найти, если то, что вы предлагаете, пойдет вам на благо. Наши интересы не противоречат друг другу. Они совпадают. Скажите же, Галуа, почему вас не убедили мои доводы?

Эварист чувствовал, что приближается буря. Оскорбительные, негодующие слова так и просились ему на язык. Он знал, что скоро будет не в силах им противиться. Они вырвутся на волю и зазвенят в ушах этого сухого аскета. Он в отчаянии хватался за мысли, которые могли бы смирить бурю, помочь ему промолчать.

Он подумал про отца. Придется в точности рассказать отцу, что сказал директор и что он ему ответил. Нужно поступить так, чтобы отцовские глаза не затуманились, не погрустнели. С отцом что-то происходит. Давно уже прошли те времена, когда он был весел, сочинял стихи, изображал в лицах друзей и так смеялся, что заражал всех, то есть всех, кроме матери. Что кроется за этой внезапной переменой? Как бы то ни было, он не должен причинять отцу новые огорчения. Он должен отныне говорить устами отца.

Он смиренно произнес:

— Не лучше ли мне остаться в классе риторики, мсье? Я надеюсь, что смогу закончить его успешно. А если нет, я буду готов повторить класс риторики на будущий год.

Мсье Лабори взглянул на Галуа так, будто тот высказал превосходную мысль, о которой директору никогда еще не

приходилось слышать.

— Обсудим ваш план беспристрастно и посмотрим, который из двух — ваш или мой — лучше для школы и, таким образом, для вас. Нам хочется, чтобы вы с честью закончили школу. Мы хотим гордиться вами. Но мы также хотим, чтобы и вы гордились Луи-ле-Гран. Если вы вернетесь во второй класс, где вы не были отстающим и ранее, у вас будет прекрасная возможность принять участие *в общем* конкурсе, и — как знать! — быть может, вы завоюете первое место. С такой подготовкой на будущий год у вас будут не менее превосходные возможности в классе риторики. Но если вы останетесь в классе риторики, вы, возможно, сдадите экзамены на «посредственно». Даже в этом я сильно сомневаюсь. Я почти уверен, что вам придется остаться на второй год в последнем классе, и вы придете туда с плохой характеристикой. Между тем, возвратившись во второй класс, вы сможете начать последний год учения с хорошими, быть может прекрасными, отзывами. Чем больше я думаю, тем яснее вижу, что и для школы и для вас наш план гораздо лучше. Да, теперь я совершенно уверен в том, что именно наш план лучший из двух.

Он посмотрел на Эвариста с видом человека, пришедшего к окончательному заключению.

— Надеюсь, теперь я убедил вас.

«Нужно кончать этот разговор, — думал Эварист, — кончать во что бы то ни стало. Если я пробуду здесь еще секунду, я плюну тебе в лицо, иезуит».

— Да, убедили, мсье, — покорно сказал он. Сказал — и будто самому себе плюнул в лицо.

Год 1827

Эварист вернулся во второй класс, к прежним лекциям, к прежней скуке среди новых одноклассников.

Жутко было снова браться за однообразное повторение знакомой программы. Эварист решил — впервые — приняться за математику. Этот предмет не пользовался успехом у учащихся. На факультете математику не считали настолько важной, чтобы включить ее в список обязательных дисциплин. В результате четыре раза в неделю собиралась разношерстная группа учеников третьего, второго и риторического классов, чтобы осилить начальные ступени геометрии. Когда Эварист в последнем триместре поступил в этот класс, ученики наполовину одолели «Начала геометрии», написанные великим математиком Адрианом Мари Лежандром, — книгу, влияние которой испытали учебники геометрии грядущих лет. На вводном уроке Эварист

раскрыл книгу Лежандра и прочитал первые фразы:

> «I. Геометрия — наука, целью которой является измерение пространства. Пространство имеет три измерения: длину, ширину и высоту.
>
> II. *Линия* — это длина, не имеющая ширины. Концы линии называются точками; точка не обладает протяженностью,
>
> III. Прямая линия — кратчайший путь от одной точки к другой.
>
> IV. Каждая линия, не являющаяся прямой и не состоящая из прямых, является кривой».

Следующая фраза относилась к рисунку. Рисунки не прерывали текста, они были собраны в конце. Эварист развернул первый лист чертежей, прочитал текст, взглянул на соответствующую фигуру. Затем он быстро миновал многочисленные определения и подошел к следующему разделу, начинающемуся словами:

> «Аксиома есть положение, истинность которого самоочевидна».

Он подумал: «Что же очевидно само собой? Что очевидно одному, может не быть очевидным для другого. Существует ли нечто столь очевидное, что само собой ясно для всех?» Он прочел:

> *«Теорема* есть истина, которая становится очевидной путем рассуждения, именуемого *доказательством».*

Он думал: «Оказывается, геометрия занимается истиной. Существуют теоремы, которые соответствуют истине. Цель рассуждений — сделать истинность этих теорем очевидной. Но, разумеется, их истинность может быть очевидной лишь настолько, насколько очевидна истинность аксиом, на которых они построены. На аксиомах держится все здание геометрии. Каковы же эти аксиомы?» Ответ он нашел, перевернув страницу:

«Аксиомы

1. Две величины, равные третьей, равны между собой.
2. Целое больше, чем любая из его частей.
3. Целое равно сумме составляющих его частей.
4. Две точки можно соединить только одной прямой».

Он читал страницу за страницей, и перед ним, простое и прекрасное, как греческий храм, вставало здание геометрии. Читая быстро, он видел не только частные теоремы, но их взаимосвязь, планировку целого, величие самой структуры геометрии. Он поймал себя на том, что угадывает, знает заранее, что будет сказано дальше. Он увидел, как здание растет у него на глазах. Вскоре все окружающее: класс, товарищи, надзиратели, звуки, запахи — исчезло. Абстрактные геометрические теоремы стали более осязаемыми, чем мир вещей. Здание геометрии все росло у него в голове. Читая теоремы, он почти всегда молниеносно видел, как их можно доказать, и тут же, в подтверждение своих мыслей, просматривал текст и рисунки. Скоро он мог пропускать доказательства: многие теоремы он предвидел. У него было такое чувство, как будто он знает геометрию очень, очень давно, но знание было скрыто от него темной пеленой. Чтение книги Лежандра сорвало пелену и открыло ему греческий храм. Казалось, чьи-то сильные, надежные руки унесли его из Луи-ле-Гран. Он больше не чувствовал себя несчастным: Луи-ле-Гран перестал существовать для него.

На других уроках, в каждый свободный момент этого дня он читал, поглощая теоремы, по-своему доказывая их, по-своему рассуждая. В день, когда он начал читать Лежандра, он дошел до «Книги IV. О правильных многоугольниках и окружностях».

Встретилась задача: «Найти окружность, которая как можно меньше отличалась бы от данного правильного многоугольника».

Он подумал: «Что это за число π?»

Ища ответа, он обратился к напечатанным мелким шрифтом замечаниям для особо успевающих студентов. Там он нашел доказательство того, что отношение длины окружности к диаметру, а также квадрат этого отношения — иррациональные величины. Читать стало труднее. Ему встретились новые знаки, такие, как *tgx*, значение которого было ему неизвестно. Он перешел к последней части книги Лежандра — «Трактату о тригонометрии», где давалось определение этому и другим

тригонометрическим символам.

Когда в четверть десятого вечера во всех спальнях потушили свет, Эварист лежал на кровати с открытыми глазами, глядя в пространство. Он ясно *видел* все теоремы, с которыми познакомился за день. Появились геометрические фигуры, их перечеркнули уравнения, растянувшиеся во все стороны. Какая-то новая теорема настойчиво требовала, чтобы он доказал ее. Мир рассуждений и мир снов смешались в причудливом переплетении рассудка и воображения, где люди были похожи на формулы, а теоремы — на живые существа. Эварист пытался разделить для себя эти два мира, но так и не смог помешать им сливаться воедино всю ночь напролет, всю бессонную и радостно-тревожную ночь.

На другое утро он опять читал Лежандра. Впервые с тех пор, как поступил в Луи-ле-Гран, он не думал про отца, не чувствовал запаха сена, не слышал колокольного перезвона в Бур-ля-Рен. Его мозг горел новым пламенем, потушить которое могла только смерть. В два дня он кончил книгу Лежандра, рассчитанную на два года учения. Он знал в ней все. Знал и то, что познанное им останется и будет расти у него в голове до последнего дня его жизни.

На уроке математики к Эваристу обратился профессор Вернье:

— Вы в этом классе новичок.

Эварист встал с места. Взгляд у мсье Вернье был усталый, но приветливый.

— Это для вас новая дисциплина. Она может вначале показаться вам трудной. Вам понадобится время, чтобы привыкнуть к ней. Я предоставлю вам, скажем, месяц сроку, а потом проверю вас.

Эварист стоял молча, уставившись профессору в лицо. Мсье Вернье взглянул на него с нетерпением.

— Как вы думаете, вам хватит месяца?

— Да, мсье.

Мсье Вернье начал урок. Темой его были правильные вписанные и описанные многоугольники. Большинство студентов, казалось, скучали. Голос преподавателя звучал тускло и невыразительно. Он повторял теоремы в том же виде, как они были представлены в книге Лежандра. При доказательстве он применял те же обозначения, те же рассуждения, по нескольку раз повторяя одно и то же. Преподаватель переносил рисунки из книги на доску, а ученики — с доски в тетради. Им задавали вопросы, и они повторяли фразы, услышанные от

преподавателя, — те самые, которые были напечатаны в книге Лежандра. Чаще всего они учили эти теоремы, как заучивают латинские или греческие стихи, — механически повторяя их и не стараясь раскрыть содержание.

Эварист видел, что здесь выхолащивают самую душу геометрии, оставляя лишь безжизненный остов, набор скучных, бессмысленных фраз, зазубриваемых изо дня в день. Он видел, с каким непревзойденным мастерством школа ухитряется превратить красоту в скуку, разумное рассуждение — в догму, греческий храм — в груду камней.

В библиотеке лицея царила разруха. Окна не закрывались, освещение было скверным, стены и книги — сырыми. Лишь немногие ученики пользовались этой библиотекой, где находились многочисленные ценные труды по латыни, греческому и истории, но всего горсточка книг по математике.

Когда Эварист выбрал «Решение численных уравнений» Лагранжа, библиотекарь попробовал пошутить:

— Вам известно правило: книгу можно держать только восемь дней. Вы что, собираетесь кончить ее за восемь дней?

— Постараюсь.

Во введении он прочел определение алгебры:

> «Алгебра в широком значении слова — это искусство определения неизвестных величин посредством функций известных или принимаемых за известные, а также искусство нахождения общих решений уравнений. Такое решение заключается в нахождении для *всех* уравнений одной и той же степени таких функций коэффициентов алгебраических уравнений, которые могут представлять собой их корни. В настоящее время эти функции найдены только для уравнений первой, второй, третьей и четвертой степени…»

Он прочел книгу Лагранжа не так быстро, как книгу Лежандра. Впечатления его были противоречивы. Как ни увлек его этот великий труд, он оставил у него и чувство неудовлетворенности, возраставшее с каждой прочитанной страницей. В геометрии он ясно видел общее построение, здесь — нет. И он знал, что не видит его, потому что его не существует. В здании геометрии видны были стиль, гармония, красота. Алгебра же была странным сочетанием построек различных стилей, большинство из которых было лишь заложено, и ни одно не

завершено. За нагромождением построек не чувствовалось замысла великого зодчего.

Он старался определить причину своего недовольства. Думал об основной задаче алгебры — задаче решения алгебраических уравнений.

Алгебра, то есть элементарная алгебра, была порождена именно этой задачей. Истоки ее восходят к давним временам. Современная алгебра, с ее обширным полем исследований сегодняшнего дня, тоже зародилась из этой задачи, и истоки ее восходят к работе Галуа.

Итак, решение уравнения может быть либо легкой задачей, известной еще в античные времена; либо трудной задачей, с которой справились в период Возрождения, либо, в каком-то смысле, как это признавали Абель и Галуа, неразрешимой задачей.

Сказать, что если $2x-1=0$, то $x=1/2$, это значит решить уравнение столь незначительное, что оно вряд ли достойно этого названия. Отсюда можно подняться ступенькой выше, к уравнению второй степени, подобному $x^2-5x+6=0$. Здесь нам тоже требуется число (или числа), которые, заменив x, удовлетворят условиям этого уравнения. Другими словами, мы находим корни этого уравнения. Действительно, вставьте в уравнение число 2 или число 3 вместо x, и вы увидите, что любая эта цифра подходит к уравнению $x^2-5x+6=0$ (x^2 означает x раз x; $5x$ означает 5 раз x).

Даже изучение этих сравнительно простых уравнений второй степени повело к далеко ведущему открытию мнимых и комплексных чисел.

Легко возразить: «Это тонкая паутина абстрактных понятий, умозрительных задач, весьма далеких от нашей обычной жизни». Однако уравнение второй степени приводит нас к комплексным числам — повседневному орудию инженеров и физиков. Из размышлений математика, из абстрактной нити его рассуждений возникли современная наука, современная техника.

В уравнении $2x-1=0$ числа 2 и 1 являются коэффициентами. Мы находим решение этого очень простого уравнения, разделив один на два. Подобным образом в уравнении $x^2-5x+6=0$ числа 1, -5, 6 — тоже коэффициенты. Корни этого уравнения можно найти, проделав с этими коэффициентами определенные действия. В самом деле, мы помним, что этими корнями были 2 и 3. Числа 2 и 3 могут быть найдены действиями вот таких простых формул:

$$2=\frac{5-\sqrt{5\cdot 5-4\cdot 6}}{2} \quad \text{и} \quad 3=\frac{5+\sqrt{5\cdot 5-4\cdot 6}}{2}$$

Этими формулами можно воспользоваться, если знать коэффициенты, над которыми нужно совершать действия. В случае уравнения второй степени они еще достаточно просты, хотя значительно сложнее, чем для уравнений первой степени.

Некоторые алгебраические уравнения можно решить в радикалах. Это значит, что можно найти их решение конечным числом действий, совершаемых с коэффициентами алгебраических уравнений. Такими действиями являются рациональные действия (сложение, вычитание, умножение, деление) и извлечение корней. Если существует решение, которое можно достигнуть этими действиями, мы говорим, что уравнение можно решить в радикалах.

Уравнение первой степени — это пустяк. Уравнение второй степени несложно. При решении уравнений третьей степени возникают трудности, но это посильная задача, и она была разрешена почти за триста лет до того, как Галуа появился на свет. Корни, иными словами, решение уравнения третьей степени, можно найти путями, известными каждому математику: задача может быть сведена к уже известной — к решению уравнения второй степени. В математике этот прием используется постоянно: решение новой задачи сводится к уже известному решению старой. Подобным же образом алгебраическое уравнение четвертой степени может быть решено в радикалах, ибо задача его решения может быть сведена к задаче решения алгебраического уравнения третьей степени, а оно известно.

Но здесь метод, изложенный Лагранжем в его книге, неожиданно, резко и полностью обрывался. Верно, что если можно решить уравнение второй степени, значит можно решить и уравнение третьей. Если мы можем решить уравнение третьей, значит можно решить и уравнение четвертой. Казалось бы, эту цепочку можно продолжить: если можно решить уравнение четвертой, значит мы в состоянии решить уравнение пятой. Как по лестнице, мы сможем подниматься выше и выше, к решению уравнений все более высоких степеней.

Можно ли восходить от одного уравнения к другому, сводить решение уравнения высшей степени к решению ближайшего уравнения низшей? Можно ли решать все алгебраические уравнения рациональными действиями и с привлечением радикалов? Другими словами, можно ли продолжить лестницу бесконечно, или она обрывается?

Галуа чувствовал, что здесь наиболее существенная задача алгебры, задача, решения которой Лагранж не знал. Метод, разработанный Лагранжем, был пригоден для уравнений вплоть

до четвертой степени. Но для решения уравнения пятой степени он обращался к уравнению шестой. Таким образом, решение задачи «сводилось» к решению гораздо более сложной. Все равно что учиться прыгать с крыши Луи-ле-Гран, тренируясь на прыжках с башни Собора Парижской богоматери. И опять-таки, если метод Лагранжа применять для решения уравнений шестой степени, то задача сводилась к решению уравнения десятой. Все равно что пробовать попасть на башню Собора Парижской богоматери, не взбираясь наверх, а прыгая на нее с вершины Монблана!

Сначала Галуа полагал, что должен существовать метод, доказывающий, что все алгебраические уравнения могут быть решены в радикалах. И неважно, легко ли осуществить это практически. Центральной проблемой алгебры ему казалась задача найти доказательство того, что это можно сделать, что такое решение всегда существует.

Всего через несколько недель после того, как Галуа прочитал геометрию Лежандра, он приступил к самостоятельным исследованиям.

Ему еще не было шестнадцати лет, а он уже испытал и страдание бесплодных поисков во тьме и восторг познания истины. Окружавший его мир стал призрачным. Коллеж, преподаватели, одноклассники — все это стало несущественным, почти несуществующим. Отвлеченная мысль окружила его неприступной стеной, сквозь которую не могли проникнуть ни голоса, ни события внешнего мира. Он часто забывал принести в класс нужные книги; часто сидел, уставившись на преподавателя, не слыша его вопросов, замечаний, поучений. Порой, чтобы скрыть свою обособленность, он неожиданно разражался потоком слов, которые казались непонятными или высокомерными. Он чувствовал облегчение оттого, что математика ослабила его связь с Луи-ле-Гран. Но ослаблена была и связь с отцом, матерью, братом и сестрой. Их образы стали расплывчатыми. Мир его мысли начал разрушать мир плоти и крови.

Ему доставляло странное удовольствие оберегать предмет своей страсти, как будто открыть его было предательством, а заговорить о нем — святотатством. Он вступил на этот путь одиноким, без друзей, без поддержки, без сочувствия. Математика казалась ему событием слишком громадным, слишком сокровенным, слишком личным, чтобы ею с кем-то делиться. Только себе самому он с гордостью повторял: «Да, я — действительно математик».

Когда мсье Вернье впервые спрашивал Эвариста по математике, воцарилась необычная тишина. Для тех его

одноклассников, кто заглядывался на странные названия книг, которые читал Эварист, наступила минута, когда ученик может смутить надоевшего учителя. Для других, кто был обижен его отрывистыми или высокомерными ответами, это была минута, когда Эвариста постигнет вполне заслуженное унижение. Молчание обескуражило и смутило доброго мсье Вернье. Эваристу было до тошноты противно на виду у всего класса отвечать на совершенно дурацкие вопросы. Первое задание мсье Вернье дал ему с самым дружеским видом.

— Покажите, как разделить угол на две равные части,

Галуа принял этот по-детски пустяковый вопрос как оскорбление. Красный от стыда, он начертил угол, потом деревянным циркулем быстро провел дуги, расставил на чертеже буквы и, не говоря ни слова, написал:

$$ACE = BCE.$$

— Очень хорошо.

И мсье Вернье обратился к классу:

— Многие из вас проучились в этом классе на полгода дольше Галуа, а на такой вопрос не смогли ответить и вдвое хуже.

При этих словах страдание, написанное у Эвариста на лице, обозначилось еще яснее.

— Можете ли вы объяснить, *почему* эти углы равны? — спросил мсье Вернье.

Он выделил слово «почему», подняв указательный палец правой руки на уровень носа. Галуа не ответил. Терпеливо и мягко мсье Вернье пояснил:

— В геометрии всегда следует доказать, *почему* данное положение верно. У вас всегда должен быть метод — хороший метод, который мог бы все доказать. Попробуйте объяснить, *почему* эти углы равны.

В мягком голосе слышалось, что мсье Вернье ничего не будет иметь против, даже если Галуа и не сумеет ответить на вопрос; ему достаточно того, что уже сделано учеником. Все будет прекрасно, если Галуа только начнет объяснять, — тут ему с радостью придет на помощь учитель.

— Почему они равны? — повторил мсье Вернье. Класс напряженно ждал, что ответит Галуа. Ответ последовал только после долгого молчания:

— Разве это не очевидно?

Весь класс разразился смехом. Кто-то захлопал в ладоши, кто-то крикнул:

— Для Галуа геометрия очевидна! Кто-то другой добавил:

— Очевидно, Галуа гений!

— Тихо, тихо! — мсье Вернье старался унять класс. — Вы очень плохо ведете себя по отношению к товарищу. Ничего смешного нет. Вместо того чтобы помочь ему, вы поднимаете его на смех.

Галуа стало жаль мсье Вернье. Он добряк. Защищает ученика и не видит, бедняга, что смешки направлены и в адрес учителя.

Эварист повернулся к доске, дорисовал два треугольника, написал, что они равны, обозначил даже, почему равны, и сделал вывод о равенстве углов.

Мсье Вернье, очень довольный, смотрел на доску. — Гораздо лучше. Гораздо! Просто очень хорошо. Старайтесь работать более методично. Еще немного методичности, и вы будете одним из лучших в классе. Но помните: нужно быть внимательным и работать систематически.

Учебный год кончился. На конкурсе по математике Эварист занял второе место. Мсье Вернье был в восторге. Если бы Галуа писал более аккуратно, объяснял подробнее, он мог бы занять и первое место.

«Чуть больше методичности, еще чуть-чуть, — думал мсье Вернье, — и через год он может принять участие даже в общем конкурсе».

Эварист занял второе место и по греческому. Узнав об этом, мсье Лабори сказал себе: «Разумеется, это доказывает, что я был прав. Второй год в том же классе пошел ему на пользу».

На другой год, в классе риторики, всего несколько месяцев спустя после того, как он впервые узнал, что означает слово «геометрия», Галуа переживал радости и муки творчества. Его дни были полны напряжения, ночи он проводил без сна. Именно ночь приносила новые идеи. Он снова и снова обдумывал их, жалея, что не может зажечь свечу и записать. Поутру он часто видел, что рассуждения его ошибочны, что ему не давал уснуть только мираж истины, которую он искал. Он занимался математикой в часы лекций, он обдумывал свои проблемы на уроках по другим дисциплинам, он работал за едой, в скудные часы досуга; он ухитрялся заниматься математикой даже в то время, когда писал сочинение по французскому языку или отвечал на вопрос преподавателя. Эти проблемы неотступно преследовали его, даже когда он читал латинские стихи или переводил с греческого. Все, чем он занимался, помимо математики, он делал машинально, не задумываясь. Под глазами у него появились темные круги, взгляд, казалось, был скорей устремлен в глубь себя, а не к внешнему миру.

Насколько же хорошо понимали своего ученика преподаватели? Вот их отзывы за первый триместр класса риторики:

«Поведение вполне сносное, — писал один. — Несколько легкомыслен. Это характер, все черты которого я и не надеюсь понять; но я вижу, что в нем преобладает самолюбие. Порочных наклонностей я у него не замечаю. Его способности кажутся мне из ряда вон выходящими как в области словесности, так и в математике. Но до сего времени он небрежно относился к классным занятиям. Вот почему он не слишком хорошо проявил себя в контрольных работах. Кажется, он решил отныне посвящать больше времени и усилий классным занятиям. Мы совместно составили для него новое расписание.

Посмотрим, сдержит ли он слово. Он кажется юношей достаточно набожным. Здоровья хорошего, но хрупок».

К этому благоприятному отзыву мсье Пьеро присовокупил свой:

«У меня работает мало. Часто разговаривает. Способности у него, следует полагать, имеются, но ни к чему хорошему они не приведут. Во всяком случае, на моих уроках он еще ни в коей мере их не обнаружил. Его занятия свидетельствуют лишь о странностях и нерадивости».

А мсье Дефорж писал:

«Всегда занят посторонними делами. С каждым Днем становится все хуже».

И, наконец, оценка доброго мсье Вернье:

«Заметное прилежание и успехи».

Год 1828

В 1823 году норвежец Нильс Генрик Абель, двадцати одного года от роду, прославился в своем родном городе тем, что, как предполагали, решил алгебраическое уравнение пятой степени. Позже Абель выяснил, что его доказательство было неверно. Как и подобает великому ученому, он настойчиво исследовал свою проблему: можно ли решить уравнение пятой степени в радикалах? Иными словами, можно ли выразить его решение конечным числом рациональных действий с коэффициентами такого уравнения и извлечением корней? Абель нашел ответ на свой вопрос. Он опубликовал его в 1826 году в первом номере «Журнала чистой и прикладной математики», издаваемого в Германии Креллем. Ответ гласил, что уравнение пятой степени обычно неразрешимо в радикалах.

Галуа на семнадцатом году жизни думал, что произвел

великое открытие в математике. Он верил, что решил важную проблему и у него есть доказательство, что каждое уравнение пятой степени можно решить радикалами. Позже, вновь и вновь исследуя свое доказательство, он в минуту прозрения обнаружил, что его рассуждение неверно. То, что казалось ему открытием, достигнутым за месяцы тяжелой, упорной работы, рухнуло и превратилось в груду бессмысленных знаков. Но он не сдавался. Он знал, как это всегда знают великие ученые, что первый слабый луч света приходит только после настойчивых, непрерывных поисков; что над проблемой нужно думать дни и ночи; ждать, думать и передумывать, снова ждать, пока после непрестанных усилий первая искра понимания не выведет его на единственную узкую тропу, ведущую к решению проблемы.

После напрасных попыток решить уравнение пятой степени Галуа проникся убеждением, что такое уравнение нельзя решить в радикалах. Постепенно у него в голове стала принимать четкие очертания великая проблема алгебры: найти верные отличительные признаки, четко определяющие, можно ли при помощи радикалов справиться с данным уравнением произвольной степени. Он был уверен, что если бы такой верный критерий применить к общему уравнению пятой или другой, еще более высокой степени, такое уравнение ответило бы: «Нет, меня не решить в радикалах». Если тот же критерий применить к уравнению третьей или даже четвертой степени, ответ был бы: «Да, меня можно решить в радикалах».

Итак, ученик класса риторики Луи-ле-Гран Галуа определил одну из самых трудных проблем в алгебре. Однако он вряд ли мог знать, насколько важной окажется эта проблема. Он вряд ли знал, что могучие и революционные методы, которые он использует для ее решения, повлияют на развитие математики столетие спустя.

Каждый триместр профессора добросовестно записывали свои отзывы. В конце второго триместра преподаватель, наблюдавший за занятиями Галуа, писал:

«Поведение очень плохое; характер замкнутый. Оригинальничает. Способности выдающиеся, но не желает применять их в классе риторики. Для текущих занятий не делает ровным счетом ничего. Одержим страстью к математике. Я думаю, лучше бы его родители согласились, чтобы он занимался одним этим предметом. Здесь он напрасно теряет время, только мучает преподавателей и постоянно подвергается наказаниям. Не лишен религиозного чувства; здоровье, кажется, слабое».

Мсье Пьеро писал:

«Некоторые задания выполняет, а вообще болтлив, как

обычно».

Мсье Дефорж:

«Рассеян, болтлив. Похоже, что задался целью меня изводить. Это могло бы послужить очень плохим примером для его одноклассников, если бы он пользовался среди них влиянием».

Мсье Вернье, учитель математики:

«Смышлен, делает заметные успехи. Недостаточно систематичен».

Эварист очень хорошо знал, за что возьмется на будущий год, когда покончит с классом риторики: он поступит в Политехническую школу.

Часто долгими ночами, усталый, Эварист гнал от себя мысли о перестановках и их произведениях, о корнях, изображенных в виде непрерывных дробей, и думал о своем недалеком будущем, рисуя себя в форме студента Политехнической школы.

Политехническая школа! Дочь революции и гордость Франции! Там ему разрешат целыми днями заниматься математикой. Больше того, он будет обязан целыми днями заниматься ею. Он встретится с людьми, которые поймут его, встретится с величайшими математиками Франции — одними из крупнейших математиков мира. Будет слушать лекции Коши. Коши признает важность проблем, которые разрабатывает он, Эварист Галуа. Он встретит Ампера и Франсуа Араго, которые пользуются любовью французского народа и восхищением учеников.

Он встретит новых товарищей, у него будут новые друзья. Правда, он ни с кем не подружился в Луи-ле-Гран, но в Политехнической школе у него будут друзья. Через несколько месяцев он начнет новую, настоящую жизнь в школе, где готовят не только ученых, государственных служащих и офицеров, но и народных вождей. Он знал, что для поступления в Политехническую школу нужно сдать устный экзамен. Как жаль, что устный, а не письменный! Он должен выдержать! Придется открыть экзаменатору свои познания, может быть и вопросы, над которыми он работает, и результаты, которых удалось добиться. Эта мысль была неприятна, даже мучительна.

Он вспоминал свой последний разговор с отцом. Он открыл отцу свою любовь к математике, свои планы поступления в Политехническую школу. Отец его понял. Всегда отец, никто другой. Преподаватель математики учит его уже больше года и ни разу не заподозрил, как многое он мог бы получить у собственного ученика.

Но отец понял. Гордостью загорелись его глаза, когда он весело сказал:

— Мой сын будет великим математиком. Эварист Галуа, профессор Политехнической школы, член академии. Да, Эварист, это звучит хорошо. Мне нравится.

И он рассмеялся. Но смех его был недолгим и чуть принужденным. Не то что в прежние времена. Глаза отца быстро затуманились, когда он произнес:

— Надеюсь, ты не встретишь в жизни столько врагов, как я. — Остальное он сказал очень тихо, как бы про себя. Эварист еле смог расслышать его: — Это еще не самое страшное. Хуже всего равнодушие. — Он живо повернулся к сыну. — Ну вот, я тебе порчу все удовольствие. Мсье Вернье пишет мне, что у тебя очень хорошо идут дела с математикой. Не похоже, что он так глуп, как ты изображаешь. Он советует тебе остаться в Луи-ле-Гран еще на год и специализироваться по математике. Так поступают все, кто собирается идти в Политехническую школу. Что ты думаешь на этот счет?

Эварист был зол на мсье Вернье. С какой стати он вмешивается в его дела? Какое разочарование: отец готов еще на год оставить его в Луи-ле-Гран!

Он сам удивился, как холодно прозвучал его голос:

— И ты не веришь, что я знаю достаточно, чтобы сдать этот дурацкий экзамен?

— Мсье Вернье пишет, что ты, пожалуй, знаешь слишком много, чтобы выдержать. Ты знаешь сущность, но можешь не знать маловажных деталей, которые постоянно спрашивают экзаменаторы. Он решительно советует, чтобы ты остался в Луи-ле-Гран ещё на год.

— Мсье Вернье стар и глуп.

Теперь он жалел, что сказал эти слова.

Год 1828

Был час, когда ученики Луи-ле-Гран писали письма родителям, друзьям и родственникам. В Луи-ле-Гран все подчинялось жесткому расписанию, даже сыновняя любовь.

Эварист писал:

«Дорогой отец! Неделю тому назад я послал тебе отчаянное письмо, которое должно было огорчить тебя. Но твой невозмутимый и добрый ответ мне очень помог. Я теперь чувствую себя не таким несчастным и более спокойным. Что это была за тягостная неделя! Когда я не выдержал вступительного экзамена, меня оставила всякая надежда, сама жизнь стала мне не мила. Потом я стал повторять себе твои слова. Как ты добр, говоря, что ты не потому обеспокоен, что не веришь в меня, но

именно потому, что *веришь*!

Теперь мне понятно, что ты допускал мысль о неудачном исходе, когда советовал мне остаться еще на год в Луи-ле-Гран и специализироваться по математике. И вот я в Луи-ле-Гран еще на целый год! По-видимому, такова моя судьба — проводить жизнь в этом здании, этой тюрьме, которую я знаю так хорошо и так ненавижу. Я не подозревал, что могу столь сильно презирать человека, к которому лишь несколько месяцев тому назад относился с почтением. Я говорю о моем экзаменаторе мсье Лефевре. Это посредственный ученый, лицо которого похоже на череп, обтянутый морщинистой желтой кожей. С первого же взгляда он показался мне крайне отталкивающим и бесчеловечным существом. Этот экзаменатор школы, о которой я мечтаю, сиплым голосом задавал мне свои нелепые вопросы. По его голосу и выражению его лица я чувствовал, что ученик для него — мусор под ногами. Я уверен, что он иезуит.

Единственное, что нужно было от нас этому желтому черепу, это чтобы мы протараторили ему формулы, не понимая их. Он хотел, чтобы объяснения ему давали как в плохом учебнике. Думать и рассуждать необычно — это он считает преступлением.

Когда очередь дошла до меня, он посмотрел на меня своими крохотными глазками и еще прикрыл их слегка, чтобы видеть меня как можно меньше. Затем он задал первый вопрос:

— Почему вы явились сюда, не пройдя специального курса математики?

Я ответил:

— Я занимался самостоятельно.

— Ах, так!

Слышал бы ты это «Ах, так!». Потом он спросил меня, как решить уравнение второй степени. Он посмел задать этот оскорбительный вопрос мне, знающему об алгебраических уравнениях больше, чем все профессора Политехнической школы, вместе взятые. А кроме того, его вопрос был неправильно сформулирован. Когда я сказал, что вопрос не так поставлен, желтый череп скривился в насмешливой улыбке. Он уклонился от моего замечания, заявив, что ему некогда заниматься спорами и что экзаменуюсь я, а не он. Он задал мне затем самые детские вопросы. Я почувствовал, как у меня сжалось горло; я не мог издать ни звука. Тогда череп повернулся ко мне:

— Вижу, что вы занимались самостоятельно. Но вы недостаточно занимались. Вам будет лучше прийти снова в будущем году.

Дорогой отец! Я послушаюсь тебя и постараюсь выучить эти пустяки, чтобы в будущем году отвечать тем языком, который им

хочется услышать. Надеюсь, что тогда добьюсь большего успеха.

Теперь оставим эту неприятную тему.

Милый отец! Когда я видел тебя в последний раз, ты казался подавленным. Спасибо, что ты рассказал мне кое-что о твоих огорчениях. Твои слова только подтвердили мои подозрения. Но людям, затеявшим против тебя подлейшую и омерзительнейшую кампанию клеветы, не добиться успеха! Им никогда не запятнать твоего честного имени! Жители Бур-ля-Рен знают своего славного мэра и не станут слушать клевету, которую распространяет приходский священник. Иезуиты, возможно, сильны, но не настолько, чтобы отвратить от тебя тех, кто тебя любит».

Галуа остановился и перечитал последние слова. Они звучали не так, как следовало. Они не принесут отцу облегчения, в котором тот нуждается. Эварист написал:

«Мой дорогой отец! Как я хотел бы помочь тебе моей любовью! Отплатить тебе за привязанность, дружбу, понимание! Вместо этого я только усугубляю твое горе рассказами о собственных несчастьях. Но, подобно тебе, я верю, что настанут другие времена. Придет буря, которая очистит воздух в Париже, в Бур-ля-Рен, во всей Франции. Будем надеяться, что это произойдет скоро».

Зазвонил колокол. Пора было кончать письмо. Эварист быстро дописал:

«Пожалуйста, постарайся как можно лучше объяснить мою неудачу матери. Обнимаю тебя и всех вас.

Эварист».

Затем он отправился в небольшую комнату специального класса математики и там вместе с двадцатью другими учениками стал ждать начала первой лекции нового профессора.

Мсье Ришар вошел в класс без каких-либо драматических эффектов. Закрыв за собой дверь, он туманно улыбнулся и помедлил как бы в нерешительности. Потом подошел к кафедре, повернулся к ученикам широкой, слегка сутулой спиной, взял кусок мела, переломил пополам и встал к классу лицом. Рассеянным взглядом осмотрел учеников. Класс внимательно изучал рослого профессора, его квадратную голову с редеющими волосами, с дружелюбным прищуренным взглядом за толстыми стеклами очков. Заговорил он очень спокойно, не прибегая к ораторским приемам. Кое-кому из слушателей показалось странным, что этот человек, разговаривающий так себе, запросто, как будто дома с друзьями, пользуется славой лучшего преподавателя Луи-ле-Гран. Все, однако, слушали его.

— Целью этого курса, мои молодые друзья, будет расширить

ваши познания в математике. Мы постараемся не только расширить, но и углубить их. Попробуем достигнуть этого, начав еще раз все сначала. Мы быстро повторим известный вам материал, но уже с более передовой, более современной точки зрения. Этот быстрый обзор позволит нам увидеть главные, наиболее существенные теоремы, лежащие в основе всех прочих. В математике особенно велика опасность не заметить леса за деревьями, увидеть мелкие теоремы и забыть структуру целого, в котором появляются эти теоремы и которое связывает их воедино.

Час, когда мсье Ришар будет читать лекцию, Эварист готовился посвятить своей собственной работе. Но теперь он прислушался.

— Посвятим наше внимание геометрии. Когда вы узнали о ней впервые, у вас, вероятно, осталось такое впечатление, что геометрия в окончательном и завершенном виде появилась на свет внезапно, порожденная мыслью одного человека, и, может быть, даже сразу в виде книги. Однако, подобно любой другой отрасли математики, геометрия — результат работы целых поколений. Ее главным образом связывают с именем Эвклида, который жил приблизительное третьем веке до рождества Христова. Но геометрия началась задолго до Эвклида. Быть может, вы спросите меня: «Когда она была закончена?» Она не кончена и по сей день и, как я полагаю, не завершится никогда.

И мсье Ришар обрисовал историю геометрии. Он говорил о том, что ей дали начало египтяне как практической науке об измерениях, и о том, какую роль сыграли в ее развитии греки.

Все это было ново для Галуа. Ему не хотелось сознаться, что для понимания математики важно знать ее историю. И все-таки пришлось признать, что все сказанное мсье Ришаром интересно, что манера изложения ему нравится. И — это был величайший комплимент, который мог сделать Галуа, — он слушал.

— Весьма опасно, когда результатом преподавания является впечатление, что математика подобна закрытой книге, подобна достроенному зданию, полученному нами от минувших веков; зданию, к которому нечего прибавить, в котором ничего нельзя изменить. Математика — живой организм. А в наше время, в девятнадцатом веке, она живет особенно бурно. Даже элементарная геометрия может явиться источником новых, очень важных открытий. Друзья мои, вы можете подумать, что сомнения и творчество приходят только после того, как вполне овладеешь предметом. Вы можете подумать, что только когда вы усвоили все познания в данной области математики, лишь тогда, пожалуй, у вас могут возникнуть собственные мысли. Это, может быть, как правило, и верно, но не обязательно. И опять-таки геометрия

представляет собой в этом смысле хороший пример. Тут мы видим, что сомнения и трудности появляются у нас с самого начала. Это станет понятнее, если мы в нескольких словах рассмотрим историю эвклидовых постулатов, или, как мы их сегодня называем, аксиом.

Мсье Ришар перечислил пять постулатов Эвклида и один за другим разобрал их, пока не дошел до пятой аксиомы.

— История пятой аксиомы прямым путем ведет нас в современность. Эта аксиома никогда не казалась столь же очевидной, как четыре другие. Делались многочисленные попытки заменить ее другой, более очевидной. Можно ли доказать пятую аксиому, или следует ее допустить? Каким образом сделать и то и другое? Вопрос остается нерешенным, и будущее может принести вам новые и неожиданные открытия.

Эварист подумал, как не похожи мсье Ришар и мсье Вернье. Пришлось признаться, скрепя сердце, что у нового профессора можно, пожалуй, даже научиться кое-чему.

«Сам мсье Ришар, — думал Галуа, — не крупный математик. Но математика ему нравится, и он с любовью и пониманием постиг ее сущность. Даже если он по-настоящему и не занимался творческой работой, он видит, как она прекрасна, и знает, как заставить других увидеть ее красоту». Эварист решил, что мсье Ришар — человек, с которым стоит познакомиться. Такому он, Эварист Галуа, мог бы даже открыть свои способности.

Мсье Ришар диктовал задачи на неделю. Большинство учеников считало их трудными, требующими многих часов работы. Даже хорошим ученикам решить все удавалось редко.

Студенты переписывали в тетради: «Задача I. Найти две диагонали *x* и *y* четырехугольника, вписанного в окружность, выразив их через его четыре стороны *a, b, c, d*». Потом записали вторую и третью задачи. Эварист только слушал. Когда диктовка закончилась, у него перед глазами стояло четкое решение каждой задачи. Мсье Ришар приступил к чтению лекции.

Эварист вырвал лист из тетради, написал наверху «Галуа», пониже — «Задачи». Сформулировал первую и написал ее решение, пользуясь уравнениями и связывая их воедино сжатыми пояснениями. Не перечеркнув и не исправив ни единого слова, он самым простым путем достиг искомого ответа и подробно записал, чему равняются xy и $\frac{x}{y}$. Потом на другой странице так же тщательно написал точное решение оставшихся двух задач, снабдив каждое аккуратным чертежом. На все это у него ушло пятнадцать минут, после чего он не столько слушал лекцию мсье Ришара, сколько набирался храбрости, готовясь к концу урока.

Выходя из класса, мсье Ришар услышал:

— Простите, мсье Ришар.

— Да?

Преподаватель увидел худого и невысокого для своего возраста ученика с залитым краской треугольным лицом. Ученик глядел в пол и протягивал преподавателю лист бумаги.

Мсье Ришар положил Эвариста руку на плечо.

— Что случилось?

Не поднимая головы, Эварист отдал листок мсье Ришару.

— Вот решение.

Мсье Ришар взглянул на первую страницу, быстро прочел ее; такое решение сделало бы честь лучшему учебнику. Он перевернул страницу, посмотрел на нее, перевел взгляд на ученика, потом снова на бумагу и опять на Галуа. Вернулся к первой странице и прочел вслух:

— «Галуа»: Как вас зовут?

— Эварист.

— Так.

Долго и не говоря ни слова мсье Ришар смотрел на юношу. Эвариста было стыдно, он пожалел о своем поступке. Неужели он выставил себя на смех? Неужели мсье Ришар сейчас иронически улыбнется, как тот желтый череп?

— Не зайдете ли ко мне сегодня после обеда? — сказал мсье Ришар. — Можно будет побеседовать подольше. Я попрошу надзирателя не казнить вас лютой казнью, если вы вернетесь в спальню чуть позже. Решено?

— Да, мсье.

— Хорошо.

Галуа весь пылал от возбуждения. Уходя, он услышал, как один из учеников свистнул и сказал соседу:

— Подумать только! Наш гений пробует заводить друзей.

Слышал он и ответ соседа:

— Боюсь, что это его прикончит.

Как большинство профессоров, мсье Ришар жил в Луи-ле-Гран. Когда Эварист вошел, мсье Ришар указал ему на стул напротив себя, с минуту смотрел на него молча. Затем сказал, набивая трубку:

— Мне хотелось бы, чтобы вы что-нибудь рассказали о себе. Над чем вы сейчас работаете?

Секрет успеха, которым мсье Ришар пользовался среди студентов, был очень прост. То был результат одного принципа, которым руководствовался профессор: обращаться с учениками как с равными.

Эварист был поражен: ему не пришлось убеждать мсье Ришара, что он математик. Каким-то странным образом мсье Ришар, по-видимому, это знал. Впервые за время своего пребывания в Луи-ле-Гран Эварист ощутил робость и смирение.

— Работаю над алгебраическими уравнениями. Год назад я думал, что уравнение пятой степени можно разрешить радикалами, подобно уравнениям третьей и четвертой степени. Теперь я полагаю, что общее уравнение пятой степени неразрешимо в радикалах.

Галуа замолчал. Мсье Ришар в изумлении глядел на сидящего напротив него ученика, но вслух сказал только:

— Хм! Интересно. Очень интересно!

— Проблема, которую я сейчас разрабатываю, является, в сущности, гораздо более общей. Я ищу условия, необходимые и достаточные для того, чтобы алгебраическое уравнение можно было решить в радикалах. Я имею в виду алгебраические уравнения произвольной степени. Я верю, я даже убежден, что такой критерий существует. Я полагаю, мсье, — добавил он доверительно, — что за последнее время я добился некоторых успехов в решении этой проблемы.

Ему страстно хотелось подробно рассказать о результатах своей работы. И однако, он почувствовал лишь легкое разочарование, когда мсье Ришар после долгого молчания сказал ему:

— Это честолюбивый замысел.

Он поднес ко рту трубку, затянулся и повторил:

— Весьма честолюбивый замысел. Известно ли вам, мой юный друг, что, разрешив эту проблему, вы займете место в рядах лучших математиков нашего поколения? От всего сердца желаю вам удачи. Кстати, сколько вам лет?

— Я родился двадцать пятого октября тысяча восемьсот одиннадцатого года.

— Семнадцать лет тому назад. Семнадцать лет… Мне почти ровно вдвое больше. Расскажите мне еще что-нибудь о себе. Как это вы ухитрились дожить до таких почтенных лет, не разрешив основной проблемы алгебры?

Он бурно рассмеялся своей шутке, и Эвариста задел его смех.

— Когда вы заинтересовались математикой? Теперь Галуа говорил увереннее и свободнее.

Он рассказал мсье Ришару про Лежандра, про мсье Вернье и свой экзамен в Политехническую школу и даже про свой дом и отца.

Был поздний вечер, когда мсье Ришар сказал:

— Вы многое можете сделать для меня, друг мой. Вы можете

помочь мне возбудить интерес к математике в вашем классе. Видите ли, трудность заключается вот в чем: на моих уроках вы чаще всего будете смертельно скучать. За исключением кое-каких незначительных и малосущественных деталей, вы уже знаете все, о чем я намерен говорить, и, разумеется, гораздо больше. В сущности, мне не стыдно признаться, что в некоторых разделах математики вы знаете куда больше меня. Весь вопрос в том, как спасти вас от скуки. А скука — заразительная болезнь. Вы можете невольно сообщить ее всему классу, и тут уж беда!

Эварист прервал его:

— На ваших уроках мне никогда не будет скучно.

— Конечно, сейчас вы думаете именно так. Но через несколько месяцев у вас может появиться иное чувство. Впрочем, мне кажется, выход есть. Все, чему вы научились, вы узнали самостоятельно, не столько в школе, сколько, вероятно, вопреки школе. Постарайтесь думать об уроках не со своей личной точки зрения. Подумайте, что цель их — возбудить интерес к математике. Не просто преподавать ее, но сделать ее живой и захватывающей. Если тема моих лекций вам известна в совершенстве, спросите себя, достаточно ли ясно мое изложение, и, если у вас найдутся критические замечания, пожалуйста, сделайте их.

— Я никогда не осмелюсь!

— Но именно это мне от вас и нужно. Дискуссия повышает интерес, обстановка сомнений и споров — тоже. Она ведет к ясности, к более глубокому пониманию. Таким образом, уроки для всех нас станут событием, которое предвкушаешь с нетерпением, а потом вспоминаешь с удовольствием. Успех моих занятий будет зависеть от вашего отношения к ним.

— Я буду счастлив сделать все, о чем бы вы меня ни попросили, мсье Ришар.

Ему хотелось сказать: «Вы, мсье, первый человек в Луи-ле-Гран, который проявил ко мне доброту и сочувствие». Но эти слова так и остались несказанными.

Год 1829

Эварист Галуа впервые выступил на поприще науки еще учеником Луи-ле-Гран. Его первая работа была напечатана в «Анналах математики» мсье Жергонна под названием «Доказательство одной теоремы о периодических непрерывных дробях».

Работу встретило молчание. Эварист никому не рассказал о ней, и ее появление, казалось, никого не заинтересовало. Правда,

это был не слишком значительный труд. Не в этой работе Эварист сформулировал результаты своих исследований относительно разрешимости алгебраических уравнений. Это он сделал в рукописи, посланной им во Французскую академию, рукописи, содержавшей несколько величайших математических теорий века. В первый раз за время пребывания в Луи-ле-Гран он испытал чувство удовлетворения и покоя. Да, он знал, что в этой работе его мысли изложены сжато. Но каждый крупный математик, разумеется, увидит, что этот труд следует читать медленно и изучать внимательно. Вероятно, работу пошлют мсье Коши. Эварист не сомневался, что великий ученый признает важность результатов работы и методов, которыми автор их добился. *Он* увидит, что этот труд открывает дорогу к еще более великим открытиям. Скоро весь мир узнает то, что пока известно только ему одному: он, ученик Луи-ле-Гран, не выдержавший вступительного экзамена в Политехническую школу, — великий математик. Даже мсье Ришар и отец придут в изумление. Вскоре он станет ученым, знаменитым не только во Франции, но во всем мире: повсюду, где преподают и изучают математику. Он предавался мечтам, воображая, как примет его работу Коши. Излюбленная его фантазия всегда начиналась с того, что его работу приносят великому математику домой. Сначала мсье Коши скажет себе так: «Что за нелепость! Ученик коллежа присылает работу во Французскую академию!»

Но мсье Коши большой математик, и он знает свой долг — долг члена академии. Он начнет читать. С каждым словом будет расти его интерес, с каждой страницей — его изумление. Он увидит, как важно делать различие между первичным и вторичным уравнением. Хорошо, что в первых же фразах приводятся ссылки на мсье Гаусса. Мсье Коши будет по крайней мере уверен, что автор знаком с литературой и не открывает заново всем известных истин.

Мсье Коши увидит, что в область неведомого проложен новый путь. Его волнение будет становиться все сильнее. Он сейчас же напишет мсье Гауссу, потом в академию. Нет, он не станет писать ни в академию, ни мсье Гауссу. Это он сделает потом. Его первым побуждением будет встретиться с Галуа, обнять его, поздравить, пригласить к себе, спросить о его работе, о планах. Нет, и это тоже потом. Сначала ему придется найти Галуа в Луи-ле-Гран. А для этого ему понадобится зайти к директору. Он повидает мсье Лабори.

«Я мсье Коши».

Тут мсье Лабори отвесит очень низкий поклон. Он смиренно спросит, чему обязан великой честью прихода мсье Коши в Луи-

ле-Гран.

И мсье Коши ответит: «Знаете ли вы, что у вас в школе учится гений? Он решил проблему, над которой я проработал долгое время и которую не смог решить. Можно ли мне увидеть его? Его зовут Галуа».

И мсье Лабори ответит: «А, Галуа! Ну, разумеется, мсье Коши. Он гордость нашего лицея. Мы его любим, мы восхищаемся им. Мы любим его так сильно, что даже продержали два года во втором классе».

Потом мечты Галуа обращались к Политехнической школе. На будущий год он снова подаст туда и будет сдавать вступительные экзамены. Возможно, его вновь станет экзаменовать тот самый желтый череп. Но на этот раз все произойдет иначе. Череп взглянет на Галуа в удивлении и промолвит:

«Вы тот самый Эварист Галуа?»

«Что вы хотите этим сказать?»

«Я говорю, тот самый Галуа, который написал известный труд о разрешимости алгебраических уравнений?»

«Да. Тот самый. Тот, которого вы в прошлом году провалили на вступительном экзамене».

«Возможно ли? Ах, мсье Галуа! Вы должны простить мне мою глупость. Я буду посмешищем для всей страны, если это станет известно. Провалил Галуа, одного из крупнейших математиков нашего времени! И вам ведь только семнадцать лет! Что, если вы окажетесь величайшим математиком всех времен? Тогда и я прославлюсь как человек, не пропустивший Галуа на экзамене».

«Именно. Это и будет моей местью». Почему он представляет себе все эти глупые, детские сцены? Почему он прежде всего не подумал про отца? Он скажет отцу: «Знаешь что? Я прославился. Я теперь знаменитый математик».

Отец улыбнется и ответит:

«Я всегда знал, что так и случится. Я всегда верил в тебя».

Мсье Коши, академик, рассеянно разбил вареное яйцо, одновременно просматривая рукопись одной из семисот восьмидесяти девяти работ, написанных им в течение жизни. Мсье Коши не хватало дня, чтобы занести на бумагу все мысли, горевшие в его мозгу; чтобы доказать все теоремы, подготовить все лекции, выполнить все религиозные обязанности. В жизни полагается работать и молиться, а мсье Коши работал слишком усердно и молился слишком долго.

Жена мсье Коши была некрасива, неразговорчива и, подобно мужу, набожна. Она вошла к нему в кабинет, положила на

письменный стол дневную почту и вышла. Мсье Коши было некогда поднять глаза или улыбнуться жене. Он продолжал просматривать рукопись, чтобы внести в нее исправления, и почту вскрыл машинально. Снова рукопись из академии! Он взглянул на подпись, на приписку внизу: «Ученик Луи-ле-Гран».

«Скоро начнут присылать труды, написанные младенцами в пеленках. С какой стати мне посылают все эти бредни о том, как разделить угол на три равные части, все эти решения великих проблем, сделанные людьми, которые и не нюхали настоящей работы? Неужели они не знают, что мне слишком дорого время? Мне некогда лечить этих малоумных».

Он бросил рукопись в корзину для бумаг.

«Хорошо, что я не заметил фамилии. Завтра секретарь спросит меня, что случилось с рукописью этого маньяка, и я смогу со спокойной совестью ответить, что не имею ни малейшего представления и что такой фамилии не помню. И не солгу».

Но мсье Коши было не по себе. Он вспомнил, что не так давно бросил в корзину еще одну рукопись. Работа была написана иностранцем, а мсье Коши иностранцев не любил. К сожалению, эта иностранная фамилия застряла у него в голове. Зачем ему понадобилось ее читать? Любопытная фамилия, библейская, ее трудно забыть. Да, Абель — вот чья работа. Что бы им послать ее Каину? Он попробовал было посмеяться собственной шутке, но она почему-то не показалась ему забавной. И он вновь обратился к своей рукописи, отбросив в сторону мысли об Авеле[7], Каине и ученике Луи-ле-Гран.

Годы 1828–1829

Людовик XVIII как-то сказал про своего брата графа д'Артуа:

«Он строил козни Людовику Шестнадцатому, он строит козни мне, он и самому себе будет строить козни».

Так оно и случилось! Он строил козни самому себе, когда готовил заговор против председателя совета министров Мартиньяка, замыслив его низвергнуть. «Красивый орган речи», — так называл он Мартиньяка. Он не мог простить Мартиньяку попытки пойти на соглашение с оппозицией — умеренными либералами; отказа Мартиньяка поставить корону выше парламента; не мог простить ему ясного понимания, что с действительным и воображаемым ростом иезуитского пугала растут силы буржуазии. И король заставил Мартиньяка уйти в отставку и назначил на его место последнего председателя совета министров последнего Бурбона: князя Жюля де Полиньяка.

Если мы взглянем на портрет Полиньяка, то увидим поразительное лицо: длинное, худощавое, тонкое, с резкими аристократическими чертами; с длинным и породистым носом. Так и чувствуешь, что если бы этому человеку понадобилось указать на какой-нибудь предмет, стоящий невдалеке, он изящно указал бы на этот предмет мизинцем. Волосы падают на непропорционально маленький лоб. Глаза, кажется, устремлены сквозь мир зримых вещей прямо на лики воображаемых ангелов. На лацканах элегантного камзола вышиты маленькие лилии. На длинной шее шарфом повязан белый шелковый галстук, обрамленный серебристым жилетом в черную полоску.

Он удивительно похож на Карла X, которому, как полагали, приходился внебрачным сыном.

Князь Жюль де Полиньяк был воплощением контрреволюции. Только самых крайних из «крайних» да членов духовного братства порадовал выбор короля.

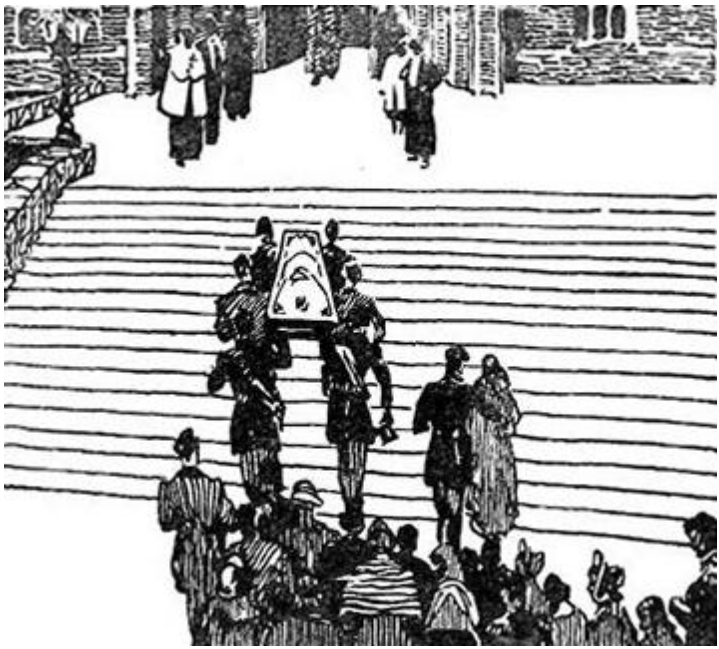
Новый председатель совета министров был сыном герцогини де Полиньяк — фаворитки королевы Марии Антуанетты. Сорок девять лет он с великой гордостью нес бремя чрезвычайной непопулярности своего семейства. Однажды у него спросили, как он управляет Францией, не имея за собой большинства в палате. Князь возразил, что не знал бы, что делать с большинством, если бы оно у него было. Он отказывался прислушиваться к мнению кого бы то ни было, за исключением короля и девы Марии, с которой, по собственному утверждению, беседовал в снах.

Франция ждала потрясающих событий. Однако прошло несколько месяцев, и ничего не случилось. Франция была похожа на огромный театр, куда нетерпеливые зрители валят толпами, чтобы посмотреть на спектакль, а занавес все не открывается. Пожалуй, единственным новым событием, которое все-таки произошло, было появление нового слова в парижском лексиконе.

Как-то один возница понукал свою лошадь, а лошадка упрямилась и не трогалась с места. Выведенный из терпения хозяин вскричал: «Трогай же ты, Полиньяк». Лошадь тронулась. С тех пор упрямых и тупых лошадей парижане окрестили «полиньяками».

Упрямый и тупой президент совета правил государственным экипажем, а за первым углом дожидалась революция.

IV ГОНЕНИЯ



Год 1829, 2 июля

Эварист открыл дверь в кабинет директора, и мсье Лабори тотчас же встал. Он положил ладонь на руку Галуа, пригласил его сесть. Губы его были плотно сжаты, но выражение лица казалось более мягким, чем обычно, как будто он надел маску сочувствия и жалости. Ничего не говоря, он вернулся к своему столу, сел лицом к Эваристу, взял со стола конверт и, то и дело дотрагиваясь до него, заговорил: — У меня для вас печальные новости. Весьма печальные. Я получил от вашего отца записку, адресованную мне, и письмо. Приготовьтесь услышать самое худшее. Вам надлежит мужественно принять это известие. Все мы в руках господа, и в такие минуты: нам следует обратиться за утешением к спасителю и молиться, дабы он благословил нас. Я хотел бы довести до вашего сведения, Галуа, что и я и все ваши преподаватели выражаем вам глубочайшее соболезнование. Ступайте в приемную — там вас никто не потревожит — и прочтите письмо.

Галуа прошел в соседнюю комнату, непослушными пальцами вскрыл конверт и начал читать:

«Дражайший сын мой!

Это мое последнее письмо. Когда ты станешь читать эти

слова, меня уже не будет в живых. Я не хочу, чтобы ты впал в отчаяние и скорбь. Постарайся как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Я знаю, что трудно забыть отца, который был тебе добрым другом, но ты не должен долго огорчаться и тосковать.

Я оставляю тебе состояние достаточное, чтобы покрыть расходы твоего образования. Остальные члены моей семьи будут равным образом скромно, но довольно обеспечены.

Часто думают, что самоубийство — свидетельство малодушия; выход, которым человек не имеет права воспользоваться. Быть может, это верно. Но бремя жизни стало для меня непосильным. Только смерть может принести мне покой и положить конец страданиям. Дорогой Эварист, когда ты будешь читать эти строки, скажи себе, что я теперь свободен от всякого страдания, что никто не в силах отныне причинить мне боль, что, умирая, я смогу защитить тебя лучше, чем при жизни.

Постараюсь объяснить тебе как можно лучше, почему я решился на этот роковой шаг.

Ты знаешь, дитя мое, что в течение семнадцати лет я был мэром нашего города — как до Ста дней Наполеона, так и в этот период и после него. После Ватерлоо враги Свободы пытались отстранить меня, но потерпели неудачу. Каждому были известны мои убеждения и мое отношение к Бурбонам и иезуитам. Но, несмотря на мои взгляды, я оставался мэром.

У меня было нечто такое, чего не было ни у кого больше в Бур-ля-Рен: авторитет. Ныне, дорогой мой сын, когда я оглядываюсь назад, я вижу честный поединок двух сторон, вспоминаю успехи, счастье, почет. В то время мои противники выступали против меня открыто, и я открыто оборонялся.

Ты помнишь, мой сын, как часто женщины и мужчины нашего города приходили к своему мэру за советом. Ты видел уважение и доверие, которое они всегда питали ко мне. Именно их уважение — а не страх — было источником моего авторитета. В те времена некоторые граждане были в нерешительности. Их смущало, что у мэра и священника так расходятся взгляды. Некоторые переходили то на одну сторону, то на другую, не в состоянии держаться твердого мнения. Другие всегда относились ко мне враждебно. Но лучшие из граждан города оставались мне верны.

Ты не мог не заметить перемены, которая начала совершаться во мне два года тому назад. В Бур-ля-Рен прибыл тогда новый приходский священник. Возможно, я поступал неправильно, что никогда не говорил с тобой об этом; это казалось слишком трудным. Я внезапно понял, что воздух, окружавший меня, отравлен. Мне стало страшно, что, может быть, придется дышать

этим ядом всю жизнь. Я чувствую, что только могила, только земля моего города способна укрыть и оградить меня.

Я уверен, сынок, что приходский священник и люди, приславшие его, знали, что в честной битве им не подорвать мой авторитет. Они изменили методы борьбы. Отныне меня уж не именовали ни республиканцем, ни бонапартистом, ни даже либералом. Эти прозвища исчезли из их словаря. Со стороны все выглядело так, будто они отказались от борьбы. Я более не был опасным противником, которого следует остерегаться. Надо мною издевались, называя меня безумцем, жалким существом, которому место в сумасшедшем доме. При встрече со мной люди прятали улыбки. Мои старые враги смеялись мне в лицо, распевали песенки о городе Бур-ля-Рен, который стал посмешищем для всей страны, выбрав слабоумного мэром.

Но, пожалуй, хуже всего было видеть лица моих старинных друзей. В их взглядах сквозила жалость. Жалость! Я не решался заговорить с тобой из страха увидеть жалость на твоем лице. Если я по старой привычке цитировал Сенеку или Вольтера, друзья опускали глаза и краснели. Самыми жестокими в городе оказались дети. Их подучили приходить к моему дому и распевать песенку про мэра, который

Дурачком на свет родился,
На помешанной женился
И прижил с женой своей
Трех помешанных детей.

Я не обращал на них внимания, я пытался уговаривать, я сердился — мне только смеялись в лицо.

Ты помнишь, дорогой мой Эварист, как в добрые старые времена мы забавы ради сочиняли песенки о жителях нашего города, о злободневных событиях. Это были стишки, порой ядовитые, порой остроумные, порой глупые. Некоторые из них ходили по городу и нравились людям. Последние два года в городе кто-то распространял песенки самого вульгарного и непристойного содержания. Приписывали их мне. Даже среди моих друзей находились такие, которые верили, что их автор действительно я. Те, у кого хватило порядочности поговорить со мной, возможно, поверили моим возражениям. Я говорю: возможно. Теперь я в этом уж никогда не смогу убедиться.

Я уверен, что тебя поражает дьявольская простота их плана. Поразила она и меня. Сейчас мне трудно понять, почему моим

врагам понадобилось так много времени, чтобы его придумать. В Бур-ля-Рен наша семья жила иначе, чем большинство других. У нас были свои книги, свои взгляды. Мы говорили и поступали так, что могли либо вызвать смех, либо внушить уважение. Пятнадцать лет меня предпочитали уважать, два последних года — высмеивать.

Я думал покинуть город и уехать в Париж. Ты ведь знаешь, что за последнее время я часто бывал в Париже, снял там квартирку. Именно здесь, так близко от тебя, пишу я это письмо. Но насмешки, песенки и улюлюканье преследуют меня. Уехать совсем — значит признать свое поражение. Есть лишь один способ разбудить совесть у тех, кто был причиной моего несчастья: убить себя, причем так, чтобы никто не сомневался, почему я это сделал. Решившись на этот крайний шаг, я могу возродить уважение к себе и к моей семье. Тогда никто не посмеет издеваться над тобой и твоей матерью.

Я задыхаюсь. Я умираю потому, что мне не хватает чистого воздуха. Отравленный воздух, который убивает меня здесь, в Париже, — дело рук клеветников из Бур-ля-Рен. Нужно, чтобы люди это узнали и поняли.

Мне тяжко прощаться с тобой, милый сын. Ты мой старший сын, и я всегда гордился тобой. Когда-нибудь ты станешь великим, прославишься. Я знаю, что этот день наступит. Но я знаю также, что тебя ждут страдания, борьба, разочарование.

То, что со мной произошло, не случайность. Ты хорошо понимаешь, сынок, что меня свели в могилу не приходский священник, не глупость или злоба каких-то людей. Все это, как тебе очень хорошо известно, только внешние проявления чего-то гораздо более глубокого и значительного.

Ты станешь математиком. Но даже математика, самая благородная и отвлеченная из наук, как бы она ни была возвышенна, тоже глубоко уходит корнями в землю, на которой мы живем. Даже математика не избавит тебя от страданий, не заслонит от тебя страданий других. Борись, сын мой, борись более отважно, чем я, и пусть доведется тебе в жизни услышать колокола свободы…»

В комнату вошел мсье Лабори. Он подошел к Галуа, отеческим жестом погладил его по голове и предложил:

— Может быть, вам хочется повидать мсье Ришара? Он мне говорил, как высоко ценит вас. Не лучше ли вам повидаться с ним?

Эварист с усилием, сквозь рыдания ответил:

— Нет! Я никого не хочу видеть. Только отца.

— Успокойтесь. Я понимаю ваши чувства. Если хотите,

можете на неделю уехать из коллежа. Можете отправиться тотчас же. Я велю надзирателю вам помочь.

После того как Галуа вышел из комнаты, директор негромко сказал:

— Вот к чему приводит безбожие! Ни один верующий католик не кончит жизнь самоубийством. Как может наша школа возродить набожность, если семья разрушает ее? Отец, который решается причинить сыну такое горе! Атеизм — вот проклятие нашего времени. Жаль бедного мальчика. Он оказался жертвой атеизма.

Мсье Лабори сел за письменный стол и снова взялся за работу.

Год 1829, 5 июля

От дома мэра похоронная процессия направилась к церкви. По обе стороны катафалка с крестом и ангелами из черного дерева шли по три человека. Они поддерживали гробовой покров. Двое в черном шагали впереди.

Мадам Галуа с дочерью и Эварист шли за гробом. Мать Эвариста шла, высоко подняв голову. Лицо ее было холодным, жестким. За ними следовали сестра мадам Галуа с младшим братом Эвариста, Альфредом, затем — остальные члены семьи, граждане Бур-ля-Рен.

Люди перешептывались:

— Да, это приходский священник.

— Когда он приехал, все и началось.

— Возможно, мэр и был малость чудаковат, зато он был порядочный человек.

— И он был нашим мэром.

— Неужели священник посмеет прийти?

— Неужели он посмеет не прийти?

Те самые люди, которые прежде ненавидели мэра, теперь обратили свою ненависть против приходского священника. Как же он упустил из виду, что у мэра в руках такой козырь — собственная жизнь? Те, кто любил мэра и прежде, теперь возненавидели священника вдвойне.

Процессия поравнялась с церковью. Жадные взоры зрителей устремились к группе одетых в черное с белым мужчин и подростков, стоявших перед церковью, чтобы встретить тело. Здесь ли приходский священник? Нет, его тут не было. «Трус», — это было шепотом сказано теми, кто воскликнул бы: «Да как он посмел?», увидев его. Одни почувствовали облегчение, другие — ярость, когда увидели помощника приходского священника,

викария, в стихаре и с требником в руках. Это он отслужит панихиду вместо приходского священника, и это он окропит тело усопшего святой водой. Рядом с викарием и двумя священниками из соседних приходов стоял мальчик из церковного хора с кропилом и святой водой. По обе стороны стояли со свечами в руках церковные служки, а впереди еще один мальчик держал в руках крест.

Катафалк остановился. Гроб подняли, и живые вслед за усопшим гуськом отправились в церковь в сопровождении мальчика с крестом и «Miserere mei, Deus»[8] викария.

Многие остались на улице, показывая, что не желают войти в церковь, которая встала между ними и их любимым мэром. Снова послышались обвинения.

Но сегодня одних слов было мало. Нужно показать духовенству, ненавидевшему мэра, как сильно они, граждане Бурля-Рен, любили его. Люди подошли к катафалку и встали перед ним, наблюдая за резными дверями церкви.

Отсюда были видны крест и священники, гроб и те, кто вошел в церковь за гробом. Стоявшие снаружи нехотя расступились, с явной враждой давая дорогу викарию, священникам и мальчикам из хора. Викарий прочел молитву, и похоронная процессия направилась к кладбищу.

Неожиданно люди, шедшие перед катафалком, остановились. Остановился и мальчик, который нес крест, священники, катафалк с гробом, вся процессия. Тогда несколько человек из тех, кто шел перед катафалком бросились к гробу. Эта внезапная выходка показалась неуместной, неподобающей на похоронах.

Не обращая внимания на служек, державших концы покрова, они взяли гроб. Один из них с вызовом заявил: «Мы почтим память мэра — понесем его гроб».

Викарий оглянулся. Он спокойно ждал, не выказывая ни гнева, ни неодобрения. Вся эта демонстрация была задумана, чтобы воздать почести мэру и возмутить духовенство. Удалось только почтить память мэра. Спокойствие викария передалось остальным духовным лицам. Никто не запротестовал. Вскоре процессия в полном порядке двинулась вперед. Только гроб уже не везли лошади, его несли на руках.

Поравнялись с маленькой кладбищенской часовней. Здесь спокойно, горделиво стоял приходский священник, в стихаре, с шапочкой на голове, с требником в руках. Все поняли, что последние молитвы прочтет приходский священник, что это он освятит могилу.

— Нам не нужен здесь приходский священник! — послышался чей-то возглас.

Другие откликнулись:

— Долой священника! Долой иезуитов!

Спокойно, как будто бы ничего не слыша, священник подошел к гробу и встал впереди. Раздалось еще несколько выкриков; потом они стихли. Напряжение возрастало. Люди, которые несли гроб, с ненавистью глядели на прямую, как доска, спину шагавшего перед ними священника. Они несли тело мэра; только это заставляло их молчать. Но вот они опустили гроб на землю, рядом с могилой, где ему было суждено покоиться вечно. Теперь руки у них были свободны. Они отошли в сторону, чтобы пропустить к гробу членов семьи. Приходский священник и другие духовные лица стояли по одну сторону гроба; по другую стояли Эварист с матерью и сестрой. Между ними лежало тело покойного мэра. Стоявшие рядом со священниками отступили. Одни пошли по домам; им не хотелось быть свидетелями готовящихся событий. Другие, желая уйти подальше от приходского священника и показать, что они не одобряют его присутствия, перешли на ту сторону, где стояла семья мэра.

Священник начал читать молитву:

— «Deus, cujus miseratione animae fiderium…»[9]

Его прервал громкий голос:

— Убийца.

— Убийца! — повторил другой.

— Ты убил нашего мэра!

Священник оторвал взгляд от молитвенника и посмотрел прямо в лицо тем, кто стоял напротив. Потом он поднял глаза к небу.

— Прости им, о господи, ибо они не ведают, что творят.

Переводя немигающий взгляд с одного лица на другое, он заговорил:

— Мы стоим здесь, у гроба мэра, объединенные жалостью и милосердием. Пути небесного отца нашего неисповедимы. Мы должны принимать волю его со смирением, ибо нам не постигнуть его мудрости. Меня к вам направил посланник бога на земле. У кого из вас хватит безумства и смелости сказать, что церковь или я повинны в скорби жены и детей мэра? Не мы ли проявили добрые чувства, сострадание и снисхождение, придя на могилу, которую я сей час готов освятить? Разве наша вера не запрещает нам распоряжаться своею собственной жизнью? Наш несчастный мэр покончил с собой потому, что бедная душа его и ум истерзались страданием, от которого избавить нас может одна только вера. Но мы пришли сюда вместе с вами похоронить мэра на освященной земле. Ибо долг смиренных слуг Христовых — оказывать милосердие и нести утешение тем, кому господь велит

переносить тяготы жизни. Ради них пришел я сюда молиться за упокой души усопшего. И да сжалится всемогущий господь над теми из вас, кто поднял голос против меня. Пусть все, кто осмелится бросить мне это ужасное обвинение, выйдут вперед. Пусть они покажут мне и вам всем свои лица, а потом попробуют повторить свое обвинение, если действительно верят ему.

Эварист ждал, что люди, кричавшие «убийца», опять швырнут это слово священнику в лицо. Он смутно чувствовал, что однажды в Луи-ле-Гран уже пережил нечто подобное. Только сейчас в тысячу раз горше, в тысячу раз ужаснее оттого, что между ним и приходским священником лежит в гробу тело отца.

Никто не повторил обвинения. Эварист сжал кулаки. Ногти его впились в ладони. Нет, все-таки не удалось вызвать боль достаточно сильную, чтобы погасить жгучую ненависть. Он почувствовал, как его руку сжала рука матери. Он взглянул на нее. Спокойствие мадам Галуа исчезло; лицо исказилось от волнения, глаза наполнились страхом.

Вновь прозвучал голос священника. Эварист почувствовал в нем торжество и насмешку.

— Найдется ли среди вас такой, кто верит, что церковь и я в какой-то мере несем ответственность за случившуюся трагедию?

Эварист высвободил руку из сжимавшей ее руки матери. Он шагнул вперед и почувствовал, что ноги его коснулись гроба. Взглянув в глаза священнику, он сказал:

— Я верю.

Эти слова нарушили оцепенение. Теперь со всех сторон полетели злые выкрики:

— Убийца! Убийца!

Кто-то бросил в священника камнем. Викарий и священники отступили — без паники, постепенно увеличивая расстояние, отделявшее их от гроба. Но приходский священник неподвижно стоял на месте, подняв глаза к небу. Камни летели все гуще, все громче звучало слово «убийца». Несколько, камней упало на гроб. Один попал в лоб священнику. Священник упал, по лицу его потекла кровь. Викарий и мальчик из хора нагнулись, стараясь поднять его. Камни сыпались не переставая.

— Довольно! Остановитесь!

Кричала мать Эвариста. С перекошенным лицом она истерически выкрикивала:

— Остановитесь! Ради бога прекратите! Эварист почувствовал, что его не держат ноги.

Он упал, обхватил руками гроб и закричал. С каждым хватающим за душу словом голос его звучал все отчаяннее:

— Отец, дорогой мой отец! Возьми меня с собой. Я не хочу

жить. Нет! Неправда, хочу. Я буду жить так, как ты этого хотел. Ты будешь всегда со мной, живым или мертвым. О дорогой отец! Я всю жизнь буду помнить тебя — до последнего вздоха. Клянусь тебе, я никогда не забуду того, что ты мне говорил и чему учил меня. Но я ненавижу, отец. Я должен ненавидеть. Ты слышишь меня? Ты должен меня простить. Я ненавижу всех, кто боролся с тобой. Я обязан ненавидеть! Обязан!

Слова его становились все более бессвязными, пока не потонули в бурных рыданиях. Потом Галуа затих и застыл неподвижный, обхватив руками гроб, в котором лежал его отец.

Мать встала рядом с ним на колени, пытаясь приподнять сына. Его унесли домой. Голова Эвариста горела, и его уложили в постель.

Пришел доктор.

— Он очень впечатлительный мальчик, — сказал он матери Эвариста. — Таким, как он, приходится тяжело. Через день-два ему будет лучше. Но ему следует вести тихую, спокойную жизнь.

Год 1829

Эварист сидел в кабинете мсье Ришара. Он побледнел, похудел, глаза его потухли, подбородок, казалось, еще больше заострился. Мсье Ришар курил свою трубку, а Эварист пустыми глазами смотрел в пространство. Молчание нарушил мсье Ришар:

— Я понимаю вас. Я вам сочувствую. Единственное, что я могу сказать вам в утешение, — это банальная истина, что все раны залечивает время. Как и многие другие избитые истины, это правда. А вам может помочь еще кое-что: работа. Вы математик, и вы будете заниматься математикой независимо от того, хотите этого или нет. Это сильнее вас. Почему бы вам не смириться с судьбой и не отдаться работе? Она может принести вам покой. Она ускорит ход времени, а время, повторяя все ту же банальную истину, залечивает все раны.

Эварист ничего не ответил. Казалось, он ничего и не слышал.

Мсье Ришар спросил:

— Что случилось с рукописью, которую вы послали в академию?

Эварист безразлично ответил:

— С рукописью, посланной в академию? А, да. У меня есть кое-какие новости относительно этой работы. И очень занятные. Так вот: как-то после полудня у меня было свободное время, и я не знал, чем заняться. Я пошел ходить по улицам и вот оказался рядом с институтом. Вошел и спросил какого-то чиновника, что случилось с моей рукописью. Он никак не мог найти ее следов. Я

уж чуть не начал сомневаться, послал ли я ее вообще. Наконец он разыскал о ней запись. Секретарь мсье Фурье послал ее мсье Коши, а она так и не вернулась. «Вы уверены, что ее не возвратили?» — спросил я. Чиновник ответил: «О да, совершенно уверен. Мсье Коши присылает нам так мало рукописей, принадлежащих не его перу, что я, безусловно, заметил бы ее». Потом он предложил мне зайти к мсье Коши и спросить, получил ли он мою рукопись и что он с ней сделал. Чиновник был очень мил. Он улыбался, как будто находил всю эту историю страшно забавной. Я не видел в ней ничего смешного. И я пошел домой к мсье Коши. Дверь открыла какая-то женщина. Жена или, может быть, служанка. Я вежливо спросил: «Можно видеть профессора Коши?» Мне ответили, что мсье Коши очень занят и никого принять не может. Тогда я сказал, что хотел бы получить рукопись, которую послал в академию и которую академия переслала мсье Коши. Женщина ушла, захлопнув дверь у меня перед носом. Я подождал. Потом она вернулась и спросила, как меня зовут. Я сказал. Она опять захлопнула дверь и отправилась к мсье Коши. Наконец она появилась с окончательным, не подлежащим обжалованию приговором. Встала передо мной и отчеканила: «Мсье Коши о рукописи, написанной мсье Галуа, ничего не знает, у него ее нет, и он вообще не помнит, чтобы он ее получал». Таков, мсье, конец истории о работе, которую молодой математик Эварист Галуа послал в академию, надеясь, что работу прочтут и обсудят и что она прославит автора.

Мсье Ришар молча попыхивал трубкой, потом произнес:

Новость действительно очень неважная. Скажите откровенно, Эварист, — добавил он, снова помолчав, — вы уверены в том, что результаты вашей работы правильны и имеют важное значение?

— Хорошо, мсье. Я вам отвечу, может статься, даже более откровенно, чем вы ожидали. Отвечу вам, как не решился бы ответить два месяца тому назад. Я верю, что мои результаты правильны и имеют важное значение. После того как я изложил их и отослал в академию, я двинулся еще дальше. У меня новые результаты. Но еще многое нужно сделать: область исследования огромна. Есть масса непонятного. И все же настанет день, когда я, быть может, добьюсь полной ясности. Я полагаю, что нахожусь на пути к величайшему алгебраическому открытию нашего века. Я. думаю, что моя работа породит новую алгебру. Но на свете немного людей, которые могут оценить мою работу по достоинству. Мсье Коши мог бы, если бы пожелал, взять на себя труд. И мсье Гаусс — он бы тоже увидел, как важно то, над чем я работаю.

Лицо мсье Ришара приняло озадаченный вид. Он направился

к книжной полке, взял с нее книгу и, открыв на странице шестьдесят пятой, подал Эвариcту.

— Кое-что покажется вам здесь любопытным. Речь идет о математике, которому было бы очень интересно знать, чем вы занимаетесь. Это работа Нильса Генрика Абеля. Как видите, она появилась в этом новом немецком журнале четыре года тому назад. — Он тщательно выговорил название журнала: — «Журнал чистой и прикладной математики». Эварист схватил книгу и стал медленно, с трудом переводить с немецкого:

> *«Доказательства неразрешимости общего алгебраического уравнения степени более высокой, чем четвертая.* Всем известно, что уравнение до четвертой степени обычно решить можно. Но, если я не ошибаюсь, на вопрос, можно ли решить общее алгебраическое уравнение более высокой степени, удовлетворительного ответа не существует. Ответ на этот вопрос дает настоящая работа».

Эварист стремительно переворачивал страницу за страницей. Глаза его загорелись, на щеках появилась краска. Забыв, где он находится и кто с ним рядом, он восклицал:

— Ясно! Разумеется. Интересно! Право же, очень интересно!

На восемьдесят четвертой странице Галуа перевел выводы:

> «Алгебраическое уравнение пятой степени решить невозможно. Из этой теоремы следует, что вообще невозможно разрешить уравнение степени более высокой, чем пятая; следовательно, вообще говоря, алгебраически можно решить уравнения только до четвертой степени включительно».

Эварист закрыл книжку. От безразличия его не осталось и следа.

— Где этот Абель? — взволнованно спросил он. — Кто это? Сейчас, может быть, он уже на правильном пути. Возможно, Абель нашел и общие условия разрешимости уравнений. Я хочу с ним повидаться или написать ему. Этот математик поймет, как важна моя проблема и как трудна. Где же он живет? Сколько ему лет? Он, наверное, еще молод…

— Одна минута, и я скажу вам всё, что знаю про Абеля, —

спокойно ответил мсье Ришар. — Но сначала я хочу показать вам еще одну его работу. Она только что получена.

И мсье Ришар протянул Эвариcту свежий номер «Журнала» Крелля. Галуа прочел заголовок: «Об особой группе уравнений, разрешимых алгебраически». Работа была написана по-французски, и он просмотрел ее быстро. Возбуждение его все возрастало.

— Совершенно ясно: исследование идет в том же направлении. Работа была написана в марте тысяча восемьсот двадцать восьмого года. Тогда у него еще не было тех результатов, которые есть у меня; но теперь он, вероятно, уже знает решение. Он великий математик. Я должен встретиться с Абелем. Скажите мне, пожалуйста, где он находится. Я хочу ему сейчас же написать. Тут сказано: Христиания. Он там сейчас?

— Абель умер, — услышал он ответ мсье Ришара., — Совсем случайно мне стала известна его трагическая история. Несколько месяцев назад он умер в Норвегии от чахотки. Он умер в страшной бедности. Тогда же, в апреле, к нему уже было отправлено письмо с предложением занять университетскую кафедру в Берлине. Письмо это его уже не застало в живых.

— Сколько ему было лет?

— Двадцать семь. Еще кое-что в его истории может вас заинтересовать. Он послал рукопись одной своей важной работы в академию. Рукопись направили к мсье Коши. Что случилось с рукописью, никому не известно.

Глаза Эвариста расширились от гнева и ненависти.

— Абель умер в бедности, двадцати семи лет. Рукопись его потерял мсье Коши, — горячо говорил юноша. — Разве вам, мсье, не видно, что все это связано? Смерть моего отца, бунт в Луи-ле-Гран, пропажа рукописей — Абеля и моей, смерть Абеля. Может показаться, что это отдельные, ничем не связанные события. Они касаются разных людей, относятся к различным областям жизни, происходят в разных местах — от Норвегии до Парижа и Бур-ля-Рен. Но уверяю вас, мсье, они не случайны. Они связаны друг с другом и с миллионами других событий. Они образуют систему, четкую систему. Их связывает воедино пагубный социальный строй, при котором мы живем. Он умертвил Абеля, потому что он презирает бедных и душит талант.

Эварист возвысил голос, и мсье Ришару стало не по себе. Он взглянул на стены комнаты, как бы проверяя, достаточно ли они толстые, чтобы заглушить слова его гостя.

— В угоду льстивой посредственности гнилой социальный строй лишает талант признания. Это я хорошо знаю. Но мне известно и нечто большее. Я изведал грубую, беспощадную силу

порочного общественного строя Франции.

Эварист остановился. Мсье Ришар почувствовал облегчение, услышав, что Эварист заговорил более спокойным, обычным тоном. Но с каждой фразой голос его снова звучал все громче, пока слова не полились бурным, неудержимым потоком:

— Та же самая сила, которая убила Абеля, отравила мозг мсье Коши, так что у него нет ни доброты, ни интереса к людям. Это та сила, против которой восстали мои товарищи и которая более ста из них выкинула из этой школы. Эта сила погубила моего любимого отца. Приходский священник был всего лишь орудием. Чужая сила послала его в Бур-ля-Рен с четким приказом: подорвать и уничтожить авторитет отца. Ответственность ложится на эту силу, а не на священника. Он только маленький винтик в механизме тирании и угнетения. С этой машиной мне и предстоит бороться. Я пытался уйти в математику. Но враждебная сила вторглась в мою жизнь и заставила меня понять, что выхода нет. Виноваты не отдельные люди. Действовать подобным образом их вынуждает гнилая социальная система. Этому учил меня отец. До его смерти я этого не понимал; теперь понимаю.

Изумление мсье Ришара росло. Когда ему говорили, что Галуа — странный юноша, мсье Ришар думал, что так назовут каждого, у кого есть большие способности к математике. Но теперь он видел, что гость его и в самом деле странный человек и что его странности не имеют к математике ни малейшего отношения.

— Знаете, Галуа, вы ведь рассуждаете как республиканец.

— Знаю.

— Не может быть, чтобы вы действительно так думали. Мы живем не в лучшем из миров. Движение вперед идет медленно и болезненно, порой таким путем, который, кажется нам, ведет вспять. Но все-таки вперед! Сейчас у нас царит мир. Есть конституция, предоставляющая народу вполне разумные права. Каждый, кто этого действительно желает, может работать. Какие бы то ни было беспорядки или революции лишь снова вернут нас к террору, увеличат несчастья и нищету. Конечно, не обходится и без трагических событий, но это часто просто случайности. Если бы не болезнь, Абель был бы сейчас профессором в Берлине. А чахотка поражает, однако, и богатых и бедных. Если бы к вам в город не явился новый приходский священник, ваш отец остался бы жив. На свете есть хорошие и плохие священники, точно так же как хорошие и плохие математики. Мсье Коши — странный человек. Каждые пять минут он пишет новый научный труд, и ни на что другое у него не хватает времени. Вполне очевидно, что это все случайности. Нам следует помышлять не о разрушении,

но о созидании. Если я хорошо преподаю, если вы хорошо занимаетесь математикой — значит, мы два колеса, которые правильно работают в отведенном для них месте. Если все части механизма работают хорошо, будет хорошо работать и весь механизм. Но если я перестану преподавать, а вы бросите заниматься математикой, мы ломаем этот механизм. А то, что вы предлагаете, еще гораздо хуже. Вам хотелось бы примкнуть к тем, кто собирается разбить всю машину вдребезги. Таким образом вам удалось бы добиться лишь хаоса и террора. Вы развязали бы силы жестокости и зверства. По сравнению с ними наш теперешний мир полон красоты и покоя.

Между ними и стеной вставало отчуждение. Они оба это чувствовали: мсье Ришар и Галуа. Повеяло еще большим холодом, когда Эварист с нарастающим гневом возразил:

— Вы толкуете о налаженном механизме, о том, что его разбивают на части. Похоже, что это удачное сравнение. Но на самом деле — нет! Механизма не существует! Есть только груда заржавленного хлама. Самый дорогой, самый важный материал — люди, рожденные в бедности, — какую роль они играют в вашем механизме? Они разлагаются заживо от вынужденного безделья и отчаянья, если не могут найти работу. Если им повезло, и нашелся человек, который милостиво согласился, чтобы за кусок хлеба они в поте лица трудились на него, тогда они гибнут от непосильной работы и жестокой эксплуатации. Где же, мсье, вы видите в этой машине смысл, цель, гармонию? Ей-богу, еще несколько лет, и никакая особая революция не будет нужна. Ваша машина сгниет и сама развалится на части. Чем скорее мы начнем разрушать ее, тем лучше для будущего.

Оба поняли, что эти слова отрезали их друг от друга навсегда. «Я пришел сюда за утешением, — думал Галуа, — а вынесу еще одно разочарование. Как он может быть до такой степени ограниченным? Ведь он хороший учитель, и я считал его умным и понимающим человеком. И он может верить, что в таком мире стоит жить? Он не видит всего ужаса, всей несправедливости этого мира? А я-то думал, что он мой друг!»

«Он молод, — думал мсье Ришар. — Но ни его возраст, ни даже трагедия, которую он пережил, не могут служить достаточным оправданием. Ему бы следовало быть разумнее и не произносить всех этих речей у меня в кабинете. В Луи-ле-Гран! Держал бы свои мысли при себе. Они опасны, губительны».

Мсье Ришару не терпелось положить конец беседе, но возможно более любезно.

— Я полагаю, мы никогда не сойдемся в этом вопросе. Не думаю, чтобы имело смысл продолжать наш спор. В конце концов,

почему у нас должны быть одни и те же взгляды? Будет разумнее вообще не затрагивать этого предмета. Есть ведь много других вопросов, которые мы с вами можем обсудить. Мне хотелось бы, чтобы вы знали самое основное. Я твердо верю, что ваша главная задача — заниматься математикой. Было бы несчастьем, если бы вы пренебрегли ею.

Когда Галуа вернулся к себе в спальню, он был не просто подавлен — он был зол, он презирал себя. Вновь и вновь он перебирал свой разговор с мсье Ришаром.

— Зачем я говорил ему все это? — Он кусал губы. — Дурак я, круглый дурак.

У преподавателей Луи-ле-Гран оставалась последняя возможность записать свои отзывы о Галуа. Вот как они воспользовались ею:

«Поведение удовлетворительное, но временами очень плохое. Его научные способности известны. За работой он поглощен только своим делом и редко тратит время зря. Его успехи соответствуют его обширным способностям и склонности к науке. Характер у него с причудами, и к тому же он притворяется еще более странным, чем на самом деле. Его поведение во время церковной службы оставляет порой желать лучшего. Здоровье хорошее».

В последний раз написал свой отзыв о Галуа мсье Ришар. По окончании первого триместра он писал: «Этот ученик обладает явным превосходством над соучениками». С такой похвалой мсье Ришар еще никогда и ни о ком не отзывался. И после второго триместра: «Этот ученик работает только в высших областях математики». Но пришел последний триместр, и мсье Ришару уже хотелось поскорее перевернуть страницу и забыть о Галуа. Он механически написал отзыв, который обычно давал всем хорошим ученикам: «Поведение хорошее, успеваемость удовлетворительная».

На классном конкурсе Галуа, как все того и ожидали, получил по математике первую премию. Мсье Ришар надеялся, что Галуа займет первое место и на общем конкурсе. Это означало бы — среди прочих наград — право поступить без экзаменов в Политехническую школу. Галуа занял только пятое. Экзаменационная задача была не особенно трудной, и некоторые ученики представили великолепные решения. Решение Галуа было чересчур кратким, рассуждения — слишком сжатыми. Победу одержал другой ученик. Звали его Браве. В свое время он стал профессором Политехнической школы и членом академии.

Год 1829

Вот уже двадцать лет мсье Дине принимал экзамены в Политехническую школу. Во время экзаменов он работал по девять часов в день, пока не опрашивал всех кандидатов, надеявшихся получить проходной балл, а таких было несколько сот. Лет десять тому назад он перенес нервное расстройство: следствие тошнотворного однообразия бесконечно повторяющихся вопросов. Доктор велел ему на несколько месяцев покинуть Париж. Потом мсье Дине поправился и вернулся, чтобы вновь задавать привычные вопросы, уставая от звуков собственного голоса. Ответы надоели ему еще больше: к ним ему *приходилось* прислушиваться. Через две минуты, да что там! — через минуту мсье Дине уже знал, достоин ли кандидат быть принятым в Политехническую школу, по какой книге он занимался и что из нее усвоил. Но мсье Дине гордился соблюдением внешних приличий: щадя чувства поступающего, он тянул экзамен, и, прежде чем студент кончал первую фразу, мсье Дине, бесконечно скучая, в точности предвидел заранее, что будет сказано во второй и третьей. Был лишь один способ остановить поток слов: прервать заранее известную нить ответов новыми вопросами. Но слушать собственный голос — тоже не слишком большое удовольствие.

День был жаркий. Мсье Дине устал, вспотел, ему хотелось пить, и он с нетерпением ждал, когда рабочий день кончится. Правый ботинок невыносимо жал. Мсье Дине томился по шлепанцам и креслу; оставалось опросить еще трех кандидатов. Прислужник не успел стереть с доски записи предыдущего студента, когда мсье Дине забарабанил пальцами по столу и сказал, стараясь подавить зевок:

— Следующий: — И, не поднимая головы, добавил: — Имя?

— Эварист Галуа.

— Скажите мне, что вам известно о теории логарифмов.

Мсье Дине закрыл глаза. Он знал, что сейчас произойдет. Он услышит, что $b = log_a c$, если $a^b = c$. Эти обозначения употребил в своем учебнике алгебры Эйлер, и с тех пор каждый студент, рассказывая о логарифмах, пользовался ими. Потом он услышит, что логарифм произведения равен сумме логарифмов.

«Какой ужас! Какой кошмар! Что за бесконечная скука! Еще двадцать минут, и я кончу спрашивать этого — как его там зовут? — потом еще тех двух, и тогда — шлепанцы! Ну ладно, послушаем».

Но слушать было нечего. Что-то пошло не так. Мсье Дине обрадовался: может быть, это что-нибудь новенькое? Немой он,

что ли? Интересно. Писать этот юноша, во всяком случае, умеет. Он слушал, как постукивает по доске мел. Придется взглянуть. Полусонный, он поднял тяжелую голову и увидел на доске:

1, a, a^2, a^3, …
0, 1, 2, 3, …

Мсье Дине уже не так сильно хотелось спать.

Он заинтересовался. Это что-то непредвиденное!

— Не будете ли вы любезны объяснить, что вы делаете?

Тусклый голос равнодушно заговорил:

— Это две прогрессии: геометрическая и арифметическая. Члены арифметической прогрессии являются логарифмами соответствующих членов геометрической прогрессии, а *a* — основание логарифмов.

— Очень хорошо, — произнес экзаменатор. Он ждал, что скажет голос дальше. Но ободряющее «очень хорошо» не ускорило поток слов экзаменующегося. Он только добавил: «И так далее», значительно испортив таким образом хорошее впечатление.

— Что вы хотите сказать вашим «и так далее»? — нетерпеливо спросил мсье Дине. — Каков следующий шаг?

Он минуту подождал.

— Молодой человек, я не могу силой вытягивать из вас ответы. Либо вы желаете отвечать, либо нет.

Галуа испытывал те же чувства, которые ему пришлось уже испытать так много раз: в нем просыпалась злоба, горели щеки, он весь напрягся, стараясь подавить гнев. Он покраснел, у него перехватило горло, но ответ прозвучал спокойно и невозмутимо:

— Между любыми двумя числами геометрической прогрессии можно вставить *(n — 1)* чисел. Такое же количество чисел можно вставить между двумя членами арифметической прогрессии. Тогда члены арифметической прогрессии продолжают оставаться логарифмами соответствующих членов геометрической прогрессии.

— Нужно говорить яснее. Какие числа мы вставляем?

Галуа бросил на мсье Дине презрительный взгляд. Трудно было смириться с мыслью, что у кого-то есть право судить, готов ли он, Галуа, к Политехнической школе. Но мысль, что этот человек — мсье Дине, была невыносима вдвойне.

— Все совершенно ясно. Вставить *(n — 1)* число так, чтобы соответствующая прогрессия оставалась геометрической или арифметической, можно единственным способом. И к этому больше нечего добавить.

— Вам это, может быть, ясно, а мне нет. Прошу вас написать

эти выражения, иначе мы можем считать нашу беседу оконченной.

Не говоря ни слова, Галуа написал на доске:

$$1,\ a^{\frac{1}{n}},\ a^{\frac{2}{n}},\ \ldots,\ a^{\frac{n-1}{n}},\ a$$
$$0,\ \frac{1}{n},\ \frac{2}{n},\ \ldots,\ \frac{n-1}{n},\ 1$$

Мсье Дине посмотрел на доску и вздохнул с облегчением. «Что за манеры? — думал он. — Что за манеры у нынешних молодых людей! Не по душе он мне. Придется ему напоследок сбить спесь».

Вслух он спросил:

— Могу ли я теперь вставить *(n — 1)* чисел в один промежуток, а *(m — 1)* — в другой, причем *n* не равно *m*?

— Несомненно, мсье.

— Следовательно, количество членов может меняться от одного промежутка до другого?

— Я уже сказал: несомненно, мсье.

— Вы можете объяснить почему?

Галуа уже знал, что только иронией можно смирить поднимающуюся в нем волну гнева.

— Разве это для вас не очевидно, мсье? Мсье Дине возбужденно жестикулировал:

— Допустим, мсье, что нет. Допустим, я желаю, чтобы вы это мне объяснили. Допустим также, что я вам заявляю: если вам не удастся объяснить мне этот пустячок, вы не выдержали экзамен. Каков тогда будет ваш ответ, мсье поступающий?

Эварист поглядел прямо в глаза мсье Дине. В правой руке он машинально сжимал мокрую губку. Теперь уж ни самовнушением, ни иронией не справишься с нарастающим гневом. Гнев сильнее его. Гнев мешает ему даже правильно видеть. Вот как-то странно изменилось лицо мсье Дине. Он осунулся, черты его лица стали более резкими. Мсье Дине сейчас похож на приходского священника из Бур-ля-Рен. Да, это приходский священник, только он постарел. Лицо его стало еще более сухим и алчным. Вот он, приходский священник, которого забросали камнями те, кто любил мэра. Вот он. Комнату затянул тяжелый туман. Если бы только туман рассеялся! Эварист увидел бы, как летят камни в приходского священника. Вот он сидит здесь за столом, не обращая внимания на гнев окруживших его людей. Туман прорезал визгливый голос:

— Повторяю: как бы вы ответили на мой вопрос? Галуа

размахнулся и швырнул губкой в голову мсье Дине. Удар был рассчитан точно.

Радостно, как будто с его плеч слетело тягчайшее бремя, Эварист выкрикнул:

— Вот как я ответил бы на ваш вопрос, мсье.

И, не оглядываясь, вышел и закрыл за собой дверь. Он знал, что закрывает ее навсегда.

V ГОД РЕВОЛЮЦИИ

1830

В феврале 1830 года Галуа был зачислен в Подготовительную школу — ничтожное подобие Нормальной школы, основанной во времена Наполеона и закрытой в эпоху Реставрации. В 1826 году, через четыре года после того, как Нормальную школу закрыли, была открыта Подготовительная. Ее целью было готовить учителей и профессоров для королевских лицеев. Школа помещалась в дю-Плесси, ранее составлявшем часть Луи-ле-Гран. Подготовительная школа была близка к Луи-ле-Гран не только по местоположению, но и по духу. Та же дисциплина, тот же строгий надзор. Разве что выше уровень преподавания и большая специализация.

Чтобы поступить в Подготовительную школу, Галуа нужно было сначала получить степень бакалавра наук, потом выдержать вступительные экзамены. И в том и в другом он преуспел. Мосье Леруа, принимавший у него экзамен по математике, выставил ему восемь баллов из десяти возможных и присовокупил:

«Этот учащийся порой туманно выражает свои мысли. Но он умен и выказывает недюжинные способности к научной работе. Он сообщил мне порази — тельные новые данные из области прикладного анализа».

Преподаватель физики мосье Пекле писал о Галуа:

«Он — единственный, кто отвечал мне плохо. Он совершенно ничего не знает. Говорят, у этого юноши есть способности к математике. Удивительно! Судя по экзамену, он не отличается особым умом или так удачно скрывает свои способности, что обнаружить их невозможно. Если он на самом деле таков, каким кажется, очень сомневаюсь, что из него когда-нибудь получится хороший преподаватель».

Бедный мосье Пекле! Как часто эту записку, отнюдь не предназначенную для опубликования, приводили как вопиющий пример человеческой глупости, как памятник тупости и слепоте!

В том же самом 1830 году в «Бюллетене Ферюссака» появились три работы Галуа. В апреле — коротенькая статья «Анализ одного мемуара об алгебраическом решении уравнений». Потом, в июне, такая же короткая статья (на две страницы): «О решении численных уравнений», и более объемистая работа (на восьми страницах): «Из теории чисел», сопровождаемая примечанием: «Настоящая работа является частью исследований мосье Галуа в области теории перестановок и алгебраических уравнений».

В статьях содержались лишь отдельные результаты работы Галуа, причем некоторые из них были изложены без доказательств. Более полно его теория приводилась в работе, представленной в феврале на ежегодный конкурс на премию академии. На этот раз Эварист не питал радужных надежд, не мечтал ни о торжестве, ни об успехе. Знал, что если и не добьется признания, то, возможно, будет разочарован, но в конечном счете посрамлены будут члены академии.

Нелегко было Галуа опять окунуться в атмосферу Луи-ле-Гран, царившую и в Подготовительной школе. Впрочем, эта ненавистная атмосфера одновременно и привлекала его. Узы ненависти порой бывают не менее крепки, чем узы любви и преданности. Школа и академия были для него полем боя, где ему пришлось вытерпеть горькие унижения. Теперь нужно вернуться в строй. Но не успел кончиться год, как глазам Эвариста открылось более широкое поле битвы и гораздо более важная борьба.

Театром военных действий был Париж, и борьба велась за права народа Парижа, Франции, всего мира.

С тех пор как первым королевским министром сделался князь де Полиньяк, французская буржуазия жила в страхе перед революцией и в ожидании ее. Она люто ненавидела дворянство, чьи изысканные манеры и безупречный вкус ее унижали. Ненавидела духовенство — за то, что оно стояло заодно со

знатью. Ненавидела короля, верного представителя обоих сословий.

Король не верил в политику уступок. Они не спасли его брата. Людовик XVI шел на уступки, потом отступал. Отступать он продолжал до тех пор, пока путь к дальнейшему отступлению не был отрезан ножом гильотины. Карл X считал, что народом Франции может править лишь твердая рука. Уступки кажутся народу свидетельством слабости, отступление — трусостью.

Второго марта 1830 года в Зале Гвардии в Лувре собралась сессия палаты. Предстояло выслушать тронную речь. Все места для зрителей были заняты с раннего утра. У дворца собрались толпы возбужденного народа. В час дня прибыл Карл. Изящная фигура короля, одетого в генеральскую форму, двинулась к трону. Все встали. Превосходный актер, король на мгновение потерял равновесие, поднимаясь по ступенькам, покрытым роскошным, но плохо натянутым ковром. Треугольная шляпа упала с его головы к ногам герцога Орлеанского. Герцог услужливо поднял ее и подал королю. Вскоре во всей Франции это пустяковое событие и его скрытое символическое значение сделались предметом толков и пересудов.

Речь короля была длинной и утомительной. Все напряженно ждали предполагаемого фейерверка, который и разразился под конец.

— Пэры Франции, депутаты департаментов! Я не сомневаюсь в вашей готовности содействовать моим благим намерениям. Если преступные козни воздвигнут на пути моего правительства препятствия… — Карл поднял глаза от текста, пронизывающим взглядом окинул депутатов, сидевших слева от него, и, делая ударение на каждом слове, произнес: — которых я не хочу предвидеть, — он снова перевел взгляд на развернутый свиток, — я почерпну силы, чтобы преодолеть их, в моей решимости поддержать общественное спокойствие, в справедливом доверии французов и в любви, постоянно выказываемой ими своему королю.

Это было открытым объявлением войны палате депутатов, где большинство принадлежало либералам. Несколько дней спустя палата, где «крайние» составляли меньшинство, нанесла быстрый и жестокий удар, чтобы «безрассудство и беспомощность нескольких не погубили свободу».

Большинство палаты в знаменитом «Адресе 221» ответило королю: «Хартия ставит непререкаемым условием правильного хода всех государственных дел постоянное соответствие политических взглядов Вашего правительства с пожеланиями Вашего народа. Государь! Наша верность и преданность

заставляют нас сказать Вам, что этого соответствия более не существует».

Со скучающим видом, поигрывая листом бумаги, выслушал король эти слова у себя во дворце. Выслушав, заявил, что решения его неизменны, и дал понять оцепеневшим от изумления депутатам, что аудиенция окончена.

«Крайние» задрали носы:

— Эти люди не знали, что такое король. Теперь знают. Король только дунул — и вот они развеяны, как мусор.

Хвастались и депутаты, подписавшие адрес:

— Никогда еще ни одной коронованной особе, даже самому Людовику Шестнадцатому, не был брошен подобный вызов.

Король распустил палату. Политическим увертюрам настал конец. В любой момент мог подняться занавес над последним актом в драме Бурбонов. На улицах, в кабачках, в кафе, в бонапартистских кругах, в маленьких, но очень деятельных, устраивающих бесконечные заговоры республиканских группах не переставали строить догадки о возможных действующих лицах этой драмы, ее сюжете, развязке. В ногу с политическими событиями шли студенты, особенно учащиеся Политехнической школы.

Лапласа, который, как предполагалось, перестроил Политехническую школу по вкусу Бурбонов, уже три года не было в живых. Ему не удалось воочию убедиться в тщетности своих стараний. Ученики Политехнической школы строили заговоры постоянно: за игрой на бильярде, за фехтованием, за едой, во время подготовки к урокам. Но в Подготовительной школе мятежного духа и в помине не было. Там среди пятидесяти юношей выделялся только один. Вместо того чтобы готовиться к экзаменам, он беспокоил одноклассников, докучал им пустыми разговорами о Карле, о Бурбонах и иезуитах, о свободе и тирании. Он вел себя странно и неестественно. Мало того, он, казалось, гордился тем, что не похож на остальных. Когда его спрашивали по математике, он отвечал так, как будто ему до смерти скучно и хочется спать. Или напускал на себя дурацкий, страдающий вид, хотя (как уверяли одноклассники) был явно в восторге оттого, что только он один может дать правильный ответ. Он досаждал товарищам, царапая на клочках бумаги бессмысленные формулы, делая вид, что с головой ушел в свои мысли и глух к недостойным его внимания событиям, происходящим вокруг него.

В один из этих лихорадочных дней, как раз после того, как Карл распустил палату, мосье Леруа пришел на семинар по математике с особенно торжественным и серьезным видом и

объявил своим двадцати ученикам, что у него для них есть нечто интересное. Эварист прислушался. Может быть, мосье Леруа все-таки окажется человеком и захочет сейчас открыть им свои политические убеждения. Но предметом разговора оказалась интересная алгебраическая теорема, сформулированная Штурмом. Мосье Леруа прочел формулировку теоремы, но добавил, что, к сожалению, познакомиться с ее доказательством ученики смогут лишь после того, как статья Штурма выйдет в свет. Тут мосье Леруа окинул взглядом немногочисленных слушателей и увидел ироническую усмешку на хорошо известном ему лице. Профессор в упор посмотрел на это лицо, и сарказм в его голосе прозвучал еле слышно, почти незаметно:

— Хорошо, что вы здесь сегодня, мосье Галуа. Может быть, вы сумеете помочь нам.

Эварист не ответил. Его ироническая улыбка исчезла, на лице появилось напряженное выражение. Все смотрели на него.

— Найдет! — перешептывались студенты.

— Ну, нет!

— Мозги свихнутся.

Вдруг у Галуа загорелись глаза. Он подошел к доске и написал доказательство. Кое-кто принялся усердно описывать знаки, которыми Эварист исписал доску. И только двое из тех, кто сейчас следил за Эваристом, не почувствовали ни вражды, ни зависти. Оба проходили второй год обучения. Один, Бенар, был двоюродным братом Эвариста, и для него выступление Галуа было источником своего рода фамильной гордости. Другого звали Огюстом Шевалье. С пухлым розовым личиком херувима, неловкий и застенчивый, он был, как и Эварист, одинок в классе. К несчастью для себя, Огюст был глубоко верующим юношей, и чем меньше разделяли его чувства другие, тем больше он убеждался в том, что его долг — быть миссионером среди дикарей Подготовительной школы. Огюст рассеянно списывал с доски математические выражения Эвариста, когда его внезапно осенило:

— Он гений! В первый раз в жизни вижу перед глазами настоящего гения! Восемнадцать человек глядят на него опасливо и с завистью. Я один знаю, что наблюдать за работой гения — редкое счастье. Я отдаю себе в этом отчет; меня научили понимать, что такое любовь, что такое гений. Моя вера открыла мне глаза.

Описав с доски математические знаки, Огюст добавил своим аккуратным, четким почерком: «Эварист Галуа — гений. С ним нужно подружиться. Постараюсь обратить его в сен-симонизм».

Воскресенье, 25 июля 1830 года

25 июля, в воскресенье, в Сен-Клу собрались министры, чтобы подписать ордонансы — декреты, которые должны были приостановить действие французской конституции, распустить палату депутатов, упразднить свободу печати. В молчании министры расселись вокруг стола. По левую руку от Карла X сидел князь де Полиньяк, по правую — дофин.

— Сколько у вас человек в Париже? — спросил де Полиньяка барон д'Оссе.

— Хватит, чтобы подавить любое восстание.

— Тысяч тридцать по крайней мере есть?

— Больше. Сорок три.

Князь де Полиньяк бросил барону через стол лист бумаги.

— Да, но что это? — спросил д'Оссе. — Я вижу, что сюда занесены только тринадцать. Тринадцать тысяч солдат на бумаге — только семь-восемь на деле. Где же остальные тридцать?

— Расквартированы под Парижем. В случае необходимости их можно стянуть к столице за десять часов.

Одному министру за другим де Полиньяк предлагал подписать ордонансы. Когда документ дошел до барона д'Оссе, тот взял перо и помедлил в нерешительности.

— Отказываетесь? — спросил Карл X.

— Государь! Не будет ли мне позволено обратиться к вашему величеству с вопросом? Если министры откажутся подписать документы, намерены ли вы идти тем же путем?

— Да, — твердо ответил Карл X.

И морской министр барон д'Оссе подписал. Князь де Полиньяк обвел присутствующих торжествующим взглядом.

Король заговорил:

— Я полагаюсь на вас, господа, а вы можете положиться на меня. У нас общее дело. Это для нас вопрос жизни или смерти.

Он поднялся и вышел из комнаты. Осанка его была царственной. Наконец он почувствовал себя и на самом деле королем.

25 июля, в воскресенье, Огюст Шевалье и Эварист Галуа сидели в Люксембургском саду. С тех пор как они впервые увидели друг друга на семинаре по математике, они часто проводили вместе свободные вечера. Но сегодня Шевалье впервые попытался поговорить по душам с младшим другом.

— Понимаешь, в политических и общественных вопросах я разделяю точку зрения старшего брата. Он один из учеников графа Сен-Симона. Слышал что-нибудь о Сен-Симоне?

— Кое-что. Расскажи.

— Сен-Симон и брат, они-то и научили меня преклоняться перед наукой. Особенно перед математикой.

— Почему? Какое отношение имеет сен-симонизм к математике?

— А вот ты прочти «Письма обитателя Женевы к современникам». Это первая книга Сен-Симона. Ты найдешь в ней ответ на свой вопрос. Он выдвигает в ней проект всеобщего сбора средств. Сбор будет происходить у могилы Ньютона. Вносить будут все: богатые и бедные, мужчины и женщины, каждый по средствам и желанию.

— А потом?

— Каждый, кто вносит деньги, должен назвать трех математиков, трех физиков, трех химиков, трех физиологов, трех писателей, трех художников и трех музыкантов.

— Математики — первыми?

— Да, список начинается с них. Потом те, кто получит большинство голосов, образуют «Совет Ньютона». Этому совету будут вручены собранные деньги. Один из математиков станет президентом.

— Опять математик первый из первых!

— Да! Видишь, какое место занимают в ранних трудах Сен-Симона математики. Совет, возглавляемый математиками, будет править духовной жизнью мира и объединит все государства в одну великую нацию.

Галуа был поражен. Как серьезно относится друг к этой утопии!

— Но считаешь ли ты такой план разумным? — осторожно спросил он. — Можно ли осуществить его?

— Пожалуй, с логической точки зрения, все это нелепо. Но пробуй логически разобрать «Эрнани». Бредни. А между тем это величайшая драма нашего века. Ранние работы Сен-Симона действительно могут показаться утопией. И все же они имеют большое значение. Они привели к нынешнему плану сенсимонистов, куда более реальному.

— Каковы же теперь убеждения Сен-Симона?

Шевалье был поражен невежеством Галуа.

— Отпрыск знатнейшего рода Франции, Сен-Симон пять лет тому назад умер в бедности, — объяснил он терпеливо. — Ученикам — одним из них был мой брат Мишель — он перед смертью сказал: «Плод созрел. Сорвать его — ваше дело».

Галуа ничуть не смутился оттого, что друг увидел, как мало он знает.

— Ну, тогда каковы взгляды его учеников? — равнодушно

опросил он.

Шевалье отвечал с евангельским спокойствием и мягкостью:

— Мы верим, что любовь победит весь мир, а ненависть исчезнет. Не будет ни конкуренции, ни наследственного имущества, ни войн. Восторжествует всеобщая братская любовь. Возникнет новое христианство.

— Как? Каким путем вы этого добьетесь?

— Мы будем распространять наши взгляды, проповедовать любовь. Власть отдадим самым лучшим, самым талантливым. Все будут получать вознаграждение по заслугам. Наш лозунг таков: «Каждому по его способностям и каждой способности по ее делам».

— «Каждому по его способностям и каждой способности по ее делам», — повторил Галуа. — Разве ты не видишь в вашей философии огромного противоречия? — взволнованно заговорил он. — Вам бы хотелось покорить мир любовью. Но в то же время вы готовы отдать власть наиболее способным. Допустим. Потом вы судите о людях по их делам. Где же тут ваша любовь к слабым, к малоумным и больным, к самым обездоленным мира сего? Разве им не нужны пища, кров, тепло? Даже если способности их ничтожны? Как вы удовлетворите их нужды?

— Им достанется милосердие, рожденное любовью.

Галуа с яростью прервал его:

— Милосердие! Ненавижу это слово! Милосердие, которое ставит бедных и несчастных в зависимость от благих порывов богачей. Оно убивает в бедных стремление бороться с богачами. Милосердие, которое подменяет священный долг государства прихотью отдельного человека. Здесь, в Париже, тысячи семей едят хлеб, который разрубишь только топором. Есть его можно после того, как он два дня мокнет в воде. В комнатах земляные полы, покрытые соломой. Сырой и зловонный воздух. В самый солнечный день темно. Им вы понесете любовь и милосердие? Клянусь богом, они должны ненавидеть. Это их право — ненавидеть и уничтожать тех, кто считает, что это в порядке вещей.

Да, любовь — это звучит чудесно. Но любовь может прийти к власти только после взрыва ненависти, который потрясет мир до самого основания. Любовь может вырасти лишь на развалинах старого мира. Только ненависть способна разрушить этот мир. Революции это не удалось. Настанет день, когда народу придется снова попытать счастья.

Горячность друга испугала Шевалье. Продолжать спор он не посмел и только кротко заметил:

— Я думал, тебя волнует одна математика.

— Нет! Не одна математика. К сожалению, я до сих пор ничем другим не занимался. Витал в воздухе, боясь коснуться земли. Ничего, когда-нибудь ты увидишь, что меня занимает не только математика.

Он помолчал, не решаясь высказать то, что было у него на душе. Потом, как бы доверяя другу величайшую тайну, повторил последние слова, сказанные его отцом:

— Даже математика, самая благородная и абстрактная из наук, какой бы возвышенной *она* ни казалась, глубоко уходит корнями в землю, на которой мы живем. Даже математика не избавит тебя от страданий и не заслонит от тебя страданий других, — и добавил: — Если бы я знал, что моя смерть может послужить толчком к восстанию, я принял бы ее, не задумываясь.

Понедельник, 26 июля 1830 года

В предместьях Парижа было спокойно. Тому, кто ежедневно работал по четырнадцать часов, от кого в этот жаркий июльский день пахло потом и грязью, не было дела до ордонансов. Газет эти люди не читали и очень мало беспокоились о свободе печати, которой сейчас грозила опасность. В палате депутатов у них не было представителей, и их не особенно огорчало то обстоятельство, что палата находится под угрозой.

В помещении газеты «Насьональ» на улице Нёв Сен-Мар собрались писатели, редакторы и управляющие многочисленных парижских газет и журналов. Молодой, блестящий редактор «Насьональ» мосье Тьер читал вслух документ. Его слушали человек пятьдесят. Обладая великолепным чутьем истории, он прекрасно сознавал, что именно сейчас творит ее. Хороший актер, он знал, как важно соблюдать чувство меры. И потому, читая бумагу со своим марсельским акцентом, он хранил спокойный, сдержанный и полный достоинства вид. Он читал сухо, как адвокат, докладывающий о деле, лично к нему не имеющем отношения:

— «В нашем теперешнем положении повиновение перестает быть долгом.

Граждане, призванные повиноваться в первую очередь, — сотрудники газет и журналов: вам надлежит первыми подать пример неповиновения власти, которая утратила законную силу».

Медленно и монотонно он четким голосом дочитал манифест газетчиков до заключительной фразы:

— «Правительство потеряло ныне характер законности, обязывающий к повиновению. Что касается нас, мы будем сопротивляться. Дело Франции решать, какую форму примет ее

сопротивление».

Затем, отложив бумагу в сторону, он добавил уже мягче:

Единственное, что мы можем и должны, это протестовать против наступления на свободу печати. Предлагаю подписать этот документ и довести наш протест до сведения Франции. Вы знаете, что мы рискуем многим. Но, ничего не предпринимая, мы ставим на карту нечто большее — доброе имя прессы.

Последовали бурные и долгие споры. Поздно ночью сорок пять человек подписали манифест журналистов. Этот документ сыграл роль камня, который катится вниз со снежной горы и увлекает за собой лавину.

Ночью 26 июля форейтор, направляющийся в Фонтенебло, поделился с приятелем новостью о декретах.

— На парижан вчера вечером нагнали страху. Ни тебе палаты депутатов, ни газет, ни свободы печати!

— Какое мне дело, — отозвался приятель, — пока у меня есть хлеб по два су и вино по четыре?

Когда этот случай рассказали князю Полиньяку, тот философски заметил:

— Народ волнуют только три вещи: работа, дешевый хлеб и низкие налоги.

Князь ошибался.

Славные дни
Вторник, 27 июля 1830 года

Многие парижские газеты — не все — вышли 27 июля. Несколько номеров «Глоба» с манифестом журналистов проникли в Подготовительную школу и попали в руки Галуа. С ликованием читал он протест против королевского приказа. Увидев подписи сорока пяти смельчаков, Галуа подумал: «Это первая искра. Она вспыхнула неожиданно — раньше, чем я ожидал. Но разгорится ли она в пламя? Услышим ли мы стрельбу, увидим ли баррикады?»

Эта мысль завладела им. Он слышал свист пуль, запах пороха, ощущал отдачу мушкета. Он рисовал себе сцены, где он обращается к народу Франции, всегда готовому откликнуться на благородное слово, умереть за свободу. Он, Галуа, шел во главе народа, сражался вместе с ним. Победа была близка. И вдруг его сражала пуля. Он умирал на парижских баррикадах.

«Галуа пал смертью героя».

Вот он слышит, как кто-то зовет его по имени. Он чувствует, как гигантская рука поднимает его в воздух, и он падает с высоты Собора Парижской богоматери вниз, в Подготовительную школу.

Он несколько раз ударился на лету, но благополучно приземлился как раз вовремя, чтобы услышать слова наставника:

— Галуа! Как подвигается работа?

— Мосье, вы читали манифест журналистов?

— Не думаете ли вы, Галуа, что было бы гораздо полезнее заняться предстоящими экзаменами, а не манифестом журналистов?

— Нет, мосье. Как раз наоборот. Я полагаю, что мне лучше заняться манифестом журналистов, а не предстоящими экзаменами.

— В таком случае, Галуа, — промолвил наставник тоном, не допускающим возражений, — вам лучше обсудить этот вопрос с мосье Гиньо. Вам, может быть, даже удастся его убедить.

— Буду очень счастлив, мосье.

Эварист чувствовал себя сильным. До сих пор к ненависти, которую он испытывал к школе, примешивался страх. Но теперь страх исчез, осталась ненависть. Наставники, профессора, сам мосье Гиньо казались ему маленькими, ничтожными. У него, Галуа, за спиной мощь народа.

Когда его вызвали к директору, он спокойно взглянул в широкое костлявое лицо, радостно предвкушая, как сейчас покажет директору свою силу.

Но мосье Гиньо, по-видимому, не торопился начать разговор. Он смотрел сквозь Эвариста в пространство. Пальцы его играли тяжелой серебряной цепочкой, украшавшей черный жилет.

— Мосье Эбер доложил мне о разговоре с вами. Признаете ли вы, что услышанное мною правда?

— Вполне, мосье.

— Так. Стало быть, признаете. А вам известно, что такое поведение может привести к исключению из школы?

— Сегодня мне не хотелось бы ничего лучшего, чем оказаться вместе с другими студентами за стенами школы, на улицах Парижа.

— Спасибо за откровенность. Но мы не позволим вам выйти из школы. Ни вам, ни кому-нибудь другому. Наш долг — защищать студентов, даже если они отказываются оценить или понять наши действия.

— Я слышу это с тринадцати лет, мосье, — гневно ответил Галуа. — Старая басня! Все, что произошло, происходит или еще произойдет в школе, всегда делается для блага учеников. Школа печется об этом без устали, день и ночь, пока не сделает их несчастными, пока не сломит их волю к сопротивлению. Хорошо бы, школа предоставила мне самому заботиться о собственном благе.

Глаза мосье Гиньо были полны отвращения. Впрочем, он тут же оправился с собой.

— Этот разговор ни к чему не приведет, Галуа. Я буду откровенен. У меня много врагов, которые считают, что я слишком либерален. Не думаю, что духовенство было в восторге, когда меня назначили директором Подготовительной школы. Я не одобряю ордонансов. — Он помедлил в нерешительности. — Но это мое личное мнение. Как директор школы я обязан руководить ею независимо от политики. Моя цель — вернуть школе достоинство и почет, которыми она пользовалась в те времена, когда была Нормальной школой. — Он снова помолчал. — Согласитесь, вы никогда не были легким учеником. Мы держали вас здесь потому, что верили в ваши математические способности. Мы больше верили мосье Ришару и мосье Леруа, чем экзаменаторам из Политехнической школы. Я предлагаю вам соглашение. Помогите мне. Не пытайтесь устраивать у нас беспорядки в трудные дни, которые, быть может, ждут нас впереди. И тогда я, со своей стороны, могу обещать, что забуду ваш разговор и с мосье Эбером и вот этот разговор со мной. Принимаете ли вы предложение?

— Спасибо, мосье, за откровенность. Но принять ваше предложение я не могу. Я знаю, что рискую будущим. Но, если говорить так же откровенно, это, по-моему, не имеет значения. Я уверен, не сегодня — завтра ученики Политехнической школы и других школ будут на улицах Парижа. Я обязан сделать так, чтобы на улицы Парижа вышли ученики Подготовительной школы.

— Предположим, — голос директора звучал совсем отечески, — что это вам удастся. Предположим, как бы нелепо это ни звучало, что разразится революция и многие ваши товарищи будут убиты. Что вы почувствуете тогда? Неужели мысль, что вы повинны в их смерти, не будет преследовать вас до конца ваших дней?

— Нет, мосье. Не я буду причиной их гибели, а политический строй. И умрут они не за меня, а за Францию, за свободу народа.

В кафе и ресторанах Парижа сотнями раскупали номера «Глоба», «Насьональ», «Тан»; читали, обсуждали. Повсюду в этот день разыгрывалась одна и та же краткая и сильная сцена, как будто подготовленная и поставленная невидимым режиссером.

Кто-нибудь торжественным голосом читал вслух случайной аудитории манифест журналистов и затем восклицал:

— Да здравствует хартия!

Звук этих непонятных слов понравился мальчишкам, сновавшим по городу в поисках приключений. Правда, они

вкладывали в него свой собственный смысл. Для них этот крик звучал обещанием редкого зрелища. Вот они и кричали еще настойчивее, еще неистовее, чем буржуа:

— Да здравствует хартия!

Они принесли этот крик в предместья. Безработным и семьям рабочих эти слова тоже пришлись по душе. Значения их они не понимали. Но и они вложили в этот возглас свой собственный смысл. Для них он означал двенадцати, а не четырнадцатичасовой рабочий день, сон в кровати, хлеб для детей. Вот почему и они кричали, еще более неистово и настойчиво, чем буржуа:

— Да здравствует хартия!

Вскоре этот крик гремел по всему Парижу.

До семи часов было спокойно.

На набережной Эколь, близ Лувра, у парапета собралась толпа. Неся трехцветный флаг, сквозь толпу медленно шел какой-то мужчина. Никто не шелохнулся, никто не проронил ни слова, но у многих глаза наполнились слезами. Одни обнажили головы, другие отдали честь. Широко раскрыв глаза, старались они в свете заходящего солнца хоть мельком увидеть республиканское знамя. Человек, который молча шел с трехцветным знаменем, снова принес им видение славы Франции.

На площади Биржи стоял деревянный барак, который дюжина солдат заняла под караульное помещение. Поздно вечером перед бараком собрались подростки, мужчины и женщины, чтобы бросить солдатам боевой клич дня:

— Да здравствует хартия!

Что означали эти слова, солдаты не знали. Но им не понравился этот возглас: он их испугал. Они получили приказ не обращать внимания на какие-либо лозунги. Солдаты повиновались. Возмущенные их спокойствием, мальчишки стали вырывать камни из мостовой и швырять в них. Опять никакого ответа. Но вот камень попал в грудь солдату, В ярости, почти не целясь, он выстрелил. Упала женщина. Какой-то мужчина опустился рядом с ней на колени. Взял ее за руку.

— Она мертва. Убийцы! Убийцы! — закричал он.

Высокий, сильный, он поднял тело женщины на руки и двинулся к ярко освещенному театру Нувоте. Толпа направилась вслед за ним. Процессия силой ворвалась в театр и появилась в партере как раз в тот момент, когда актер на сцене согнулся в изящном поклоне, целуя руку героини.

— Остановитесь, — раздался голос из публики, куда более

трагический, чем голоса, звучавшие со сцены.

Зрители, актер, склонившийся в поклоне, героиня, чью руку он целовал, — все повернулись в ту сторону, откуда доносился голос.

— Остановите пьесу. Тут, у меня на руках, тело женщины. Ее убила солдатская пуля, потому что народ кричал: «Да здравствует хартия!»

Актер подошел к рампе, поднял сжатый кулак и, как бы продолжая играть свою роль, повторил:

— Да здравствует хартия!

— Да здравствует хартия! — исступленно подхватил зал.

Вечером 27 июля фабрикант из предместья Сен — Марсо сказал своему другу, редактору «Насьоналя»:

— Смотрите, действуйте осторожно. Если вы дадите рабочим оружие, они будут драться. Если не дадите, они начнут грабить.

Фабрикант из предместья Сен-Марсо ошибался.

Славные дни
Среда, 28 июля 1830 года

— Галуа прав! Наше место не здесь, а на улицах. Посмотрите в окно! Вы увидите баррикаду на улице Сен-Жак и студентов Политехнической школы. Я не знаю, как они вырвались на улицу — силой или с разрешения начальства. Но видите: они на баррикаде. Пора решать. Дверь, ведущая в Луи-ле — Гран, со вчерашнего дня закрыта. Закрыта и охраняется дверь на улицу Симетьер Сен-Бенуа. Мы в тюрьме. Бежать невозможно. Но все вместе мы можем выйти на волю. Я согласен с Галуа. Пробил наш час. Мы должны вырваться отсюда силой. Вас пугают последствия…

Бенара прервали голоса:

— Ерунда! Мы не боимся. Мы против революции.

То ли в шутку, то ли всерьез послышался возглас:

— Да здравствует революция!

Оратор пытался продолжать. Но хор студенческих голосов шумел не умолкая. Наконец Бенару удалось перекрыть его:

— Не будем трусить!

— Он зовет нас трусами!

— Возьми свои слова назад!

Опять, покрывая шум, послышался голос оратора:

— Не трудно убедить меня в том, что вы не трусы. Идите на улицу и сражайтесь.

— Сам ты трус.

— Позор! Позор!

К кафедре одновременно двинулись двое: Галуа и Бах.

— Не желаем Галуа!

Большинство начало скандировать слова:

— Желаем Баха, желаем Баха…

Жидкие голоса «Желаем Галуа» были заглушены. Бах первым добрался до кафедры. Он был лучшим студентом в классе и выглядел, точь-в-точь как полагается примерному ученику: чистеньким и аккуратным. С улыбкой, дружеской и в то же время самодовольной, он ждал, пока уляжется шум. Затем вкрадчиво заговорил:

— Друзья студенты! Мы обсуждаем наш вопрос достаточно долго. Я говорю «мы», но на самом деле нам главным образом приходилось выслушивать Галуа. — Аплодисменты, смех. — Мы спорим, вместо того чтобы работать. Насколько я понимаю, лишь незначительной группке хотелось бы, чтобы мы силой вырвались из школы. Есть и такие, кто был бы готов выйти на улицу, если бы это не противоречило желанию мосье Гиньо. Довериться мосье Гиньо можно вполне: он будет действовать мудро и прилично. Он всей душой заботится о нашем благе. Вот почему я предлагаю пригласить директора школы мосье Гиньо на наше собрание.

— Прошу слова!

На кафедру поднялся Галуа. Он запинался, его голос прерывался от волнения.

— Прошу вас выслушать меня. Не смейтесь. Сейчас не до шуток: на баррикадах льется кровь народа…

— Народа! А солдаты не проливают кровь?

— В защиту свободы льется народная кровь. Вместе с народом должны бороться и мы. Народ не просит у королей разрешения на революцию. А вот вы собрались спросить у мосье Гиньо, позволит ли он вам бунтовать. Разве не известно, какой будет ответ? А мы знаем и все-таки просим. Значит, мы жалкие лицемеры…

— Заткнись, Галуа! Замолчи!

Шум поглотил слова Галуа, видно было только, как он жестикулирует. Внезапно он сдался, оставил кафедру, опустился на первый свободный стул.

И студенты отправили Баха за директором. Когда появился мосье Гиньо, они почтительно встали с мест и стали внимать потокам директорского красноречия:

— Студенты Подготовительной школы! Прежде всего мне хочется сказать, что я искренне ценю доверие, которое вы оказали мне, пригласив сюда. *(Многозначительная пауза.)* Мы переживаем тяжкие дни. Не боюсь признаться, что я осуждаю ордонансы, урезывающие свободы, предоставленные Франции Людовиком

Восемнадцатым. Король поступил неблагоразумно, распустив палату депутатов и подписав ордонансы. Я стою на стороне закона!

Он взглянул на аудиторию, снова помолчал и тихим, мягким голосом продолжал:

— Но если вы спросите меня, следует ли нам выступить в поддержку революции, если вы захотите, чтобы я ответил «да» или «нет», на этот вопрос я буду вынужден отказаться ответить. Здесь, в этой школе, у нас высокая задача, стоящая вне суеты политических событий. Мы должны изучать научные дисциплины, чтобы оказаться в силах передать унаследованные нами знания новому поколению. В этом наш долг перед Францией. Его следует выполнить. Выйти на улицы Парижа — значит отказаться от этой священной обязанности.

Теперь он заговорил отечески:

— Я хочу убедить вас, потому что не желаю прибегать к силе. Я мог бы обратиться к полиции с просьбой поддержать порядок и насильно удержать вас в стенах школы. Я выбрал другой путь. Если вы дадите слово, что никто не покинет здания, я обещаю оставить двери школы открытыми. Я поверю вашему слову. *(Переходя к ораторскому стилю.)* Вспомним в этот трудный час, что жертвами ужасов и страданий окажутся обе стороны. Народ, готовый вступить в борьбу, защищает свободы, которым угрожают ордонансы. Это правда. Но мы обязаны помнить, что и солдаты — люди. Они дали присягу королю и желают сохранить ей верность.

Речь приближалась к пункту наивысшего напряжения:

— Если мы попытаемся держаться этого возвышенного образа мыслей, мы должны смотреть на предстоящую борьбу с тоской и скорбью. Наша задача в этот грозный час ясна: мы принимаем решение сделать все возможное, чтобы залечить раны Франции, когда кончится борьба.

Раздались аплодисменты. Мосье Гиньо терпеливо подождал, когда они утихнут.

— Поэтому я спрашиваю вас: обещаете ли вы мне не пытаться выйти из школы, пока борьба не кончится?

Одинокое «нет» прорвалось сквозь громкий хор «да»:

— Сожалею, что не все хотят дать обещание. Можно ли спросить, кто отказывается?

— Я, мосье.

Эварист мельком увидел низко опущенную голову Бенара, красное лицо Шевалье. С умело скрытым торжеством, спрятанным за мастерски разыгранным терпением, директор посмотрел на Галуа.

— Мне хотелось бы предложить вам соглашение. Применять

силу или обращаться в полицию я не желаю. И вот я спрашиваю студента, который нарушает единство школы: можете ли вы по крайней мере обещать мне не делать попыток сегодня и завтра покинуть стены школы?

— Нет, мосье, — отвечал Галуа.

— Я пойду еще дальше. Только затем, чтобы вам показать, как велико мое желание убедить вас, не применяя силы. Обещаете ли вы хотя бы, что, если вы решите выйти на улицу, вы сначала сообщите мне?

— Нет, мосье.

Директор обратился к остальным:

— Вы ясно видите, что я пытался сделать все возможное. Жаль, что из-за неслыханного упрямства одного придется страдать всем. Но до тех пор, пока этот студент не передумает, я буду держать двери школы закрытыми и под охраной. Я не меньше вас сожалею об этой мере, скорее подходящей тюрьме. Однако после сцены, свидетелями которой вы здесь были, я уверен, что ни один из вас не станет винить меня. Прежде чем уйти, мне бы хотелось еще раз поблагодарить вас за приглашение. *(Выходит.)*

Известный писатель и редактор «Насьоналя» мосье Каррел, один из тех, кто подписал манифест журналистов, утром 28 июля сказал своему другу — республиканцу:

— Вы верите в революцию? Да есть ли в вашем распоряжении хоть батальон?

Оглянувшись по сторонам, он увидел мужчину, чистившего башмаки маслом разбитого фонаря.

— Типичная картина. Вот что делает народ: бьет, фонари, чтобы наводить лоск на грязных башмаках.

Но революция все-таки наступила. Никем не подготовленная, пугающая тех, кто вызвал ее; защищаемая людьми, не понимавшими лозунга, за который они отдавали жизнь, революция пришла на улицы Парижа. Никто не знал, когда и где вспыхнула первая искра. Но 28 июля на улицах Парижа бушевало пламя революции. На башне Собора Парижской богоматери развевалось трехцветное знамя. Били барабаны, звонили колокола, провозглашая миру, что по улицам шагает июльская революция 1830 года.

В ночь на среду студенты Политехнической школы ворвались в зал для фехтования, расхватали рапиры, сорвали шишечки, прикрепленные на острие, и наточили оружие на каменных плитах коридоров.

Когда в среду утром двести пятьдесят студентов силой вырвались из школы, улица Монтань-Сен-Женевьев приветствовала их возгласом: «Да здравствует Политехническая школа!

Один из студентов поднял над головой треуголку, сорвал с нее белую кокарду и растоптал ногами. Двести пятьдесят студентов с яростью повторили его жест среди неистовых криков: «Долой Бурбонов! Да здравствует свобода!»

Висячий мост соединяет остров Сите с правым берегом Сены, где стоит Ратуша. К этому мосту, готовясь занять Ратушу — нервный узел Парижа, направились сто человек. Не было слышно ни криков, ни призывов, только барабанная дробь и нестройный стук шагов. Вскоре его покрыл нарастающий звук четкого марша. С другой стороны моста подошел военный отряд. На сомкнутых штыках сверкало яркое июльское солнце. У моста отряд внезапно остановился, разомкнув шеренги. Люди увидели перед собой две пушки, направленные прямо на них.

Знаменосец закричал:

— Друзья! Если я паду, помните: мое имя д'Арколь.

С другой стороны моста донеслась команда: «Огонь!»

Человек со знаменем упал. Знамя накрыло ему голову. Еще десять полегло на мосту. И, спотыкаясь о тела мертвых и раненых товарищей, толпа бросилась бежать.

— Мерзавцы!

— Картечью по народу!

— Стреляйте в пушкарей!

— Оставайтесь на местах! — послышался властный голос. — Не бегите!

Голос принадлежал Шарра, бывшему студенту, исключенному из Политехнической школы: он пел «Марсельезу» за пять месяцев до революции.

Шарра шагнул было вперед, когда почувствовал, что кто-то тянет его за руку. Посмотрев вниз, он увидел, что у ног его на коленях стоит рабочий и, пытаясь что-то оказать, ловит воздух ртом. Из его груди лилась кровь.

— Добрались до меня. Умираю. Бери мое ружье.

Он выпустил руку Шарра и упал, ударившись головой о перила. С застывшим, неподвижным лицом Шарра взял ружье, выстрелил. Один из артиллеристов упал, цепляясь за пушку. Из толпы раздался еще один выстрел; упал еще один пушкарь.

— Чистая работа, гражданин! — весело сказал студенту Шарра уличный сорванец. — Остались еще патроны?

Шарра смотрел на убитого рабочего.

— Нет, — ответил он машинально. — Патронов нет.

— У тебя есть ружье, но нет патронов. У меня есть патроны, нет ружья. Давай меняться. Я тебе — патроны, а ты мне — ружье: один разок выстрелить. Ну как, гражданин?

Шарра улыбнулся и протянул мальчику ружье.

Взглянув на противоположную сторону моста, Шарра увидел, что два новых артиллериста перезарядили пушку. Когда раздался выстрел, он отскочил назад. Мальчик упал. Он был убит раньше, чем успел выстрелить. Ружье он все еще крепко сжимал в руках. Много других убито и ранено. Но и шеренги солдат поредели: в живых осталось меньше половины, и лишь немногие вооружены. Толпа заколебалась.

— Надо отступать.

— Вперед, к Ратуше!

Держась вместе, они чувствовали себя в большей безопасности. Но сейчас они сбились в плотную кучу у входа на мост. Отличная мишень для артиллеристов, которые выстрелили в третий раз. Мост покрылся трупами. Примкнув штыки, солдаты бросились на тех, кто еще оставался в живых. Уцелевшие в панике рассеялись по лабиринту маленьких улочек, спрятанных в сердце Парижа.

Поздно вечером два генерала прибыли в Сен-Клу из Парижа, чтобы увидеть Карла X. Они сообщили королю, что корона в опасности, но ее еще можно спасти, если король отменит ордонансы,

Король милостиво выслушал их и, изящно держа в руках зубочистку, отвечал:

— Парижане в состоянии анархии. Анархия, несомненно, приведет их к моим ногам.

Карл X ошибался.

Славные дни
Четверг, 29 июля 1830 года

Рано утром мосье Гиньо узнал, что ночью Галуа пытался перелезть высокую стену, выходящую на улицу Симетьер Сен-Бенуа. Это ему не удалось. Бдительные привратники поймали и насильно привели его в спальню.

— Что с ним делать? — спросили они мосье Гиньо.

— Ничего, — последовало решение.

Мосье Гиньо выполнял свой долг и был уверен, что хорошо. В центре Парижа удалось создать изолированный мирный островок, оставшийся нейтральным. Подготовительная школа — а когда-

нибудь она станет Нормальной — работает в покое и тишине, как подобает учебному заведению. Его школа не приняла ни малейшего участия в борьбе, бушующей за ее стенами.

Впрочем, скоро мосье Гиньо нужно принять решение. Придется объявить себя сторонником или противником революции. Решение следует принять своевременно и обдуманно. От него зависит будущее не только мосье Гиньо, но и Подготовительной школы.

Мосье Гиньо был слегка встревожен. Он отдавал себе отчет, что революция может оказать влияние на судьбу Подготовительной школы. Это влияние могло идти лишь в одном направлении: из внешнего мира в глубину школы. Правильно ли, что школа не вмешивается в дела внешнего мира? Разумеется. Но мосье Гиньо почему-то не чувствует гордости. Он поймал себя на том, что думает о Галуа. Черт бы побрал нахального мальчишку! Странный тип. Ни нравственности, ни уважения к школе. Мосье

Гиньо сжал кулаки. «Подождем, пока вся эта история кончится, — сказал он себе. — А уж потом я тебе покажу».

На улицах жаркое солнце. Запах крови, порохового дыма. Парижане смотрят друг на друга гордо, с радостью: борьба сулит им удачу. Кое-где народ братается с солдатами. Местами солдаты вынуждены отступить. Но вдоль черты, ведущей от Лувра до Елисейских полей, они держатся прочно.

Париж ощетинился баррикадами. Студентов все больше. По улице Сен-Жак прошли студенты Политехнической школы. В каждую дверь они стучались с криком: «Студенты! На баррикады!» Студенческая форма, особенно форма Политехнической школы, стала знаком отличия. Когда, размахивая треуголкой, у Пале-Рояль появился Шарра, его окружило более сотни готовых к бою людей.

— Ведите нас!

— Куда идем?

— К тюрьме Монтегю.

Шарра встал во главе процессии. За ним шагали барабанщик и знаменосец с трехцветным флагом. Без них не обходилась ни одна боевая группа.

Тюрьму Монтегю защищали сто пятьдесят хорошо вооруженных солдат. Когда подошли Шарра и его люди, они увидели, что все солдаты выстроились перед тюремной стеной, готовые следовать команде стоящего впереди капитана. Шарра остановил своих. Они растянулись цепочкой против солдат. Враждебные группы образовали простой геометрический рисунок: две параллельные линии и между ними две точки. Одну

параллельную линию образовали солдаты, другую — народ. Одной точкой был капитан, другой — Шарра.

Солдаты выстроились безукоризненно прямо, один к одному. Они производили впечатление несокрушимой силы, готовой по первому слову команды прийти в движение. Народ стоял беспорядочно, нестройной, колеблющейся цепочкой. Кое-кто в лохмотьях, многие слабы, истощены. Больше половины — без ружей. Дети, несколько студентов, горсточка хорошо одетых торговцев, показывающих своим присутствием, что они одобряют народную революцию. Казалось, одного приказания офицера достаточно, чтобы заставить неорганизованную толпу горожан в страхе разбежаться.

Шарра все еще стоял на далеком расстоянии от капитана.

— Я хочу поговорить с вами, капитан! — крикнул он. — Можно подойти?

— Можно.

— Ручаетесь, что я буду в безопасности?

— Да.

Солдаты стали «вольно» и внимательно следили за ходом событий. Шарра приблизился к капитану.

— Вы человек чести. Вы не приказали открыть огонь. От имени народа прошу вас защищать его дело. Никогда еще оно не было более доблестным и благородным.

Пока Шарра говорил, в цепочках солдат и горожан началось движение. Солдаты, вместе того чтобы наблюдать за противником, слушали Шарра, говорившего внятным голосом человека, который знает, как тронуть простое сердце. Горожане, повинуясь безошибочному чутью и желанию услышать, что говорит Шарра, медленно двинулись вперед едва заметными, как бы случайными и бесцельными шагами. Сначала трогался с места один, за ним — сосед, пока волнообразное движение не охватывало весь строй. Теперь кое-кому было слышно, что ответил капитан.

— Я принял присягу верности королю и не нарушу клятвы.

Мелодичный голос Шарра торжественно ответил — это слышали и солдаты и народ:

— Вы дали присягу королю. Вы чувствуете себя связанным этой клятвой, потому что вы человек слова и чести. Ну, а король, был ли он так же верен своей клятве, как вы своей, мосье? Разве он не поклялся соблюдать хартию? Разве он не нарушил священную клятву?

— Я не политик. Я солдат и выполняю приказ.

— Если вы отказываетесь перейти на сторону народа, оставайтесь хотя бы нейтральным. Не стреляйте. — И, сделав

рукой жест в сторону цепочки горожан, добавил: — Не проливайте их кровь, не берите грех на душу.

Повернувшись к своим, он увидел, как близко они стоят к солдатам. В мгновение ока оценил свой тактический перевес и понял, как легко его можно сделать еще большим, и не схваткой, не пулями, а безостановочным потоком слов.

— Мы сражаемся за свободу для Франции и всего мира. Мы хотим, чтобы Франция вновь узнала славу Маренго, Аустерлица, Иены. Мы деремся за хартию, за народ. Мы хотим вернуть народу его трехцветное знамя.

Шарра видел лица солдат, зачарованных флагом, развевающимся перед их глазами; призраком Наполеона, стоявшим за этим знаменем. Он видел своих людей теперь уже всего в нескольких шагах от солдат. Он знал, что капитан не скомандует открыть огонь, что, даже если он и даст команду, солдаты не выполнят ее. Капитан с облегчением улыбался. Хорошо, что Шарра поставил его в положение, где у него нет выбора. Он протянул руку. Под крики: «Да здравствует хартия! Да здравствует наше знамя!» — солдаты стали брататься с народом. Они отдавали горожанам свои добрые армейские ружья. Еще одна бескровная битва была выиграна.

Готовый к последнему отчаянному сопротивлению, герцог Рагузский стоял на площади Карусели. Какой-то офицер принес известие, что на Вандомской площади солдаты начали брататься с народом. Старая песня! Герцог решил убрать с Вандомской площади мятежный полк и заменить его швейцарцами. Швейцарцы — в красных мундирах, в медвежьих шапках — были единственными надежными защитниками короля. Они не говорили по-французски. У них не было ни братьев, ни сестер среди народа. Служба — вот что было их делом.

Живя среди людей, которые их ненавидели, они платили тем же.

Два батальона швейцарцев защищали Лувр. Один был размещен вдоль окон картинной галереи и за колоннадой. Яркая форма служила стрелкам отличной мишенью. Но швейцарцы искусно и решительно отстреливались, отбивая все попытки взять Лувр штурмом. Второй батальон спокойно дожидался своей очереди во дворе. Тем временем мосье де Гиз доставил французу — командиру швейцарцев — приказ герцога перебросить один батальон из Лувра на Вандомскую площадь. Для защиты Лувра, по мнению герцога, хватит и одного.

Командир, которому предстояло выполнить этот приказ, решил послать на Вандомскую площадь батальон, защищающий

Лувр. Солдаты устали, им нужна разрядка. Их сменит резервный батальон, стоящий во дворе. Свой план командир предполагал осуществить в два приема: сначала снять с линии огня батальон, стоявший на защите Лувра, построить его во дворце и отправить на Вандомскую, потом послать на линию огня резервный батальон.

Собравшаяся перед Лувром толпа внезапно увидела, что швейцарцы отходят, что красные мундиры исчезли. Без команды, без заранее намеченного плана люди бросились на Лувр. Двери взломали топорами. Через несколько секунд они рассыпались по опустевшим залам и открыли из окон стрельбу по красным мундирам, собиравшимся во дворе. Один за другим послышались выстрелы.

Изумление, мгновенно сменившееся страхом и смятением, охватило швейцарцев. Они обратились в беспорядочное бегство. В спешке натыкались друг на друга, не пытаясь даже ответить на косивший их огонь. Сломя голову бежали они через дверь, ведущую на площадь Карусели, подгоняемые страхом, в панике топтали друг друга.

Увидев, как бегут его последние защитники, герцог Рагузский с криком: «Стой! Остановитесь, черт бы вас взял! По местам!» — бросился в их гущу.

Но мало кто из швейцарцев знал французский язык. Ими владел лишь страх. Они удирали так же рьяно, как прежде воевали. Они бежали через площадь Карусели, потом — через Тюильрийскую площадь. Бросая оружие, срывая с себя красные мундиры, швыряя их на землю, они разбежались во все стороны, наивно думая, что народ ненавидит и презирает не их, а красные мундиры. Они промчались, как ураган, увлекая за собой кирасир, улан, полицию. Они гнали перед собой остатки королевской армии, врассыпную удиравшей через Елисейские поля.

Лувр был взят! Взята Вандомская площадь! Взят Тюильрийский дворец! Над королевским дворцом веяло трехцветное знамя.

По длинным галереям музея народ спешил к Тюильрийскому дворцу. Всему Парижу открылись двери роскошных королевских покоев.

В вестибюле стояли статуи королей. Первая волна народа разбила их на куски; на долю второй досталось только топтать осколки.

В тронном зале на троне стоял дюжий рабочий с окровавленной, обвязанной куском материи головой.

— Теперь вместо этого выродка короля здесь я! — кричал он.

Плюнув на трон, он спрыгнул вниз.

— Освободите место!

Бесцеремонно раскачивая свою ношу во все стороны, четверо внесли в зал тело солдата-швейцарца в запачканном кровью красном мундире.

— Он защищал короля. Предоставьте ему трон в награду.

Труп посадили на трон и, чтобы заставить держать голову прямо, ударили кулаком под подбородок.

Из тронного зала люди хлынули в кабинет короля. Тут обшарили все ящики королевского стола и выбросили из окна бумаги. Тысячи листков запорхали над садами Тюильри.

Больше всего народу собралось в королевской опочивальне. Люди тесно окружили большое парадное ложе. Взглянуть хотелось каждому. Веселились, громко смеялись, бросали замечания по адресу двух мужчин, жеманно изображавших влюбленную пару. При этом пылкий любовник в клочья рвал великолепное серебристое платье своей дамы, и глазам зрителей открывались лохмотья, в которые был одет обладатель наряда.

В картинной галерее, где висели портреты маршалов, шла стрельба. Самой популярной мишенью служил портрет герцога Рагузского. Одна пуля пробила ему голову, две пронзили сердце, четвертая не попала в цель, продырявив задний план картины. Потом кто-то взобрался на плечи товарищей, вырезал портрет в форме медальона и продел сквозь него штык.

В саду под писк дудки и пиликанье скрипки отплясывали бешеный канкан. Мужчины нарядились в шляпы с перьями и придворные платья герцогинь Ангулемской и Беррийской. Один накинул поверх лохмотьев кашемировую шаль. Танец заключился неистовым финалом: и шаль и платья баснословной цены были разорваны в клочья. Единственным желанием веселившихся было уничтожить все предметы роскоши, которые попадались им под руку.

Когда войска в беспорядке бежали из Лувра, на углу улиц Риволи и Сен-Флорентин раскрылось окно. С противоположного конца великолепной комнаты донесся надтреснутый старческий голос:

— Боже великий! Что за мысль, мосье Кейзер, — открыть окно! Добьетесь, что наш дом разграбят.

— Не тревожьтесь, — возразил мосье Кейзер. — Войска бегут без оглядки, но люди заняты только преследованием и не помышляют о грабеже.

— Вот как, — произнес князь Талейран. Хромая, он подошел к стенным часам и торжественным голосом сказал: — Запишите,

мосье Кейзер: двадцать девятого июля тысяча восемьсот тридцатого года, в пять минут после полудня, царствование старшей ветви Бурбонов во Франции прекратилось.

Во второй половине дня студенты и преподаватели Подготовительной школы собрались в актовом зале. Ждали мосье Гиньо.

Открылась дверь. Чопорный и прямой, торжественно появился директор. Лицо его сияло. В петлице — трехцветная лента.

— Да здравствует мосье Гиньо!

— Да здравствует Франция!

Улыбающийся директор протянул вперед руки, чтобы унять волны воодушевления и преданности, с такой силой бушующие у подножия сцены. Сначала спокойно, понемногу со все большим подъемом он заговорил по всем правилам красноречия, в котором был так искусен и которым так мастерски воспользовался и на этот раз.

— Профессора, коллеги и студенты Подготовительной школы!

Этот день, двадцать девятого июля тысяча восемьсот тридцатого года, надолго войдет в историю Франции и всего цивилизованного мира. Над Парижем развевается трехцветное знамя — французский флаг. Он развевается над Лувром, над Собором Парижской богоматери, имена которых так дороги сердцу каждого француза. Мы должны не только носить эти цвета, но хранить их в мыслях, лелеять любовь к ним в сердцах.

Раздались и утихли аплодисменты. Директор торжественно продолжал:

— Профессора, коллеги и студенты Подготовительной школы! От имени всех вас, от имени нашей школы заявляю о верности временному правительству генерала Лафайета, генерала Жерара и герцога Шуазельского!

Бешеные аплодисменты. Зал подхватил возглас директора:

— Да здравствует генерал Лафайет!

— Да здравствует мосье Гиньо!

— Да здравствует наше знамя!

— Да здравствует Франция!

Директор долго и терпеливо ждал, пока воцарилась тишина.

— Попытаемся теперь вернуться к обычной жизни. Это задача всей Франции и, в частности, наша. Приближается конец учебного года, а с ним — экзамены. Будем надеяться, что правительство вернет нашей школе законное положение Нормальной школы Франции и возродит ее былые достоинство и престиж.

Это были заключительные слова.

Теперь мосье Гиньо оставалось только подождать, пока смолкнут крики одобрения, и надлежащим образом удалиться. Он посмотрел на студентов. Треугольное лицо с глазами, глядевшими сквозь директора, как будто он был прозрачный, привлекло его внимание. Но взгляд их быстро скользнул с головы директора на трехцветную ленту. Значение этого взгляда было совершенно ясно. Он говорил: «Люди, подобные вам, оскверняют наше знамя».

Народ сражался и умирал. На его костях было построено новое шахматное поле, на котором опытные руки уже вели прежнюю игру.

Когда сражающийся Париж был на улицах, Париж политиканов, Париж множества ничтожных, алчных и немногих благородных и дальновидных людей собрался во дворце мосье Лаффита. Дом богатого, вкрадчивого банкира был центром политических хитросплетений. Здесь замышляли планы политические деятели, здесь принимались делегации, здесь постоянно собирались заседания палаты. Здесь, окруженный тысячами зрителей, был политический центр революции. Оперативного центра, штаба военных действий у революции не было, зато был штаб политический — во дворце Лаффита. Нет, это не был штаб революции; это был штаб буржуазии, той самой, которая раньше раздувала гнев и возмущение народа, а теперь, во дворце Лаффита, тайно замышляла создать собственное королевство.

Из дома Лаффита в этот четверг вышел Лафайет и отправился в Ратушу принять командование вооруженными силами Парижа. Народ любил генерала

Лафайета; им восхищались бедняки, ему доверяли честные люди. Его имя — символ свободы и независимости — окружал ореол славы двух революций в двух разных мирах.

По пути его встречали радостными криками:

— Дорогу генералу Лафайету! Генерал идет в Ратушу! Ура генералу!

Эти же крики слышал он сорок один год тому назад. В 1789 году свобода короновала его главой народа; и вот еще раз — в 1830. Усталые глаза старика разглядели Этьена Араго, украшенного трехцветной кокардой. Лафайет обратился к одному из сопровождавших его:

— Мосье Пок, пойдите попросите этого молодого человека снять кокарду.

Араго подошел к Лафайету.

— Прошу прощения, генерал. Я, очевидно, неправильно понял вас.

— Прошу вас, мой юный друг, снять кокарду.

— Почему, генерал?

— Потому, что она немного преждевременна. Франция в трауре. Пока Франция не вернет себе свободу, ее знамени следует быть черным. Потом — увидим.

— Генерал, я со вчерашнего дня ношу трехцветную кокарду в петлице, а с утра — на шляпе. Так тому и быть.

— Что за упрямец! Ах, как упрям! — сокрушался старый генерал по дороге в Ратушу.

Ратуша опять стала нервным узлом Парижа. В комнате Лафайета было полно народу. Каждому хотелось рассказать генералу о своих героических подвигах.

Генерал всем повторял:

— Хорошо, очень хорошо, отлично! Вы храбрый человек, — и пожимал рассказчику руку.

Тот, кому было оказано столь благосклонное внимание, бросался вниз по лестнице, в толпу, стоящую снаружи, с криком:

— Генерал Лафаейт пожал мне руку! Ура генералу Лафайету!

Бывший студент Политехнической школы Шарра явился в Ратушу со своими полутораста людьми.

— Вот и я, генерал.

— Ах, это вы, мой молодой друг. Счастлив вас видеть. Вы здесь воистину желанный гость. — И генерал обнял Шарра.

— Да, генерал, я здесь, но не один.

— Кто же с вами?

— Сто пятьдесят моих людей.

— А что они совершили?

— Они вели себя как герои, генерал. Взяли тюрьму Монтегю, Эстрападскую казарму и казарму на улице Вавилона Но теперь им брать больше нечего. Все уже взято. Что мне с ними делать?

— Что ж, велите им спокойно возвращаться по домам.

Шарра рассмеялся.

— По домам? Не может быть, генерал, чтобы вы говорили это серьезно.

— Нет, совершенно серьезно. Они, вероятно, очень устали после своей огромной работы.

— Но, генерал, большей половине этих храбрых людей некуда возвращаться. У них нет дома. А у другой половины не найдется куска хлеба или гроша, на который его купить.

Генерал опечалился.

— Мне следовало бы об этом подумать. Это меняет дело.

Раздайте им по сто су на человека.

Шарра пошел к своим и сказал, что генерал желает дать каждому из них по пять франков. Для людей в лохмотьях это была большая сумма, но ответ был один:

— Нет! Не хотим денег. Мы сражались не из-за денег. Скажите генералу, что мы не возьмем ни су.

Шарра почувствовал, что сейчас заплачет. Голос его дрожал от волнения, когда он произнес последнюю за этот долгий день речь.

— Друзья! Вы опора и будущее Франции и всего мира! Вы великий французский народ! Да придет день, когда наша родина оценит и полюбит своих верных сынов! Только тогда станет она воистину великой.

Сочувственно и сердечно смотрели люди на своего командира, не особенно хорошо понимая смысл его слов.

— Друзья! Отпразднуем победу. Денег вы не хотите. Но позвольте мне послать за хлебом, мясом и вином. Здесь, на ступенях Ратуши, взятой нами сегодня, мы с вами разделим нашу трапезу.

— Да здравствует Шарра!

— Ура Лафайету!

Собравшимся в его доме депутатам мосье Лаффит сказал:

— Единственный путь спасти монархию — короновать герцога Орлеанского. Сын Филиппа Эгалите (Филиппа-Равенство) может пленить воображение народа. Правда, этот сын во Франции малоизвестен, но я считаю, что это к лучшему: поддержка черни не будет источником его силы. Таким образом, он будет вынужден не преступать пределов, которыми следует ограничить королевскую власть. Я его знаю пятнадцать лет и восхищаюсь им. Он проявляет высокие моральные качества: привязан к жене, дети боятся и любят его. Посадив его на престол, мы сможем сохранить во Франции принцип законности и одновременно успокоить революционный дух Парижа. В лице герцога Орлеанского мы будем иметь короля-гражданина.

Депутаты знали, что план этот можно осуществить только при поддержке Лафайета. Лафайет в силах успокоить народ или вновь воспламенить его. Значит, за Лафайетом нужно следить, убеждать его, склонить к поддержке короля-гражданина.

Во дворце Лаффита была избрана муниципальная комиссия из пяти человек. Ей предстояло окружить Лафайета тесным кольцом, чтобы повлиять на старого генерала, изолировать его от народа. Два члена комиссии были банкирами: герой дня Лаффит и Казимир Перье — человек, которому предстояло получить

большую власть в ближайшие два года. Эти пятеро знали свое дело. Они окружили Лафайета сторонниками партии орлеанистов. Они выслали наиболее ярых республиканцев за пределы Парижа, сказав им: «Идите, сейте революцию по всей Франции». И меж собой добавили: «От самых опасных элементов Париж теперь свободен». У дверей кабинета, где сидел Лафайет, они поставили часового с приказом пропускать только избранных. Благородный старик жил под стражей, как заключенный, в том самом здании, которым, как полагали, он управлял. Ему льстили, ему приносили на подпись маловажные документы и воззвания. Он служил орудием игры, в которой ничего не понимал.

Но народ любил Лафайета. Люди верили, что, пока старый генерал в Ратуше, будущее Франции, свобода и честь простого человека в надежных руках, их никто не предаст.

Народ Франции ошибался.

30 июля 1830 года

Галуа вышел из школы. Медленно шагая к Сене по улице Сен-Жак, он оглядывал поврежденные дома, развороченные мостовые, остатки баррикад.

— Пока я произносил бессмысленные речи, здесь сражались и умирали люди. Буду ли я столь же отважен, когда и в мою жизнь придет такое испытание?

Хотелось уйти от своих мыслей, от одиночества. Он увидел небольшую группу людей, окружавшую кудрявого, черноволосого молодого человека. Оживленно жестикулируя, молодой человек говорил, непрестанно указывая на какой-то плакат.

Группа людей вокруг него оставалась более или менее постоянной. Те, кому наскучило слушать, уходили; их сменяли праздные прохожие. Галуа подошел и стал читать плакат:

«Карл X больше не может вернуться в Париж; он пролил народную кровь.

Провозглашение республики вызовет среди нас страшные распри и настроит против нас Европу.

Герцог Орлеанский предан делу революции.

Герцог Орлеанский никогда не боролся против нас.

Герцог Орлеанский был при Жемаппе.

Герцог Орлеанский будет королем-гражданином.

Герцог Орлеанский пронес под огнем врага трехцветное знамя.

Герцог Орлеанский — единственный, кто снова

может принять его.

Никакого другого флага мы не желаем.

Герцог Орлеанский не высказал еще своих взглядов. Он ждет, чтобы мы выразили нашу волю. Давайте же объявим ее, и он примет хартию, как мы всегда этого желали и ждали. Французский народ вручит ему корону».

Галуа прислушался к быстрому, живому говору молодого человека:

— Вот оно, величайшее оскорбление, черное вероломство! Сначала вам угрожают. Говорят, что провозглашение республики повлечет за собою сразу две войны: гражданскую и войну с Европой. Это явная ложь. Кто осмелится напасть на республику? А если и осмелится, мы смогли бы ее защитить. Из кого состоит армия? Из народа. Народ — душа республики. Он не даст ее в обиду. Но мосье Тьер, написавший это воззвание, думает, что мы, подобно орлеанистам, боимся соседних стран. Под конец он заявляет, что мы независимый народ. Что мы имеем право выбирать собственное правительство. Но выбрать республику, говорит он, вы не имеете права. У нее найдутся противники; сразу начнется и гражданская война и оккупация. Впрочем, у вас еще есть возможность остаться независимым французским народом. Стоит только встать на колени и умолить герцога Орлеанского принять корону.

Оратор помолчал, повернулся спиной к воззванию и, оглядев маленькую группу слушателей, взволнованно добавил:

— Неужели нас считают такими глупцами? Вчера мы совершили революцию, а сегодня, сутки спустя, читаем воззвание, требующее нового короля. Разве мы сражались против Карла Десятого, чтобы посадить на его место герцога Орлеанского? Мы сражались, чтобы с корнем вырвать дерево Бурбонов, а не заменять одну ветвь другой.

Галуа понравились и оратор и речь. Он сам хотел бы так вот говорить, чтобы каждый его понимал. Но аудитория ему не понравилась. Люди слушали, вставляли замечания, соглашались с оратором, но не проявляли особенного воодушевления. Куда делся их былой огонь? Где он, гнев народа, только что низвергнувшего монархию и сокрушившего армию?

— Давайте сорвем плакат, чтобы он не обманывал народ. Кто мне поможет?

«Я пришел сюда, чтобы быть одним из многих, — думал Эварист, — чтобы научиться говорить с народом. Я ему отвечу, этому юноше, даже если этим поставлю себя в глупое положение».

Он вышел вперед:

— Я помогу.

Они сорвали воззвание. Улучив момент, Галуа шепнул:

— Вы сделали хорошее дело. Нужна вам моя помощь?

— Еще бы! Пойдемте со мной.

Эвариста стало легче. Первую связь установить оказалось куда проще, чем он думал. Вдвоем они отправились искать, где еще висит такое же воззвание.

— Меня зовут Дюшатле, — сказал кудрявый молодой человек. — Я ученик Школы Хартий.

— Меня — Галуа. Я из Подготовительной школы.

— Ого! Редкая птица. Мы за эти три дня не видели никого из вашей школы. Рад видеть хотя бы одного. Как вам удалось выбраться?

Галуа покраснел, хотел было ответить, но Дюшатле. не дожидаясь ответа, говорил все быстрее:

— Извините, но ваша школа — самое мерзкое заведение в Париже. Ну и скоты у вас там! Надо будет ими заняться.

Галуа с трудом вставил:

— Откуда вы все это знаете?

— Знать — это мое дело. Ни с кем из вашей школы мы не смогли наладить связь. Хорошо, что я встретил вас. Вы можете очень пригодиться. Нужно как следует разворошить ваш муравейник: пусть студенты задумаются, что к чему. Им, по-моему, чертовски многое надо втолковать. Для первого знакомства вы подойдете отлично. Чем занимаетесь?

— Математикой.

— Должно быть, парень с головой. Почему не в Политехнической школе?

Вот вопрос, которого ой боялся. Всегда тот же! Когда-нибудь он ответит на него гордо и не скрывая правды: к вечному стыду своих двух экзаменаторов.

Сейчас он не знает, что сказать. Впрочем, Дюшатле продолжал говорить быстро и нервно:

— Вы, конечно, не переносите Гиньо. Новый трехцветный директор. Сегодня я читал в газете, что он предоставил школу в распоряжение временного правительства. Он и не догадывается, что никакого временного правительства нет.

Тут Дюшатле покатился со смеху, и, воспользовавшись этим, Галуа вставил:

— Что вы хотите сказать?

— То, что сказал: не существует, и баста. В дни революции генералы создаются портными, а правительства — издателями. Это правительство изобрел журналист. Объявил о нем Парижу в

воззвании, и готово! Все божатся, что оно существует. Ничего себе, правда?

Он вновь рассмеялся.

— Кто же сейчас у власти?

— В Ратуше сидит Лафайет. Там же комиссия пяти: присматривает, чтобы старик не сказал лишнего. Четыре орлеаниста и для виду один республиканец. На вид дела обстоят неважно. Люди дремлют и не слишком беспокоятся. Но мы их разбудим!

Их нужно взбудоражить, и тогда в один прекрасный день они снова начнут сражаться. Впрочем, я заболтался, а нам нужно заниматься делом.

— Кому это «нам»?

— Я имею в виду Общество друзей народа. Единственное общество республиканцев, которое что-то делает. Увидите, оно сейчас войдет в силу. У нас превосходные люди; адвокат мосье Гюбер — президент. Вы должны вступить в чаше общество. Нам необходимы умные люди вроде вас.

— Откуда вам известно, что я умен?

— Да потому, что вы не мешаете мне говорить, умеете слушать и задавать вопросы.

Новый плакат. Дюшатле обратился к Галуа:

— Хотите говорить вместо меня? Я уже все это проделал пять раз.

— У меня не выйдет. Но я с удовольствием еще раз послушаю вас.

Дюшатле повторил свое выступление. Эварист слушал краем уха, как вдруг звук собственного имени заставил его встрепенуться.

— …мой друг Галуа, весьма способный математик, самый блестящий слушатель Подготовительной школы. Он может привести вам хороший пример того, как вели себя эти люди, когда совершалась революция. Те самые, которые ныне стоят за герцога Орлеанского. Спросите Галуа насчет директора его знаменитой школы.

Делать нечего, пришлось взять слово. Галуа заговорил быстро, как будто отвечая хорошо выученный урок:

— В среду директор пригрозил нам, что, если мы выйдем на улицу и примем участие в сражении, он вызовет полицию.

— Сукин сын! — прервал его чей-то голос.

— А в четверг вечером уже надел трехцветную кокарду.

— Вот сволочь!

— Вы правы, гражданин, — сказал Дюшатле. — Как и тысячи других, этот человек думает, что мы сражались, чтобы заменить

одного Бурбона другим.

Они нам сулят хартию. Да ведь мы можем в любую минуту получить старую хартию от Карла Десятого: он уже отменил ордонансы и обещал быть пай-мальчиком. Хартия нам нужна, но не такая. И посмотрите, как ловко мосье Тьер говорит об этой хартии — как будто мы дрались только ради нее.

Кончили тем, что сорвали плакат и пошли к Ратуше. Но даже здесь толпа не была ни особенно большой, ни слишком взволнованной. Дюшатле подошел к кучке республиканцев, представил им Галуа. Республиканцы либо говорили сами, либо слушали многочисленные речи, которые произносились с ближайшей каменной тумбы. Наступила какая-то минута, когда Галуа забыл, что нужно слушать. Он погрузился в глубокие размышления о доказательстве, приведенном им в работе, которую послал в академию.

30 июля 1830 года

Галуа и Дюшатле стояли во дворе Пале-Рояль в толпе хорошо одетых мужчин и женщин.

— Герцога! Хотим видеть герцога!

Крики не прекращались, пока герцог в сопровождении Лафайета не появился на балконе.

— Да здравствует герцог!

— Ура Лафайету!

— Да здравствует король Франции!

Затем, когда надоело повторять одно и то же, толпа принялась петь «Марсельезу». Громким и неверным голосом в хор вступил герцог Орлеанский.

Галуа рассматривал обманчиво-глупое лицо герцога, с широкой челюстью и узким лбом, обрамленное густыми бакенбардами. Смышлеными были только маленькие, глубоко посаженные глаза.

Допели «Марсельезу». Снова начались крики. Потом опять опели «Марсельезу». Лицо герцога покрылось испариной, но он пел еще громче и еще больше фальшивил. Затем спустился вниз и смешался с толпой. Стоя среди окружающих его буржуа, герцог казался одним из них. Серая шляпа, черный сюртук, желтые перчатки — точь-в-точь как у любого зажиточного горожанина. Весьма энергично носил он свое дородное тело, слегка выдающееся брюшко, свои пятьдесят семь лет. Будущий «король-гражданин» расхаживал вокруг, пожимая руку каждому, кто ее протягивал.

— Опасный человек! — шепнул Эвариcту Дюшатле. — Знает,

как завоевать популярность. Бежим отсюда, пока он не схватил нас за руки.

Они пошли к Ратуше, к людям, готовым кричать «ура» Лафайету; к людям, которые, как думал Галуа, никогда не стали бы кричать «ура» герцогу Орлеанскому.

На каменной тумбе, обращаясь к собравшимся вокруг, стоял какой-то юноша. Галуа поразил не столько речь, сколько внешность оратора. Его платье будто вышло из рук портного всего час тому назад. Белый жилет с серебряными пуговицами, светло-серый сюртук, великолепно облегающий талию, высокая узкополая шляпа серебряного шелка. Он выглядел чуть ли не щеголем; казалось, ему не место среди людей в грязных рубахах и бесформенных шапках. Если бы не две большие трехцветные кокарды — одна на шляпе, другая в петлице, — его бы освистали. Но, видя кокарды, люди с гордостью слушали хорошо одетого молодого человека.

В жаркий июльский день под ярким полуденным солнцем говорить было нелегко. Однако оратор казался менее разгоряченным, чем любой из тех, кто его слушал. Ни капли пота не выступило на высоком лбу; взгляд оставался пронизывающим, как острие ножа. Красивое лицо его было мужественным, холодным. Держа в руке маленькую пулю, он время от времени подбрасывал ее в воздух и ловил точно в том же месте, откуда бросал.

— Кто это? — спросил Галуа.

— Пеше д'Эрбинвиль. Член общества. В отличие от большинства других богат и родом *из* аристократов. Я уверен, что он гордится этим.

Галуа взглянул на это олицетворение выдержки и хладнокровия. Речь его была, пожалуй, слишком уж безупречной. Выделяя какое-нибудь слово, он слегка кривил нижнюю губу, и лицо его становилось деланным и жестоким.

При взгляде на это ледяное лицо, при звуке этого сдержанного голоса охватывал холодок, хотя жара стояла невыносимая.

— Кто человек, которого нам желают навязать в короли? Я расскажу вам, друзья мои. Как историк, я изучал жизнь и Филиппа Эгалите и его сына. Герцог Орлеанский — незаконнорожденный потомок Людовика Четырнадцатого. Но он Бурбон и должен разделить судьбу Бурбонов. Теперь мосье Тьер и его приспешники кричат вам, что он сын Филиппа Эгалите, голосовавшего за смертную казнь Людовика Шестнадцатого. Эти же господа твердят, что при Жемаппе герцог сражался за республику. Прижмите к стенке любого орлеаниста, и он заладит,

как попугай: «Жемапп, Жемапп».

Дважды насмешливо пропищав это слово, он подбросил высоко в воздух свою пульку и ловко поймал ее. В отличие от других Эвариcту это не показалось забавным.

— Друзья мои, ни один орлеанист вам не скажет того, что знаю я и что следует знать вам.

Тридцать один год тому назад, в тысяча семьсот девяносто девятом году, молодой герцог Орлеанский отправился в Митто, где в то время жил немощный Людовик. Там наш жемаппский герой бросился к ногам жирного Людовика и, горько рыдая, вскричал: «О государь, простите грехи моего отца и мои собственные прегрешения. Простите мне, что я сражался при Жемаппе».

Он смешно изобразил плачущего герцога, но Эварист все-таки не улыбнулся.

— И человек, целовавший дряхлые ноги короля Бурбона, теперь сам метит в короли Франции. Нечего сказать, Жемапп! Только один человек в силах сорвать замыслы орлеанистов; этот человек — генерал Лафайет.

— Ура генералу Лафайету!

— Мне известно из самых верных источников, что герцог решил склонить генерала на свою сторону, почтив сегодня Ратушу своим посещением.

— Нечего ему делать в Ратуше!

— Не подпускайте его сюда!

С криком подбежал мальчишка:

— Идут, идут!

Дюшатле повернулся к Пеше д'Эрбинвилю, сошедшему с тумбы и остановившемуся прямо перед ним.

— Прекрасная речь, да боюсь, что сейчас от нее будет мало пользы.

— Боюсь, что так.

— Это вот Галуа из Подготовительной школы. Занимается математикой. Он с нами.

Обменявшись рукопожатием, Пеше обратился к Эвариcту чуть покровительственным тоном:

— Студент из Подготовительной нам может пригодиться.

Он попробовал улыбнуться, но улыбка не получилась.

Шествие приближалось. Впереди ехал герцог Орлеанский в генеральской форме, с большой трехцветной кокардой на шляпе. Как зачарованный глядел он прямо перед собой, на ступени, ведущие в Ратушу. Банкир Лаффит сидел в портшезе, который несли савояры; он растянул себе сухожилие, и у него болела нога. За герцогом и Лаффитом следовали восемьдесят депутатов. Для

тех, кому приходилось наблюдать на улицах Парижа великолепные выезды Карла X, это было жалкое зрелище.

Люди на площади не выказывали ни одобрения, ни вражды. Они молчали. Герцог медленно приближался к ступенькам. Спокойно, безразлично толпа раздавалась, уступая дорогу белому коню. Лицо герцога покрылось мертвенной бледностью. Доехав до Ратуши, он сошел с коня и твердыми шагами начал подниматься по ступеням. В этот момент вышел генерал Лафайет и остановился на верхней ступеньке лестницы. Герцог поднимался все выше, медленно взбираясь наверх, где стоял Лафайет. Он непременно поднимется, даже если для этого придется столкнуть старого генерала вниз, так, чтобы ему уж не подняться. Неужели один Лафайет этого не понимает?

Генерал встретил герцога с любезностью светского человека, умеющего держать себя со знатным гостем. Процессия скрылась в Ратуше.

Теперь взоры устремились к фасаду здания. Все ждали каких-то событий. Время, казалось, замедлило ход.

Дюшатле повернулся к Галуа:

— Как по-вашему сумеет генерал дать герцогу отпор?

— Нет.

Дюшатле повторил тот же самый вопрос д'Эрбинвилю.

— Не знаю. — Он взглянул на Эвариста. — Почему вы так уверены, что нет?

— Потому, что знаю историю.

— Ну да, — колко возразил Пеше. — Для математика вы кажетесь вполне приличным историком.

— Ваше замечание…

— Идут, — прервал Эвариста Дюшатле.

Лафайет вывел герцога Орлеанского на балкон

Ратуши. Оба молча глядели на безмолвную толпу. Жорж Лафайет, сын генерала, подал отцу свернутый трехцветный флаг. Старый генерал стал разворачивать ею. В ту же минуту, впервые за этот жаркий июльский день, мягко подул свежий ветерок, вдохнув жизнь в трехцветное знамя. Полотнище затрепетало, вырвалось из трясущихся рук генерала и покрыло лицо герцога. Толстые пальцы схватились за ткань. Лафайет поворачивал древко. Люди увидели, как растет трехцветное полотнище, которое крепко держат эти двое. Им не были видны ни дрожащие, высохшие руки старого генерала, ни пальцы герцога, жадно вцепившегося в знамя.

Ветер колыхнул полотнище в сторону, на толпу. Ледяное молчание вдруг нарушили громкие крики:

— Да здравствует наше знамя!

— Да здравствует Лафайет!
— Да здравствует герцог Орлеанский!
Галуа повернулся к Дюшатле:
— Давайте крикнем: «Долой герцога!»?
Пеше сказал:
— Я не одобряю бессмысленных выпадов.
Их голоса потонули в крике:
— Да здравствует Лафайет!
— Да здравствует герцог Орлеанский!
Это был предсмертный крик революции. Роль народа была сыграна. Началось правление буржуазии.

1830

В августе король Франции Карл X удалился в изгнание. Луи-Филипп был провозглашен королем французов Короля Франции сменил король французов; старшую ветвь Бурбонов — младшая, господство аристократии сменилось господством буржуазии.

Чего добился народ, сражаясь, отдавая жизнь за хартию, за трехцветное знамя? Сначала с удивлением, потом с гневом, с ненавистью народ убедился, что революция принесла ему еще больше страданий. Люди надеялись, что легче станет работа, что хлеба будет в достатке, дети — сыты и одеты. Они надеялись, что июльские дни облегчат их невзгоды. Но они не получили ничего.

До революции в крупнейшей, парижской типографии работали двести рабочих, и каждый из них зарабатывал примерно пять франков в день. Когда разразилась революция, типографии закрылись. После того как они открылись вновь, обратно взяли десять человек. В ближайшие шесть месяцев число рабочих увеличилось до двадцати пяти при заработке два франка в день.

Кое-кто предлагал, чтобы министерство внутренних дел открыло большую типографию, которая была бы собственностью государства и занялась выпуском новых изданий трудов Руссо, Вольтера и энциклопедистов. Это мероприятие, убеждали они, повысило бы уровень образования и сократило бы число безработных.

Министр внутренних дел отверг предложение, возразив: «На эти книги не будет спроса. Это старое оружие. Теперь, когда битва выиграна, либерализм в нем не нуждается».

Какие шаги предприняло правительство, когда исчезло золото, когда по Парижу прошла волна банкротств и углубилась экономическая депрессия? Правительство обратило гнев народа против республиканцев, сотни раз повторяя в печати и в воззваниях одно и то же:

«Вы, люди из народа, победили в этой революции; вы главная опора Франции. Вы сражались и добились всего, чего желали. Не давайте республиканцам обмануть вас. Они хотят, чтобы вы снова дрались — под их руководством. Что они сделают, если добьются победы? Доведут вас до полной нищеты! Развяжут войну со всей Европой! Не успокоятся, пока не будет захвачена французская земля и ваши несчастья не станут в тысячу раз страшнее!»

Манифесты республиканцев с возмущением срывались, и составителей клеймили как людей, призывающих к грабежу. Однажды помещение республиканской газеты «Трибюн» заполнила толпа. Это были бедняки — грязные, в лохмотьях; среди них не было никого в черном сюртуке или желтых перчатках — одежде буржуа. Они ворвались в помещения, разбивали печатные станки, ломали мебель. «Долой республиканцев! Стреляй в них! Бей грязных ублюдков!»

Лафайет, который все еще командовал национальной гвардией, послал отделение солдат как раз вовремя, для того чтобы спасти жизнь журналистов.

В своем гневе народ колебался между орлеанистами и республиканцами. Люди знали, что они обмануты, но не знали кем. В день, когда завершилась июльская революция, были посеяны семена новой.

Одной из первых мер правительства было сделать из Подготовительной школы Нормальную и заменить двухлетний курс обучения трехлетним.

Галуа сдал экзамены за год, перешел в следующий класс. Каникулы он провел в Париже и вступил в Общество друзей народа, бывшее в то время самой влиятельной республиканской организацией. Он вошел в группу студентов, которые готовили выступления в школах, писали памфлеты, устраивали лекции и в долгих спорах подогревали надежду на новую революцию и ненависть к Луи-Филиппу.

Здесь Галуа обзавелся новыми друзьями и новыми врагами. Он узнал, что самые секретные планы общества становятся известными полиции, потому что общество полно шпионов. Часто он боялся высказывать чересчур крайние взгляды, зная, что именно так обычно ведут себя провокаторы, толкавшие общество на организацию мятежей, о которых полиция знала заранее, к которым была хорошо подготовлена. Он обнаружил, что даже среди республиканцев есть люди, не только достойные любви и восхищения, но и ненависти; люди, с которыми нужно бороться. Он нашел здесь героизм и трусость, честность и преступление, блистательный ум и непостижимую глупость, атмосферу порой

гнетущую, порой вдохновляющую.

Единственным нереспубликанцем, с которым Эварист часто виделся, был только что окончивший Подготовительную школу Огюст Шевалье. Только Шевалье был звеном, поддерживавшим связь Галуа с научным миром; только он всегда с восторгом внимал другу, стараясь — скорее настойчиво, чем успешно — понять математические исследования Эвариста.

Однажды Огюст спросил, какая судьба постигла рукопись, посланную Галуа в академию более полугода тому назад. Галуа сказал, что не получил ответа. Тогда Шевалье уговорил друга пойти в институт и выяснить, в чем дело. Если потребуется, добиться даже свидания с профессором Араго. Галуа обещал.

Прошло два дня. Первое, что спросил Шевалье, войдя в комнату Галуа, было:

— Ну как, Эварист, ходил?

— Ходил.

— И что тебе сказали?

— Ничего.

— То есть?

— Рукопись потеряна.

— Да я тебя спрашиваю не о первой. Что случилось со второй рукописью?

— Потеряна и вторая.

Шевалье огорчился, казалось, сильней, чем Галуа.

— Слушай, Эварист, расскажи все как можно подробнее.

— В сущности, не о чем. Ты знаешь, секретарем академии был Фурье. Недавно он умер. Оставил ли он рукопись себе, отослал ли кому-нибудь, никто не знает. В его бумагах ее не нашли. Не лишено вероятности, что рукопись попала к мосье Коши. К счастью, никто не предложил мне повидаться с ним, потому что мосье Коши находится в изгнании. Он человек благочестивый. Рукопись потерять — это он может, но нарушить присягу Карлу Десятому — нет. Есть и оборотная сторона. Карл Десятый — великий король. Он сумеет оттенить преданность и, безусловно, воздаст мосье Коши по заслугам.

— Перестань, прошу тебя. Просто хочется плакать.

— А мне каково, по-твоему?

— Ну, что тебе еще сказали?

— Я видел мосье Араго и мосье Пуассона. Оба были очень вежливы. Мосье Пуассон все настаивал, чтобы я снова переписал работу и послал в академию. На этот раз он уж специально позаботится, чтобы она не затерялась.

— Так и надо сделать. Слушай, ты должен.

— Не так-то просто, как тебе кажется. Я написал рукопись полгода назад. Она устарела. Я продолжаю работать, но у меня не хватает терпения на дураков, которые ничего не хотят понять.

— А вдруг они поймут, вдруг когда-нибудь поймут!

— Да, может быть, когда-нибудь, — машинально повторил Галуа.

Звук этих слов как будто задел его за живое. Он заговорил все громче, срываясь на крик:

— Безусловно, поймут. Как же! Но когда? О да, придет день — и поймут. — Он коротко рассмеялся. — Не беспокойся, Огюст. Перед смертью я напишу о моих исследованиях. И если не удастся напечатать, оставлю рукописи на твое попечение.

Он все еще смеялся.

— Нет, Эварист, — кротко сказал Шевалье. — Это не смешно. Такого рода шутки мне не нравятся.

11 сентября 1830 года

Каждую неделю в школе верховой езды на улице Монмартр устраивались открытые собрания Общества друзей народа. Члены общества сидели в центре скакового круга, отделенные деревянной балюстрадой от обширных галерей, открытых для публики. 17 сентября на такое собрание пришло много народу. За столом сидел президент, мосье Гюбер. По правую руку — один из наиболее популярных ораторов и любимых республиканских лидеров, Годфруа Кавеньяк. У него была изящная высокая фигура, военная выправка, густые усы и твердый, но подернутый грустью взгляд; он выглядел героем девичьих грез.

По левую руку президента сидел Распай — светловолосый, низенький, лет тридцати от роду. Писатель и ученый, он был не лишен юмора и воображения. Это был один из немногих прославленных ученых, безоговорочно примкнувших к народу.

Мосье Гюбер объявил тему. «Как следует поступить с четырьмя заключенными в тюрьму министрами Карла X? Заслуживают ли они смерти? И если да, как можно предотвратить козни короля, его министров и депутатов, которые хотят спасти жизнь этих врагов народа?» И он предоставил слово Годфруа Кавеньяку.

Кавеньяк начал спокойно, не прибегая к ораторским приемам: они должны были появиться в свое время, как всем было хорошо известно. Он говорил задушевно и горячо, четко произнося каждое слово, — так, чтобы слышали все. Он описал низость министров, их глупость, рассказал об их преступлениях.

Затем спросил:

— Почему король и министры ратуют не за справедливость, а за милосердие? Почему Виктор де Траси вошел в палату с предложением об отмене смертной казни? Если бы людишки, которые ныне правят Францией, ответили на этот вопрос честно, они бы сказали: «Франция — маленькая, слабая страна, она боится Европы. Смертный приговор министрам не понравится Англии и России, а времена, когда Франция не боялась Англии и России, прошли». Вот что сказали бы они вам, не будь они трусами и лицемерами. Они хотят отменить смертную казнь и стараются внушить вам идею милосердия. Если этот трюк пройдет, все прочее не составит труда. Вынесение приговора они поручат пэрам Франции, многие из которых — преданные друзья министров. Они-то и будут судить июльских убийц.

Он возвысил голос:

— Вот что они замышляют! Незаметных преступников — на эшафот, а прославленные злодеи окажутся безнаказанными! Пусть попробует измученный человек в гневе или отчаянии совершить убийство! Кто спасет его от ножа гильотины? Всякий постыдится расточать сострадание преступнику, даже если причиной преступления были отчаяние, бедность и несчастья. Но если аристократы, богачи, люди, в чьих руках находятся судьбы империй, — если они принесут в жертву своей спеси миллион человеческих жизней, подожгут целый город, заставят братьев резать друг друга, обрекут их семьи на вечные страдания, — что ж, пожалуйста, милости просим. А потом, когда приходит час расплаты, вам только и твердят о милосердии. Будут превозносить доблести всепрощения, и даже закон тут же смягчится.

Они говорят, что хотят сохранить революцию чистой, чтобы она сверкала великодушием так же ярко, как когда-то — благородным огнем мужества. Ладно. Но тогда суд над министрами Карла Десятого нельзя поручать палате пэров, в которой сидят родственники, друзья, союзники и соучастники преступников. Пусть министров предадут народному суду присяжных, созванных специально ради этого серьезного случая. И пусть присяжные их осудят! Осудят на смерть! Ибо если они не заслужили казни — этого высшего наказания, — они не заслужили никакого наказания вообще! Потом, когда будет вынесен приговор — смертный приговор, — пусть обратятся к милосердию народа. И народ воспользуется правом милости и снисхождения. Богу известно, с каким величием народ проявил эти качества, когда, будучи безраздельным хозяином Парижа, сумел наладить порядок. Богатства охранялись людьми, которые спят на церковных ступенях или камнях мостовой.

Но нет! Превознося великодушие народа в пустых, трескучих речах, они обливают народ клеветой, ненавидят его. Они боятся, что народ может слишком уж славно распорядиться победой; что, оказав милосердие, народ обнаружит свои достоинства — так же, как прежде, он проявил и силу и добродетель. Если они хотят помиловать министров действительно ради революции, тогда пусть не обращаются к тем, кто сначала принял революцию сложа руки, а потом предал ее. Пусть обратятся к тем, кто дрался во время революции, чья кровь лилась в славные июльские дни. К французскому народу!

Не скоро смолкли рукоплескания. Мосье Гюбер огляделся, отыскивая взглядом желающих взять слово, и увидел поднятую руку Галуа. Это было первое публичное выступление Эвариста. Он предпочел бы сказать несколько сжатых фраз, сухо изложив положения и доводы. Но к этому времени он уже знал, что рассуждения слушают и принимают к сердцу, только если они сдобрены красноречием; словами, словами, словами, зачастую ненужными, подчас даже бессмысленными, но таящими волшебную силу. Он узнал, что республиканцу полагается уметь вызвать злобу и жалость, ненависть и любовь.

Галуа встал. Потемневшими, искаженными видел он лица сидевших вокруг; глаза как будто заволокла пелена густого тумана. Собственные слова, сказанные громким голосом, прозвучали как-то странно. Он уловил в них нерешительность — безошибочный признак страха.

— Граждане! Наш вопрос — только часть вопроса более широкого: имеет ли право государство распоряжаться человеческой жизнью?

Вступление было принято с холодным безразличием. Галуа захотелось, чтобы кто-нибудь-либо он сам, либо аудитория — провалился сквозь землю. Продолжать речь показалось ему непосильной задачей; чтобы произнести новую фразу, пришлось призвать на помощь все свое мужество.

— Это и есть вопрос, который сегодня задают себе Луи-Филипп и его приближенные, сегодня, когда им приходится решать участь четырех министров Карла Десятого — людей, руки которых запятнаны кровью народа.

Как безвкусно выбраны последние слова! Дешево и вульгарно! Но они произвели впечатление. Раздались даже жидкие рукоплескания. Их шум рассеял пелену тумана перед глазами.

— Некоторые из нас думают, что народу следует проявить великодушие, не требовать крови за кровь и жизни за жизнь. Предположим, мы не казним министров, а вместо этого заключим

их на один-два года или, скажем, лет на пять в тюрьму. За это время страсти улягутся, общие и личные невзгоды изгладятся из памяти. Кто-нибудь провозгласит милосердие, кто-нибудь опять обратится к великодушию народа. История сражений, пулями и картечью высеченная на стенах нашего города, сотрется от времени. Тогда раздастся голос, требующий освобождения и изгнания министров за пределы страны.

Они покинут Францию. Отправятся в чужие страны. Там вместе с иностранными державами они начнут строить козни против народа Франции, который всегда ненавидели и презирали за то, что он не удовлетворил их жажду власти. И те же, кто сегодня взывает к вам о милосердии, могут вернуться во Францию победителями после того, как тысячи французов будут убиты. Они могут вернуться победителями, чтобы покорить страну и увеличить страдания ее народа. Или, может быть, им будет позволено возвратиться и еще раз попробовать захватить страну в свои алчные лапы? Еще раз в награду за великодушие народа отнять у него свободу?

Теперь Галуа чувствовал, что его слушают. Туман рассеялся. Больше не нужно пользоваться заученными фразами. Ему стало радостно оттого, что он говорит с народом и народ слушает его.

— Я спрашиваю вас: является ли мое предположение невероятным? Разве именно это не случалось во Франции? Разве изгнанные аристократы не вступали всегда в союз с врагами французского народа? Их интересует только власть, богатства и титулы. Им нет и не будет дела до народа. Эти люди ничему не учатся и ничего не забывают.

(Это отец сказал ему: «Бурбоны ничему не научились и ничего не забыли».) Мысль об отце взволновала его, и ему захотелось передать это волнение народу. Его голос окреп.

— Лишив сейчас жизни четырех, мы можем впоследствии спасти тысячи, сотни тысяч жизней. Нужно решить, стоим ли мы за народ, или-то ли по глупости, то ли по злому умыслу — против него.

Он чувствовал, что теряет самообладание, что теперь его устами говорит голос более могучий, чем его собственный.

— Когда неподкупный Робеспьер потребовал голову Людовика Капета, он сказал Конвенту так: «Король — не обвиняемый, вы — не судьи. Вы государственные деятели и представители нации — и ничто иное. Вы призваны не вынести приговор за или против человека, но принять решение во имя общего блага, вершить дела во имя государства». Разрешите мне сказать вам сегодня: министры должны умереть чтобы народ мог жить в мире и благополучии. Для нас есть только один лозунг:

«Смерть министрам!»

Публика за деревянной балюстрадой отозвалась рукоплесканиями и дружным хором:

— Смерть министрам!

Не все члены общества присоединились к аплодисментам. Кое-кто глядел на Галуа со смешанным чувством негодования и изумления. Эварист увидел лицо Пеше д'Эрбинвиля, с иронической улыбкой шептавшего что-то соседу. Мельком увидел сочувственно кивавшего головой Распая. Следующих ораторов Галуа не слушал. Он без конца перебирал в уме сказанные фразы, вспоминал, что еще нужно было бы сказать. Из отдельных слов, которые доходили до сознания, он понял, что не все республиканцы желают министрам смерти. Но аудитория много раз прерывала их криком, к которому он прислушивался с радостью:

— Смерть министрам!

Собрание кончилось. К Галуа подошел Распай.

— Ваша речь мне понравилась, Галуа.

Эварист покраснел:

— Очень рад.

Вместе вышли на улицу Ришелье, повернули налево, вокруг Лувра, к набережной Эколь.

Распай нарушил молчание:

— Речь ваша мне понравилась логикой и точностью. Вы сказали именно то, что хотел сказать я. Вы, по-видимому, знаете, что самое важное — заставить народ понять, что происходит, укрепить в нем волю к борьбе. — Он скорей говорил с самим собою, чем с Галуа. — Без народа мы бессильны. Когда же снова разразится его гнев? Когда сметет он трон Луи-Филиппа? Достаточно ли значителен вопрос о наказании министров, чтобы дать толчок победоносной революции? Никто не знает.

— Вы верите, что народ может скоро восстать? — шепотом спросил Галуа.

Распай задумчиво смотрел на Сену.

— Как знать? Мы еще слабы. Среди нас царит разброд. Мы редко сходимся в выборе тактики, в решении спорных вопросов. Среди нас есть люди, с которыми трудно работать; шпионы, которых считают самыми ярыми республиканцами. Приходится бороться не только с порядками Луи-Филиппа, но и с бонапартистами, котором хотелось бы посадить на французский престол Наполеона Второго; с легитимистами, которым хотелось бы Генриха Пятого. Но придет и наше время. Я, может быть, и не доживу до него. Значит, доживете вы. Я верю, что наши старания приблизят этот день. А вы?

— Твердо верю, — почти неслышно отозвался Галуа.

Замолчали. И тут они услышали, как к набережной Эколь направляется шумная толпа. Вскоре явственно послышались крики:

— Смерть министрам!

Декабрь 1830 года

Эварист перешел на второй курс новой Нормальной школы. Он знал: он здесь не для того, чтобы учиться, а для того, чтобы сеять недовольство. Не тащиться кое-как вперед еще два невыносимых года, а сеять любовь к республике и недоверие к директору. Однако единственное, чего добился Эварист, была ненависть одноклассников, пришедшая на смену холодному равнодушию. Задуманная Эваристом и его республиканской группой кампания в Нормальной школе потерпела неудачу. В результате Эварист стал посмешищем, а престиж мосье Гиньо возрос. На декабрь было назначено публичное выступление.

Эварист выступил. И сразу начали твориться странные дела. Преподаватели перестали замечать и спрашивать Галуа. Товарищи поглядывали на Эвариста искоса, перешептывались и, когда он подходил ближе, внезапно замолкали. Студентов вызывали в кабинет директора и его помощников. Они возвращались оттуда с важным и таинственным видом. Но вот накаленная атмосфера разразилась внезапной бурей.

9 декабря в учебную аудиторию, где собрались все учащиеся, явился мосье Гиньо в сопровождении помощника директора мосье Жюмеля и надзирателя мосье Хэбера. Дрожащей рукой директор нес газету. Он заговорил, и голос его трепетал не столько от гнева, сколько от скорби. Сегодня ораторским приемам места не было. Только опытный слушатель мог заметить, как искусно раздута скорбь и подавлена злоба.

— Я должен поговорить с вами об очень серьезном деле. Среди вас есть Иуда!

Слова произвели нужное впечатление: аудитория застыла. Теперь — подбавить еще холоду, пока в положенное время не раздастся взрыв.

— У меня перед глазами листок, который называется «Газетт дез Эколь» («Школьная газета»). В ней напечатана статья, незаслуженно, в грязных и вульгарных выражениях подвергающая меня оскорблениям. Я уверен, что вы, к кому я обращаюсь с этими словами, поверите мне: появление этой заметки меня совершенно не волнует. Если бы дело было только в ней, я бы выбросил грязный листок и тотчас же забыл о нем.

Но произошло нечто чудовищное и неслыханное! Впрочем, я не могу говорить об этом, не прочитав вам прежде отрывок этой мерзости. Да простится мне, если я оскверню воздух нашей Нормальной школы.

Он надел очки.

— Я прочту конец этой статейки, ибо, как вы увидите, я *должен* прочесть его. Прошу слушать каждое слово. Так называемый редактор в конце пишет:

> «Мы не можем завершить нашу статью лучшим образом, чем приведя следующее поступившее к нам письмо:
>
> «Господа!
>
> Помещенное вчера в «Лицее» письмо мосье Гиньо по поводу одной статьи вашей газеты показалось мне весьма неуместным. Думаю, что вы будете рады приветствовать каждую возможность сорвать маску с этого человека.
>
> Вот факты. Их могут подтвердить сорок шесть студентов:
>
> 28 июля многие студенты Нормальной школы хотели пойти на баррикады. Мосье Гиньо дважды заявил, что может обратиться в полицию, чтобы водворить в школе порядок. В полицию — 28 июля!
>
> В тот же день мосье Гиньо со свойственной ему любовью к точности сказал нам: «И с гой и с другой стороны полегло много храбрецов. Будь я военным, я не знал бы, на что решиться. Чем пожертвовать — свободой или присягой королю?»
>
> Вот каков человек, который на другой день нацепил себе на шляпу трехцветную кокарду!
>
> Все свидетельствует о том, что это ограниченный человек, совершенно лишенный чувства нового. Надеюсь, вы будете рады узнать эти подробности и ваша уважаемая газета извлечет из них возможно большую пользу».

Он положил листок на кафедру.

— Если бы не подпись, меня бы не задело это письмо, со всей ложью и клеветой, которые в нем содержатся. Оно подписано: *Студент Нормальной школы*. Письмо сопровождается примечанием редактора:

«Помещая это письмо, мы решили не оглашать подпись, хотя нас об этом не просили. Следует заметить, что сразу же после трех памятных июльских дней мосье Гиньо объявил во всех газетах, что представляет студентов в распоряжение временного правительства».

Он снял очки и повертел их в руках.

— Кажется невероятным, что среди вас нашелся хотя бы один, кто мог так трусливо и подло поступить с нашей Нормальной школой, товарищами, со мной. Единственное, что мне остается сделать, это найти его, опросив каждого из вас в отдельности.

Повелительным жестом он указал на первого студента в первом ряду.

— Не вы написали это письмо?

— Конечно, нет, мосье.

Затем на второго:

— Вы, может быть?

— Нет, мосье.

Еще восемь вопросов — он рассчитал, и этот тип будет у него в руках. И минуты не пройдет.

Третьему:

— Вы писали письмо?

— Нет, мосье.

— Вы?

Ответа не последовало. Что-то пошло не так.

Он строго повторил:

— Второй раз спрашиваю, вы писали это письмо?

Он показал пальцем на четвертого студента в первом ряду:

— Не знаю, мосье, как ответить.

— Не знаете, вами ли написано письмо?

— Нет, мосье, знаю. Но я знаю также, что, ответив «нет» на ваш вопрос, я выдаю товарища.

«Паршивый щенок! — подумал директор. — Да как он смеет?» Без всякого перехода спокойствие мосье Гиньо внезапно рухнуло. Он грохнул кулаком о кафедру и неистово закричал:

— Боитесь выдать товарища? Какое благородство! Какая верность Иуде! Сегодня, молодой чело — зек, вы укрываете преступление, завтра станете соучастником. — Его крики слились в бушующий поток. — Я знаю, кто это сделал. Я узнаю гнойную язву на теле нашей школы, этого Иуду, который прячется среди нас.

Он сошел с кафедры, поравнялся со вторым рядом и указал

на Эвариста.

— Вы! Вы это сделали! Попробуйте только возразить!

— Мосье…

— Не смейте разговаривать. Никогда больше не попадайтесь мне на глаза. Никогда! Слышали? Никогда! Складывайте вещи и убирайтесь. Ничего, мы отделаемся от этого студента. Хуже школа еще не видывала. Вон отсюда!

— Мосье, вы не имеете права…

— Молчать! Или, клянусь богом, я вас ударю. Вон! Убирайтесь…

Он повернулся к двоим, стоящим на сцене:

— Вами займутся мосье Хэбер и мосье Жюмель. Отправляйтесь сегодня же. Никогда больше не желаю ни видеть, ни слышать вас.

Он хлопнул дверью, вошел в кабинет и тяжело опустился на стул. Отер пот со лба. Пропади он пропадом, этот Галуа! И этот четвертый в первом ряду. Мосье Гиньо взял лист бумаги и принялся за письмо. Неровный, дрожащий почерк постепенно сделался увереннее, аккуратнее. Чем добродетельнее были его доводы, тем больше несправедливых обвинений он сыпал на голову Эвариста. Он писал:

«Господин министр!

С глубокой скорбью вынужден я немедленно до вести до вашего сведения о мере, которую мне пришлось принять на собственную ответственность и которую прошу вас безотлагательно утвердить. Я только что исключил из Нормальной школы и препроводил домой, к матери, ученика Галуа по причине, указанной в письме, которое я имел честь вам написать третьего дня.

Речь идет о письме, помещенном в номере «Газетт дез Эколь» — назовем ее своим именем — за тот же день, откровенно подписанном: *Студент Нормальной школы*. Со мной говорили многие из тех, кто читал это письмо. Все считают, что оно слишком глубоко задевает честь школы. Я не могу оставить этот проступок безнаказанным. Правда, все учащиеся сразу же отнеслись к письму неодобрительно. Быть может, этого и достаточно, чтобы успокоить их совесть, но мало для торжества справедливости и для того, чтобы поддержать мой авторитет.

Судя по всему, мне было ясно, что автором письма является Галуа. Я решил, что школа больше не может нести тяжелую ответственность из-за одного человека. Виновный был обнаружен, и я не мог оставаться с ним под одной кровлей. Поэтому, на свой страх и риск, я исключил его, с запозданием сделав то, на что двадцать раз не решался в прошлом и с самого начала текущего

года.

В самом деле, Галуа — единственный, кто с самого момента поступления в школу давал основания для непрерывных жалоб со стороны учителей и надзирателей.

Однако я слишком высоко ценил его несомненное математическое дарование. Я не доверял собственным впечатлениям, потому что был уже предубежден против этого ученика. Таким образом, я мирился с неровностями в его поведении, с его леностью, нетерпимым характером. Я не надеялся повлиять на его натуру, но стремился довести его до конца второго курса, чтобы не причинять горя его матери, которой, как мне известно, приходится рассчитывать на будущее сына. Все старания были напрасны. Я мог прощать ему мои собственные обиды, но с прошлого воскресенья убедился, что это зло исправить нельзя. Юноша совершенно лишен чувства нравственности, и, быть может, уже давно».

Он посмотрел на последнюю фразу и машинально пробормотал: «Совершенно лишен чувства нравственности…»

Злоба улеглась, вернулось ощущение собственного достоинства.

С нетерпением ждал директор ответа министра. Понадобился почти месяц, чтобы заржавленная бюрократическая машина бросила долгожданное письмо в протянутую руку мосье Гиньо. Директор прочел с облегчением.

— Так. Министр одобрил. Значит, поскольку это касается меня, с Эваристом Галуа кончено. Больше я не увижу его. И не услышу!

И все-таки он услышал. Сначала это ему не причиняло неудовольствия; было, пожалуй, даже приятно, просматривая свежие газеты, читать об этом паршивце. Утешительно знать, что — вот оно, напечатано — вся Франция может убедиться в том, что ему самому уже давно известно: этот юноша совершенно лишен нравственных устоев. Директор с гордостью сообщал коллегам:

— Я знал, что это за тип. Пустозвон, лоботряс! Пришлось исключить из Нормальной школы.

Около 1850 года Галуа начал приобретать известность как математик. Мосье Гиньо было пятьдесят шесть лет Когда его спрашивали о бывшем студенте, он обычно говорил:

— Галуа очень рано обнаружил необычайные способности к математике. У нас в Нормальной школе это было хорошо известно. Разумеется, мы ведь не безмозглые экзаменаторы из Политехнической школы. Два раза провалить его! Можно ли представить себе большую тупость?

— А он кончил Нормальную школу?

— Нет! Насколько я могу припомнить, он слишком хорошо знал математику и после первого курса оставил школу.

В 1870 году знаменитый французский математик Камиль Жордан написал толстую книгу — на 667 страницах — о теории подстановок. В предисловии он отметил, что его работа лишь толкование рукописей Галуа. Именно эта книга сделала теорию Галуа достоянием всего математического мира. Она принесла Галуа славу, все возраставшую, пока имя его не стало одним из тех немногих великих и блестящих имен, которые история математики сохранит навеки.

1876 год был последним в жизни мосье Гиньо. Ему было восемьдесят два года.

Уже много раз и математики и люди других профессией спрашивали его о бывшем студенте Эваристе Галуа. К этому времени вялость и безразличие овладели мосье Гиньо. Он слишком долго жил, слишком много видел, помнил три революции, власть трех королей и двух императоров. Шамкая беззубым ртом, он бормотал в ответ всегда одно и то же:

— Галуа? Помню. Странный был юноша. Очень странный.

VI «ЗА ЗДОРОВЬЕ ЛУИ-ФИЛИППА»

Вторник, 21 декабря 1830 года

После исключения из Нормальной школы Галуа вступил в 3-ю артиллерийскую батарею национальной гвардии. Купил себе яркую и дорогую форму: синий военный мундир с красными эполетами, фуражку, украшенную красным султаном из конского волоса, и брюки с красной полоской. Два раза в неделю с шести до десяти утра он проходил ученье во дворе Лувра. Раз в неделю отправлялся в Венсенн на стрельбы.

Национальная гвардия была мечом буржуазии.

Теоретически в нее мог вступить каждый, но очень простая уловка закрывала путь беднякам: гвардейцы были обязаны приобрести дорогое обмундирование. У людей в лохмотьях денег на форму не было. Прослойка республиканцев была слишком мала, чтобы изменить порядки или повлиять на действия национальной гвардии.

Новый лозунг республиканцев гласил: «Вступайте в артиллерию национальной гвардии!» Артиллерия состояла из четырех батарей. Во второй и третьей батареях республиканцы составляли большинство. В четвертой — около половины. Только в первой, членом которой был сын Луи-Филиппа, республиканцев было меньшинство.

Наступило 21 декабря, день, которого республиканцы ждали с надеждой, правительство — со страхом. Республиканцы были готовы. Готова и гвардейская артиллерия. Но был готов и Луи-Филипп со своей национальной гвардией.

Шел последний, решающий день суда над министрами Карла X. Скоро в Люксембургском дворце палата пэров объявит приговор. Улицы вокруг дворца были оцеплены войсками и частями национальной гвардии. У южных дверей, ведущих в сад из Обсерватории, находились две роты улан и шестьсот солдат. Шесть тысяч военных окружили дворец. Вокруг них, среди них плотной толпой стояли взволнованные парижане.

В толпе раздавались крики:

— Смерть министрам!

— Во дворец!

— Смерть министрам!

Не прошло и полугода с той поры, когда народ подхватил крик буржуазии: «Да здравствует хартия!» Сейчас брошенный народом лозунг «Смерть министрам!» привел в замешательство национальную гвардию, защитников общественного порядка и частной собственности. Гвардия вспомнила единение с народом в июльские дни.

Кое-кто пошел бы за народом сейчас, как пошел за ними народ пять месяцев назад, если бы не мысль: «Мы не сможем поддержать порядок, и тогда не миновать грабежа».

Национальная гвардия не тронулась с места.

На площади Пантеона профессору Араго повстречалась группа, вооруженных дубинками людей, повторяющих боевой клич этого дня:

— Смерть министрам!

Профессор предупредил их, что они играют на руку врагам. Они дают повод для применения грубой силы — силы, которая обратится против них. Возвышенные речи великого мужа науки и либерала были прерваны:

— Молчите! Не желаем слушать.

Араго заволновался:

— Неужели вы не видите, что я разделяю ваши взгляды?

— У людей, одетых по-разному, одинаковых взглядов не бывает.

Человек, которому принадлежали это слова, схватил Араго за одежду и толкнул к фонарному столбу. В эту минуту раздался громкий пушечный выстрел.

— К оружию! К оружию! В Лувр!

И, оставив Араго у фонаря, толпа устремилась к Лувру.

В это же время на площади Одеон к другой толпе обратился Лафайет. Старик ждал, что его примут так же почтительно и восторженно, как встречали всегда и везде. Но сегодня толпа была разъярена. В лицо ему снова и снова летели слова: «Смерть министрам!»

Лафайет говорил с толпой, как с нашалившими детьми:

— Идите по домам. Прошу вас, расходитесь с миром.

Никто не шелохнулся.

— Не узнаю июльских бойцов.

— Очень может быть, — ответил кто-то. — В июльские дни вас с нами не было.

В эту минуту раздался пушечный выстрел.

— К оружию! В Лувр!

И, оставив Лафайета, толпа устремилась к Лувру.

Когда Луи-Филипп услышал пушечный выстрел, он вздохнул с облегчением. Он понял, что это значит. Это был знак, что заключенные благополучно прибыли в Венсеннский замок. Он знал, что их не осудят на смерть, но боялся того, что могло произойти по дороге в тюрьму. Что касается всего прочего, он готов. Он не проиграет сражения. Он не так глуп и слаб, как Карл X.

21 декабря вместе со всеми артиллеристами Галуа находился во дворе Лувра. План артиллеристов-республиканцев был прост. Сказать по правде, их план страдал всего одним пороком: он был чересчур прост. Составляя его, республиканцы не учли, что новый порядок куда умнее и безжалостней глупых старых порядков Карла X.

План был таков: в последний день суда гвардейская артиллерия остается в Лувре. В июльские дни решающий момент революции наступил с поражением швейцарцев и взятием Лувра. А сейчас, еще до того как начнется битва, Лувр уже будет в руках артиллеристов, которые в большинстве своем стоят за народное дело. Здесь они дождутся появления восставших, потом откроют ворота, передадут народу орудия и пойдут вместе с ним в бой.

В караульном помещении Лувра обсуждали события дня, говорили о литературе, науке, женщинах, играли в карты. Вошел артиллерист, шепнул что-то командиру третьей батареи Бастиду.

— Не может быть! — взволнованно вскричал Бастид.

— Посмотрите сами.

— Артиллеристы третьей батареи, за мной! — скомандовал Бастид.

Охватив ружья, все выбежали во двор, где группа

артиллеристов первой батареи разбирала пушку. Обнажив шпагу, Бастид одним прыжком оказался в самой гуще:

— Прочь отсюда! Немедленно прочь, или, клянусь, я убью каждого из вас!

Навстречу поднялся офицер:

— Капитан Бастид! Я командир Барре.

— Будь вы хоть сам сатана, мне наплевать. Убирайтесь! Мне приказано, чтобы никто близко не подходил к орудиям без моего разрешения. Проваливайте.

Барре и его люди отступили. Артиллеристы привели пушку в порядок. Бастид поставил у орудия часовых, которые должны были ежечасно сменяться. Первыми вызвались стоять в карауле Галуа и Дюшатле. Оба служили в третьей батарее.

Когда они остались вдвоем, Галуа сказал:

— Из этого ничего не получится. Перегрыземся здесь все между собой, вместо того чтобы сражаться в одних рядах с народом. Однажды, когда мы и сами на это не надеялись, нам удалось выиграть революцию, хотя мы просто выжидали. И только поэтому они решили, что опять произойдет то же самое. Вот увидите: ничего не выйдет, если мы не возьмем это дело в свои руки.

Усталый, продрогший и голодный Дюшатле молчал. Галуа с удивлением заметил, что товарищ ни разу не прервал его.

— Я говорил с ними. Пытался им втолковать, что нельзя выиграть сражение, дожидаясь удобного момента. Он может вовсе не наступить. Нужно отдать орудия народу и поднять его на борьбу. Действовать надо, а не сидеть сложа руки.

Дюшатле опять не отозвался. Его молчание стало раздражать Галуа.

— Как по-вашему? Я прав?

— У нас тут хватает умников. Что мне рассуждать? Пусть думают Кавеньяк, Бастид, Распай. Я исполню свой долг. Для черной работы Дюшатле пригодится. Я доволен, что с меня снимают ответственность, что кто-то думает вместо меня. И какая муха вас укусила? Вы артиллерист, значит вам положено слушаться офицеров. Вот и слушайтесь. А вы вместо этого целый день убеждаете их изменить план действий. С какой стати они будут вас слушаться? Кто вы такой? Какой-то парень, две недели тому назад надевший форму. Какое право мы имеем их поучать? Мы никто, просто молодые люди. Еще не каждый в нас уверен. Ясно, что я имею в виду?

— Ясно, черт возьми! Республиканцы, да и другие, все они уверены, что мудрость приходит с опытом и годами. Ох, Дюшатле! Тошно от того, как устроен этот мир. Меня никто не

желает слушать. Я всегда одинок.

— Теперь вы, кажется, готовы заплакать? Да ведь вы совершенно не правы. Когда вы мне впервые попались на глаза и я увидел, что вы не дурак, вы именно этим мне пришлись по душе. Правда, порой и от вас хочется бежать куда глаза глядят. Но вы думаете, всем нравятся умные молодые люди? Думаете, республиканец обязан быть чем-то необыкновенным и не имеет права завидовать? А он сплошь да рядом не лучше всякого другого. Просто он случайно оказался с теми, на чьей стороне правда. Возьмите Пеше д'Эрбинвиля. Он совсем не глуп. Но я заметил, какими глазами он смотрит на вас. Он вас не любит. Ему бы хотелось, чтоб умней его никого не было. Со мной он ладит: я не опасен. Язык у него подвешен лучше моего; место он всегда будет занимать более важное, чем я. Вы другое дело. Вы можете его обогнать. Понятно? Одного на свете вы не понимаете: человеческой натуры.

Галуа прервал его:

— Человеческая натура! Судя по тому, что я испытал и чему научился, я питаю к ней глубочайшее отвращение. Я следил за ее проявлениями и в школьные годы, и когда обращался в академию, и даже здесь, среди республиканцев. Людей вообще я люблю, но взятых в отдельности — я их за очень редким исключением ненавижу, терпеть не могу, не выношу, презираю.

— Неправда, — пробурчал Дюшатле.

— О, вы и не знаете, друг мой, как я мучаюсь. Я ненавижу самого себя за ту ненависть, которая растет в моем сердце. Ее заронили туда учителя, экзаменаторы Политехнической школы, академики, короли. Там она растет и растет. Вырвать ее можно только вместе с моим сердцем, моей жизнью.

Взглянув на сведенное напряжением лицо Эвариста, Дюшатле испугался, как бы его друг не заплакал.

— Я понимаю, Эварист, — мягко сказал он. — Настоящие друзья вас знают, вы дороги им такой, как есть.

Оба помолчали. Когда их дежурство кончилось, они пошли в караульное помещение. Там было тепло. Стоял присущий всем караульным помещениям в мире смешанный запах пота, кожи, спирта, вина и грязи.

Галуа присел в углу, взял бумагу, стал писать. Кончив, он быстро прошел на середину комнаты и вскочил на стол, за которым несколько артиллеристов играли в карты. Эварист нарушил их игру, сшиб карты на пол.

— Слезай, подлец! — рявкнул один из игроков. — Не видишь, что ли, мы тут заняты?

Изо всех сил Галуа закричал:

— Артиллеристы! Я хочу прочитать воззвание! «К оружию! К оружию!.»

— Заткнись! Хватит с нас. Наслушались вдоволь.

Кто-то подошел к Галуа, вырвал из рук бумагу и разорвал в клочья. Галуа спрыгнул со стола и на лету повалил наскочившего артиллериста на пол. Артиллерист силился приподняться. Сцепившись, они боролись на полу.

Внезапно распахнулась дверь, раздался неистовый вопль:

— Нас окружили! Национальная гвардия и линейные части!

— Выходить с ружьями! — скомандовал Бастид.

Повернувшись к дерущимся, он добавил: — Прекратите. На сегодня достаточно.

Оба быстро встали на ноги, как будто между ними ничего не произошло, взяли ружья и вышли во двор.

Лувр был действительно окружен плотным кольцом. Очаг революции, который мог бы воспламенить весь Париж, был теперь отрезан. Ворота были закрыты. Только силой могли артиллеристы прорваться наружу. Только силой могла войти в Лувр национальная гвардия.

И вот раздался громкий пушечный выстрел.

Крик «К оружию!» охватил Париж.

Смешавшись с народом, республиканцы повели толпу на Лувр. Но когда они прибыли туда, их встретило двойное кольцо национальных гвардейцев и солдат. Внутренняя цепочка была обращена к Лувру, внешняя — к народу, стремившемуся проникнуть во дворец снаружи. Люди не бросились на гвардейцев. Гвардейцы, стоявшие к ним лицом, не напали на народ. Внутри кольца положение было точно таким же: ни гвардейцы, ни артиллеристы не трогали друг друга. И только град оскорблений и ругани сыпался с обеих сторон:

— Смерть министрам!

— Преступников защищаете!

— В июле вы дрались с нами, а теперь вы против нас!

— Мятежники!

— Республиканцы проклятые!

Артиллеристы каждое мгновение ждали, что на них нападут. Они были наготове. Даже спящие не выпускали ружей из рук.

Наступил день. Все устали. Было пасмурно, холодно, пошел мокрый снег. Никому не хотелось больше думать о революции. Хотелось есть, спать. Вспомнили, что наступает рождество. Два кольца национальных гвардейцев стали не такими уж плотными. Виноторговцы, мясники, пекари проникали через цепи и продавали свой товар артиллеристам, просовывали его сквозь железные решетки. Таким же образом получали деньги. Трагедия

превращалась в фарс. Все больше народу пробиралось сквозь оцепление. Между артиллеристами из Лувра и их женами, друзьями и невестами, стоявшими за оградой, завязались оживленные разговоры.

22 декабря в Париже все еще царило напряжение. Теперь все уже знали — одни из газет, другие от соседей, — что министры приговорены к пожизненному тюремному заключению, а не к смертной казни. На каждом углу бурлили митинги протеста. Любой пустяк мог нарушить равновесие и послужить толчком для революции. На улицах появились воззвания, призывающие к порядку. Они были подписаны Лафайетом и произвели весьма слабый эффект.

Утром этого дня произошло событие, склонившее чашу весов. Король и придворные вовремя вспомнили о роли, которую в июльские дни сыграли студенты. Своевременно вспомнили они о славе, озарявшей в глазах народа форму слушателя Политехнической школы. Теперь директоров школ попросили обратиться к студентам:

«Выйдите на улицы! Идите все! Идите и призывайте к умеренности. Убедите народ, что ему сохранят свободу. Верьте, что так и будет. Исполните ваш славный долг. Предотвратите кровопролитие в интересах человечества, в интересах народа, в интересах Франции».

Призыв подействовал. Слушатели Политехнической школы и студенты других школ вышли на улицу, на этот раз с благословения наставников. Они говорили, убеждали и повторяли народу заверения, которые слышали сами: что свобода останется неприкосновенной. Люди устали, замерзли. Национальная гвардия и студенты их не поддержали. От республиканских руководителей, окруженных в Лувре, они были отрезаны. У людей пропало желание сражаться. Стали расходиться по домам. Тогда отошла национальная гвардия. А потом раскрылись и ворота Лувра. Артиллеристы тоже разошлись.

Свой долг по отношению к королю Лафайет выполнил. Под командой старого генерала национальная гвардия защитила короля и его режим. В Париже царил порядок. Не было пролито ни капли крови.

По всем правилам старому генералу следовало теперь справедливое вознаграждение. Но, получив еще большую власть, Лафайет мог оказаться опасным для Луи-Филиппа, которому сослужил столь верную службу.

Палата депутатов не могла позволить себе открыто выступить

против Лафайета. Вместо этого она прибегла к магическому средству: упразднила пост главнокомандующего национальной гвардией. Лафайету не отказали от места. Его не столкнули со стула, где он сидел раньше. Нет! Убрали стул, и только.

Благородного старика, героя старого и нового света, просто надули. Его тщеславию льстили до тех пор, пока не оказалось, что он служит политике, которая всегда была ему чуждой. Потом, когда он сделал свое дело, когда нашли, что он не так уж необходим, его услуги были отклонены. Меч буржуазии — национальную гвардию вырвали из его рук. В последний день 1830 года король подписал приказ о роспуске артиллерийского корпуса национальной гвардии. Так был вырван меч из рук республиканцев.

13 января 1831 года

В первых числах января «Газетт дез Эколь» поместила объявление:

> «Бывший студент Нормальной школы Эварист Галуа прочтет для студентов курс лекций по алгебре. Лекции будут происходить в четверть второго по четвергам. Они рассчитаны на молодых людей, которые, зная, как неполно изучается алгебра в коллежах, желают углубить свои познания в этой науке. Курс состоит из новых теорий, ни одна из которых ранее не была изложена в публичном курсе. Достаточно назвать новую теорию мнимых величин; теорию уравнений, разрешимых в радикалах; теорию чисел и эллиптических функций, рассматриваемых чистой алгеброй. Лекции начнутся в четверг, 13 января, в книжной лавке Кейо, улица Сорбонны, 5».

На первую лекцию Галуа пришли человек сорок. Среди них несколько бывших студентов Нормальной школы, которым хотелось снова увидеть странного юношу, недавно исключенного оттуда. Несколько друзей-республиканцев, которые пришли, чтобы увеличить аудиторию. Пришел Шевалье, который и подал Галуа мысль об этом курсе в надежде, что явится кто-нибудь из математиков, что они оценят работу Галуа и создадут ему известность. Но математики не пришли. Были только студенты, которые собрались послушать интересную лекцию по школьной алгебре. И, наконец, это странное сборище дополняли два

полицейских шпиона.

В комнате, примыкавшей к книжной лавке мосье Кейо, было душно. Сильно пахло старыми книгами. Скудный свет, пробивавшийся сквозь маленькие высокие окна, освещал пыль, старые деревянные скамьи. Свет резко сменялся тенью, то исчезая, то снова появляясь, в такт проплывающим облакам. Здесь решил прочесть курс своих теорий — каждому, кто вздумает послушать, — величайший французский математик той эпохи.

Эварист вошел в комнату. Он не ожидал, что придет так много народу, и это удивило и обрадовало его. Он обвел глазами аудиторию, надеясь увидеть новые лица, пытливые взгляды. Их не оказалось. Поймал только ободряющий взгляд Шевалье и ответил на него слабой улыбкой. Затем начал свою тщательно подготовленную лекцию.

— Мы знаем, что из всех областей человеческого знания наиболее отвлеченной, наиболее логичной областью, единственной, которая не прибегает к миру наших чувственных впечатлений, является математика. Часто заключают, что математика в общем самая последовательная наука, гармонически связанная в единое целое. Однако это заблуждение. Возьмите любую книгу по алгебре, будь то учебник или научное исследование, и вашим глазам откроется беспорядочная масса теорем, строгость которых удивительно не вяжется с путаницей в общей структуре. Может показаться, что автор так дорожит своими идеями, что связать их для него — непосильный и неприемлемый труд. Ум его настолько истощен представлениями, которые легли в основу работы, что не в состоянии родить ни одной мысли, которая связала бы воедино отдельные части этой системы.

Порой кажется, что вы натолкнулись на метод, взаимосвязь, правильное соотношение частей. Но все оказывается неверным, искусственным. Вам встретится ничем не оправданное деление материала на разделы, встретятся произвольные объединения, традиционная устаревшая классификация. Этими пороками, куда более грубыми, чем отсутствие какого-либо метода, грешат главным образом книги, написанные людьми, которые не знают, о чем пишут.

Все это должно показаться особенно удивительным тем, для кого слово *математика* равнозначно слову *точность*.

Можно удивиться еще больше, если учесть, что все эти математические исследования направлены скорее на поиски истины, чем на овладение знанием.

Совершенно ясно, что если бы нашелся ум, способный разом

охватить все истины математики, — не только известные нам, но и всякую истину, какая вообще возможна, — этот ум, используя единый метод, мог бы точно и механически вывести эти истины из немногих аксиом. На его пути не встали бы трудности, с которыми сталкивается в своих исследованиях ученый. Ученому приходится работать иначе. Перед ним стоит более трудная, а значит, и более благородная задача.

Развитие науки идет не прямой дорогой. Наука, идет вперед причудливыми путями, и немалую роль в ее движении играет случай. Наука живет примитивной, грубой, беспорядочной жизнью. Это справедливо не только для науки в целом, но и для каждого исследования. Создавая, ученый не приходит к новому путем логических выводов. Он сочетает, сравнивает. Он не приходит к истине, а как бы случайно наталкивается на нее.

Каждую эпоху характеризуют определенные проблемы. Эти проблемы занимают лучшие умы. Случается, как бы по какому-то откровению, что одни и те же мысли высказывают одновременно несколько ученых. Если мы попробуем выяснить причины этого странного явления, мы придем к работам других, более ранних ученых. В них мы находим источник новых открытий, даже если сами эти истины были в то время безусловно неизвестны.

От такого совпадения идей, возникающих одновременно в головах разных ученых, наука не слишком выигрывает. Его плоды в основном — это жестокое соревнование, унизительное соперничество. Таким образом, можно прийти к справедливому заключению, что, как и все другие, ученые созданы не для уединения. Они связаны с эпохой. Объединившись, они могли бы приумножить свои достижения в десятки раз и ускорить развитие науки.

Математиков наших дней занимают многочисленные вопросы нового характера. Некоторые из них мы здесь рассмотрим.

Я изложу здесь наиболее общую, наиболее философскую часть моих исследований, опубликовать которые доныне мне мешали тысячи препятствий. Я не стану усложнять изложение примерами или отступлениями, в которых зачастую тонут общие представления иных математиков. Я буду добросовестно излагать эти представления, открыто указывая, каким путем я их получил и какие затруднения мне пришлось преодолеть. Таким образом, слушатель пойдет тем же путем, которым шел и я. Если это удастся, я с чистой совестью скажу себе, что сделал хорошее дело. Пусть я не сделаю ценного вклада в науку, я по крайней мере подам пример искренности, столь редкой в наши дни.

После этого вступления он перешел к специальным подробностям. Но и вступление было едва ли понято.

Большинство слушателей до такой степени поразил этот девятнадцатилетний юноша, говоривший с видом большого ученого, — так уверенно в себе, так критически по отношению к другим, — что они не могли решить, сумасшедший он или гений. Ничего не поняв из того, что он сказал, они сделали удобное для себя заключение, что лектор и сам не знает, о чем говорит.

На следующей неделе пришло только десять человек, на третьей — четверо. Это была последняя лекция Галуа.

16 января 1831 года

По настоянию Шевалье Эварист последовал совету Пуассона и написал для Французской академии новую рукопись. Еще раз просмотрел одиннадцать больших страниц: «Что-то теперь вас ждет?» Он улыбнулся. Потом переписал с лежащего перед ним черновика заглавный лист и введение.

«ОБ УСЛОВИЯХ РАЗРЕШИМОСТИ УРАВНЕНИЙ В РАДИКАЛАХ

Прилагаемая рукопись является кратким изложением работы, которую я имел честь представить в академию год тому назад. Эта работа осталась непонятой. Теоремы, содержавшиеся в ней, были подвергнуты сомнению. Таким образом, я должен удовольствоваться кратким изложением основных положений и привести лишь один-единственный пример применения моей теории. Умоляю ценителей моей работы внимательно прочитать хотя бы эти немногие страницы.

Читатель найдет здесь *одно* общее условие, которому должны удовлетворять все уравнения, разрешимые в радикалах, и которое, со своей стороны, гарантирует их разрешимость. Это условие применимо только к уравнениям, степень которых является простым числом. Ниже следует теорема, полученная в результате нашего анализа:

«Для того чтобы неприводимое уравнение любой степени было разрешимо в радикалах, необходимо и достаточно, чтобы все его корни были рациональными функциями любых двух из них».

Другие применения являются сами по себе особыми теориями. Более того, они делают необходимым применение теории чисел и особого алгоритма; оставим их на другой случай. Они частично связаны с модулярными уравнениями теории эллиптических функций, которые, как мы покажем, не могут быть разрешены в радикалах».

Он написал число: 16 января 1831 года. Подписался. В тот же

день новая рукопись Эвариста Галуа была послана во Французскую академию — в третий и последний раз.

13 февраля 1831 года

Приходский священник церкви Сен-Жермен Локсеруа был очень стар. Он еще провожал на эшафот Марию Антуанетту. (Слезы текли у него по щекам, когда голова королевы упала с плеч.) Сегодня, 14 февраля 1831 года, в годовщину убийства герцога Беррийского, старому приходскому священнику предстояло отслужить заупокойную мессу.

Аббат Сен-Жермен Локсеруа Паравэ был молодым человеком. Он освящал могилы тех, кто погиб во время трех славных июльских дней. И присутствовать на мессе за упокой души герцога он отказался.

Перед церковью Сен-Жермен Локсеруа выстроился ряд блестящих экипажей. К заупокойной мессе явились аристократы, чтобы показать верность памяти покойного герцога, верность его отцу, королю-изгнаннику Карлу X, и сыну герцога, законному королю Франции.

В толпе, наблюдающей за этим парадом богатства и печали, Галуа увидел девушку, которая вышла из великолепной кареты. На ней было черное платье и черная шелковая накидка, которая не столько скрывала, сколько обрисовывала ее фигуру. Простую шляпку украшали черные ленты. Она держалась властно, с достоинством, заставлявшим прохожих уступать ей дорогу и глядеть вслед широко открытыми глазами. Когда она поднималась в церковь, накидка распахнулась и стала видна белизна ее кожи, полная грудь. Брильянтовый крест, висевший у нее на шее, казался не символом набожности, но искрящимся украшением. Прежде чем войти в церковь, она повернулась и окинула взглядом толпу. Полузакрытые глаза на ангельском лице смотрели надменно, вызывающе. Они быстро переходили с одного лица на другое, и вот — Галуа мог бы поклясться, что это правда, — надолго остановились на нем.

Он почувствовал, как под взглядом этого дерзкого ангела у него запылало лицо, огонь пошел по телу, забурлила кровь. Его волнение росло, рождая мысли, видения, образы, от которых он загорался еще сильнее. Он видел, как руки его тянутся к кресту, тихонько отодвигают черную ткань и вдруг яростно срывают ее, прикасаются к незнакомке, ласкают ее грудь.

Когда девушка исчезла в глубине церкви, Эварист почувствовал себя опустошенным и виноватым. Он, кому лучше всех на свете были понятны проблемы алгебры, не понимал, как

случилось, что его душевное равновесие могла смутить девица, пришедшая на заупокойную мессу по герцогу Беррийскому. Не значит ли это, что республиканские идеалы недостаточно глубоко запали ему в сердце?

Церковная служба началась мирно. Но потом один из этих изысканно одетых людей стал собирать деньги в пользу солдат короля, раненных во время июльских дней. Кто-то повесил на стену портрет герцога Беррийского. Кто-то другой украсил портрет лавровым венком. Церковная служба вылилась в демонстрацию — первую политическую демонстрацию аристократии после июльской революции.

Толпа перед церковью росла, ее терпение таяло. Из церкви то и дело выходили люди, рассказывая о том, что нового происходит внутри. Оживленно жестикулируя, прибегая к сильным выражениям, они приукрашивали и преувеличивали правду.

Но толпа, слушавшая их теперь, была иной, чем та, которая больше месяца назад кричала: «Смерть министрам!» Сегодня в ней было множество людей в черном платье и желтых перчатках. Старая ненависть в сердцах бедняков искала нового выхода. И снова вместе с беднотой встала буржуазия.

Из церкви вышел человек. Он взобрался на перила и заговорил:

— Граждане! Аристократы посмели отслужить заупокойную мессу по герцогу Беррийскому, члену династии Бурбонов, династии, которую мы только что согнали с трона.

— Позор! Позор!

— Долой иезуитов!

— Они решились отслужить этот молебен здесь, в этой церкви, рядом с Лувром, который был взят нами. В пятидесяти метрах от места, где похоронены жертвы революции!

— Позор!

— Они собирают деньги для солдат, стрелявших в народ!

— Смерть легитимистам!

— Смерть иезуитам!

— Неужели мы отдадим им на поругание нами же завоеванные права?

— Нет! Долой иезуитов!

— Долой церковь!

Толпа бросилась вперед.

Церковь взяли приступом. Кое-кого из легитимистов избили и выбросили из церкви. Другие в панике разбежались. Алтарь снесли, кафедру разломали, балюстрады и исповедальни разбили на куски и пошвыряли на пол. Священные картины были

разорваны; богатые, вышитые золотыми цветами драпировки гневно затоптаны.

Все произошло в мгновение ока.

Толпа смеялась и ревела. Люди подбивали друг друга на все более дерзкие поступки. Каждому хотелось проявить большую храбрость, чем проявил сосед; совершить что-то еще более отчаянное, еще более непристойное, чем то, что он видел. Посылали проклятия священникам, выкрикивали богохульства. Ворвались в ризницу, уничтожили хранившиеся в ней сокровища. Один из мятежников появился из ризницы в облачении священника и под громкий смех и рукоплескания толпы отслужил подобие церковной службы. Но у двери аббата Паравэ люди почтительно остановились. Они не забыли, что это он освятил могилы июльских жертв.

Войдя в церковь, Галуа торжествующе огляделся. Дикое опустошение, бесцельное разрушение, внезапные взрывы ненависти, направленные на утварь, на неживые предметы, — вот что он увидел. Торжество быстро сменилось стыдом и унижением. Теперь в святотатстве, совершенном толпой, в неумеренности, которой она предавалась, в опустошениях, нанесенных ею, будут винить республиканцев. А царственные руки Луи-Филиппа окажутся чистенькими и невинными. Еще раз люди в желтых перчатках заявили о своей солидарности с народом — и еще раз обманули народ.

Сейчас еще сильнее, чем Луи-Филиппа, чем людей, дикий рев которых разносился по церкви, он презирал самого себя. Он проклинал себя. Он проклинал дерзкие голубые глаза девушки, вошедшей в церковь. Он клял крест на ее шее и ее высокую грудь, скрытую черным платьем. Он знал, что ему захотелось войти в церковь, чтобы увидеть, как ее платье будет разорвано в клочья, как наполнятся страхом и мольбой о пощаде ее надменные глаза. Но он искал их напрасно.

Префект полиции доложил королю о том, что произошло в церкви Сен-Жермен Локсеруа. Король пригласил префекта к обеду. Узнав, что на другой день толпа собирается взять Пале-Рояль и архиепископский дворец, король загадочно заметил префекту:

— Думайте только о Пале-Рояль.

И префект полиции понял короля. На другой день резиденция архиепископа превратилась в развалины.

Март 1831 года

Каждый день увеличивалось расстояние между французским народом и королем французов. Пройдет немного времени, и даже мелкая буржуазия не будет представлена в правительстве Луи-Филиппа. Оно будет представлять только богатых и власть имущих. Народ и буржуазия еще раз вместе пойдут на общее победоносное дело. И снова народ будет обманут и предан.

Все это должно было случиться вскоре: через семнадцать лет. Очень скоро, если судить с точки зрения истории — в ряду множества прошлых и грядущих столетий. Не слишком скоро, если взять за меру срок человеческой жизни.

Но в 1831 году Луи-Филипп, подобно Карлу X и Людовику XVI, верил, что только смерть может положить конец его власти и что после его смерти трон унаследует его сын, потом внук, и новая ветвь Бурбонов будет вечно править во Франции.

Банкир Лаффит оставил правительство, и председателем совета сделался банкир Казимир Перье. Активный участник июльской монархии, Казимир Перье был высок ростом, вид у него был внушительный. Тем, кому не приходилось быть свидетелями внезапных приступов его бешеного гнева, манеры его казались ровными и исполненными благородства. Аристократов он ненавидел. Народ он не удостаивал ненависти — народ он презирал. Орда варваров! Всегда готовы к грабежу! Рады купаться в крови! Гордость его была беспредельна. С высоты собственного величия он спесиво взирал на министров своего кабинета, унижал их, то высмеивая, то обрушиваясь на них в припадках злобы. Сердце его не знало ни великодушия, ни верности. Высокие помыслы были ему незнакомы. Чтобы спасти власть буржуазии и короля, которого он ненавидел и которому служил верой и правдой, Казимир Перье был готов расправиться с врагами без всякой пощады.

Но чтобы дать силу королю, нужно сломить мощь республиканцев. А могущество их было велико и не переставало расти. Республиканцы ненавидели короля. Хуже того, они безжалостно высмеивали его. Они называли его попугаем, грушей (голова его напоминала грушу), они устраивали волнения и беспорядки, разжигали ярость народа. Они требовали, чтобы каждый гражданин получил право голоса, старались ввязать Францию в войну ради защиты поляков, бельгийцев и итальянцев; они угрожали террором и грабежом. Пока республиканцы не будут раздавлены, у Франции нет ни власти, ни достоинства, ни престижа, ни порядка, ни благополучия. Вот почему вся сила в руках Казимира Перье была обращена на решение первой и основной задачи: сломить республиканцев.

Два с половиной месяца прошло с того дня, как Эварист в третий раз послал свою работу во Французскую академию. Когда он спросил о судьбе рукописи, ему сказали, что ее изучают господа Лакруа и Пуассон.

Лакруа был уже стар в то время, и ныне имя его занимает незначительное место в истории математики. Пуассон, маленькое существо, державшееся всегда с большим достоинством, никогда не выбросил бы математическую рукопись в корзинку. Но он занимался главным образом прикладной математикой, и проблемы алгебры его не очень интересовали. Ни одного крупного, известного математика во Франции не было в те дни. Коши последовал за Бурбонами в изгнание; впрочем, от его присутствия в Париже Эваристу не стало бы легче.

— Есть ли великие математики во Франции? Кто, кроме меня, может ответить на этот вопрос? — Так, горько и гордо улыбаясь, говорил себе Эварист.

31 марта 1831 года он писал в академию:

«Смею надеяться, что господа Лакруа и Пуассон не сочтут дерзостью мое напоминание о работе, посвященной теории уравнений и представленной на их рассмотрение три месяца тому назад.

Исследования, содержащиеся в этой рукописи, составляют часть труда, представленного мною в прошлом году на соискание премии за работы в области математики.

В этом труде мною даны правила, необходимые, чтобы во всех случаях узнать, можно ли решить данное уравнение в радикалах. Так как до сих пор решение этой проблемы представлялось математикам если не невозможным, то весьма трудным, комиссия, не ознакомившись с работой, вынесла заключение, что я ее разрешить не способен: во-первых, потому, что меня зовут Галуа, а во-вторых, потому, что я студент. Мне сообщили, что рукопись утеряна.

Казалось бы, этого урока должно быть достаточно. Тем не менее, вняв совету почтенного члена академии мосье Пуассона, я восстановил часть моей работы и представил ее Вам.

Соблаговолите, мосье президент, разрешить мои сомнения и выяснить у господ Лакруа и Пуассона, потеряна ли вновь моя рукопись, или они намерены доложить о ней академии.

Примите, мосье президент, заверение в совершенном к Вам уважении Вашего покорного слуги.

Галуа».

15 апреля 1831 года

Девятнадцать человек из расформированных артиллерийских частей национальной гвардии были арестованы. Им предъявили обвинение в заговоре против Луи-Филиппа, устроенном в декабре 1830 года во время процесса министров Карла X. По словам прокурора, они собирались передать орудия народу, вызвать революцию и свергнуть королевскую власть.

Обвинение было предъявлено Кавеньяку, Гинару, Пеше д'Эрбинвилю и шестнадцати другим. На них выбор пал, по-видимому, случайно: многих из наиболее активных артиллеристов не тронули. Прежде чем привлечь к ответственности других видных республиканцев, правительство хотело создать прецедент и доказать, что заговоры подлежат наказанию.

Галуа пошел в Пале де Жюстис (Дворец Правосудия). Здание окружали солдаты муниципальной гвардии. Внутренние дворы под сводами были заполнены кавалеристами.

Эварист пробрался сквозь оцепление, сквозь толпу рабочих и студентов. Сто раз пришлось ему показать пропуск, прежде чем он вошел в битком набитый зал суда. Зал был полон хорошеньких, одетых по моде женщин. Ни одна не заметила Эвариста. Блестящими глазами они смотрели на девятнадцать героев.

Галуа стал слушать. Все его сочувствие было на стороне обвиняемых. Да, он ощущал свою близость к ним. «Дело девятнадцати» было и его делом. Но сейчас же его смутили тайные мысли, сразу охладившие пыл, родившие чувство вины и недовольства собой.

Он поймал себя на том, что думает не только об обвиняемых — об их судьбе, об исходе судебного процесса, — но и о себе. Все создавало преграды у него на пути. Его преследовали в Луи-ле-Гран и в Нормальной школе. Его преследовали Французская академия и Политехническая школа. Он ждал, что его будут преследовать и как республиканца. Но в этом последнем гонении — единственном, которое означало славу и известность, — именно в нем-то ему было отказано. Почему его не отдали под суд вместе с другими? Разве он не был в Лувре 21 декабря? Не был готов перейти на сторону народа и свергнуть Луи — Филиппа? Нет, неправда, что правительство его не преследует. Не замечать его существования — разве это не значит преследовать? И преследовать жестоко!

Он старался справиться с этими чувствами, сосредоточиться на процессе. Он услышал вопрос председателя суда Ордуина, обращенный к Пеше д'Эрбинвилю:

— Вы обвиняетесь в хранении и раздаче оружия. Признаете

ли вы справедливость обвинения?

Судья указал на стол, где лежали найденные в доме обвиняемого патроны. Они были завернуты в шелковую бумагу и перевязаны розовой ленточкой.

Галуа напряженно ждал ответа Пеше, но тут же к нему закралась горькая мысль: «Что бы ответил я, если б мне задали этот вопрос? Если бы взоры всех этих женщин были обращены на меня?»

Пеше посмотрел на судей, на присяжных. Взгляд его был так же спокоен и холоден, как в тот июльский день, когда он выступал на площади перед Ратушей и Галуа увидел его в первый раз. Ровным звучным голосом, слегка кривя нижней губой, он отвечал:

— Не только признаю, господин председатель. Я этим горжусь. Да, у меня было оружие, и очень много! Буду рад сообщить вам, как я его достал. В июле во главе горсточки людей я под огнем взял один за другим три поста и отобрал оружие у побежденных. Я сражался за народ. Солдаты в народ стреляли. Виноват ли я, взяв оружие, предназначенное для того, чтобы ранить и убивать граждан?

Эти слова были встречены рукоплесканиями. Аплодировал и Галуа, шепча про себя: «Придет и мой час. Вам не удастся отказать мне в этой трибуне. Вы не сможете не заметить меня!»

Потом настал момент, которого ждали все собравшиеся. Вопрос, признает ли он себя виновным, задали Кавеньяку.

Оратор, народный герой обвел взглядом присяжных и публику, затем величественным движением повернулся к прокурору:

— Вы обвиняете меня в том, что я республиканец. Я считаю это обвинение одновременно и честью и отцовским наследством. Член Национального Конвента, мой отец пред лицом всей Европы провозгласил республику. Он защищал ее. Прожив двадцать лет в ссылке, он умер изгнанником. Отец пострадал за дело республики, которому столькие изменили. Это было последнее, что он мог предложить стране, так храбро защищаемой им в юности. Я его сын. Его идеалы вдохновляют и меня. Принципы, в которые он верил, за которые боролся, перешли теперь по наследству ко мне. Знания, жизнь, опыт лишь укрепили меня в моих убеждениях. Я заявляю от всего сердца, без лицемерия и без страха: я республиканец.

Галуа почувствовал, как от теплых взглядов и горячих слов Кавеньяка исчезают его затаенные тревожные мысли. Теперь он слился со всем залом в едином чувстве, от которого у многих показались на глазах слезы любви и восхищения.

— Вы обвиняете нас в организации заговора. Пустое обвинение. Заговоры мало что значат. Ни организация, ни ход революции не зависят от них. Революцию порождает гнев народа, его решимость. Устраивать заговоры — значило бы потерять терпение, потерять веру в народ. В этом республиканцы неповинны. Мы не устраиваем заговоров. О нет, не мы замышляем тайные козни.

Возвысив голос, он показал на прокурора:

— Монархия устроила заговор против народа. Она пошла на заговор, издав ордонансы. Она устраивала заговоры в прошлом и будет устраивать в будущем.

Нам, республиканцам, незачем торопиться. Наше время должно прийти и придет. Мир волнуют новые и могучие помыслы. Народы мира шагают вперед! Люди, делающие вид, будто управляют страной, рубят сук, на котором сидят. Они разрушают источник собственной силы. Это их дела, а не чьи-то заговоры приводят к революциям. Скоро и богу легче будет изменить, переделать, перестроить нашу страну, чем управлять ею. Республиканцам тысячи раз бросали в лицо упреки за кровавые события девяносто третьего года. Но люди с головой, с сердцем, люди, которые любят Францию, знают: именно Конвент защищал священную землю нашей страны, Конвент вернул Франции ее природные границы, от Конвента исходили все великие политические идеи.

Революция! Вы нападаете на нее! Какое безумие! Революция охватывает все государство, всю нацию, не считая лишь тех, кто эксплуатирует государство и живет за счет народа.

Революция! Это наша страна, выполняющая свой священный долг освобождения народа, доверенного ей провидением! Это вся Франция, выполняющая долг перед миром. Что касается нас, мы всем сердцем верим, что сможем выполнить свой долг перед Францией. Всякий раз, когда мы понадобимся — чего бы она, наша глубоко чтимая мать, ни попросила от нас, — мы, ее верные сыны, готовы повиноваться.

Теперь зал откликнулся не просто восторженным одобрением. Публику охватила истерика. Мужчины швыряли в воздух шляпы; люди обнимали друг друга, становились на скамьи. Они были так растроганы, что не могли кричать или аплодировать. Люди плакали и не стыдились своих слез.

Сорок шесть вопросов было задано присяжным[10]. В последний день суда, в без четверти двенадцать, присяжные удалились на совещание. В половине четвертого объявили, что совещание окончено. Зал был переполнен до отказа. Тысячи ждали оглашения приговора на улице.

Старшина присяжных сказал:

— По чести и по совести перед богом и людьми ответ присяжных на первый вопрос таков: «Нет, обвиняемые невиновны». Ответ на второй вопрос: «Нет, обвиняемые невиновны».

Сорок шесть раз повторил он слово «невиновны». С каждым разом стрелка, отмечавшая степень радости и возбуждения, поднималась на одно деление выше, пока не перешла критическую черту. После сорок шестого «невиновны» тишина взорвалась выкриками и рукоплесканиями. В воздух полетели шляпы. Видно было, как шевелит губами председатель, но слов не было слышно. Все знали, что он освобождает обвиняемых из-под стражи. Некоторые перепрыгивали через скамьи, чтобы пожать руки девятнадцати оправданным, обнять их. Другие бросились из зала сообщить добрые известия друзьям. Радость выплеснулась из зала суда к. людям, стоявшим на улице.

Здесь волнение так возросло, что жизнь оправданных подвергалась сейчас большей опасности от народной любви, чем прежде от ненависти королевской власти. Толпа была готова задушить их в объятиях. Большинству оправданных удалось скрыться от ликующей толпы, незаметно покинув дворец через боковой выход.

Пеше д'Эрбинвиль и четверо его друзей сели в фиакр и велели кучеру гнать вперед как можно быстрее. Но их узнали. Повозку остановили, открыли дверцу. Толпа понесла пятерку на руках. Они кланялись, махали платками, и улицы в ответ оглашались приветственными криками.

Галуа видел эту сцену. Тонкий привкус горечи примешался к его радости. Росток зависти, правда маленький и слабый, пустил глубокие корни в сердце. Ни грубой силой, ни благими намерениями его нельзя было вырвать оттуда.

Понедельник, 9 мая 1831 года

9 мая, в пять часов вечера, в длинном зале ресторана «Ванданж де Бургонь» («Урожай Бургундии») двести человек собрались на банкет в честь девятнадцати оправданных.

Среди собравшихся были те, кто сильнее всех в Париже ненавидел Луи-Филиппа. Если бы сжечь или отравить этих двести, партия республиканцев потеряла бы своих вождей и героев.

Цыпленок был хорош, десерт вкусен, и перед каждым прибором стояла бутылка вина. Встал распорядитель мосье Гюбер. Он сказал, что главным оратором будет Марра, он

предложит тост за девятнадцать. Поднялся Марра. «Маркиз революции» обладал изящными чертами лица и пышной шевелюрой. Он гладко и с иронией говорил о режиме, который на процессе девятнадцати попытался показать силу и решимость, но вместо этого продемонстрировал свою слабость и низость. Он поднял бокал.

— Граждане! Пью за девятнадцать благороднейших республиканцев, и словом и делом поддерживающих честь Франции.

— Да здравствуют девятнадцать!

— Ура!

— Да здравствует республика!

От имени девятнадцати с ответом выступил Кавеньяк:

— Не далее чем вчера я перечитывал газету «Монитер» — рассказы о славных днях, о великих свершениях, гигантских войнах, огромных делах, содеянных французским народом ради того, чтобы добыть свои права. Я шел блистательной тропой, проложенной за последние сорок лет гением свободы. Следил за событиями, потрясшими землю от полюса до полюса.

Он говорил о Франции, родине свободы, о ее теперешней борьбе.

— Будем помнить, друзья и сограждане: мы в этот час не одиноки. Не только Францию мы представляем, не только ее мы должны и будем защищать. Наше дело — дело всех свободных людей. Это дело польского народа, который так доблестно борется против грубого царского насилия. Помогли мы ему в час беды? Нашлось ли у нас для старых собратьев по оружию что-нибудь, кроме слез? В Польше есть новая пословица: «До бога высоко, до Франции далеко». Да! Сегодняшняя Франция далека от всех, кто борется за свободу: от Польши, Бельгии, Италии, от всех угнетенных народов мира. Она далека — быть может, дальше всего — от собственного народа.

Будущее Франции, будущее всего свободолюбивого мира принадлежит республиканцам.

Он снова поднял бокал.

— За будущее Франции! Да будет она сильной, славной и свободной! Да принесет она свободу всем угнетенным!

Торжественно поднялись бокалы, и не скоро еще вернулся в зал приглушенный шумок разговоров.

По мере того как опорожнялись бутылки, речи становились короче и звучали менее торжественно.

Тосты состояли из кратких лозунгов. Лозунги бросали в зал, который, прежде чем осушить стаканы, подхватывал их криком: «Да здравствует…» — или отвергал криком: «Долой!»

— За революцию восемьдесят девятого года!

— Нет, не восемьдесят девятого! За год девяносто третий!

— За Робеспьера!

— Да здравствует Конвент!

— Да здравствует партия Горы. В память монтаньяров!

Мосье Гюбер был в замешательстве. Эти тосты не предусмотрены. Нельзя допустить, чтобы так продолжалось.

Он поднял бокал:

— За мужественного гражданина Распая, отказавшегося от креста Почетного Легиона.

— Да здравствует Распай!

— Не понравился мосье Гюберу тост за Робеспьера, — заметил Галуа студенту-медику Бильяру, сидевшему напротив.

— Да. И не ему одному. Посмотрели бы, какое было лицо у Дюма, когда упомянули девяносто третий год. Люди добропорядочные, не нам чета. Интересно знать, разозлил бы их сильнее тост за Луи — Филиппа?

— Вы правы, дорогой мой Бильяр, — взволнованно ответил Галуа. Он был слегка пьян. — Совершенно правы. Нужен тост за Луи-Филиппа.

— Вы хлебнули лишнего.

— О нет! Я предложу тост за Луи-Филиппа.

— Ну, если не пьяны, значит вы сумасшедший.

— Не пьян и не сумасшедший и выпью за здоровье Луи-Филиппа.

— Да вам шею свернут! И я, да поможет мне бог, вместе с ними.

— Никто не посмеет тронуть мою бесценную шею, и я, да поможет мне бог, непременно выпью за здоровье Луи-Филиппа.

Послышался немногочисленный, но дружный хор:

— Дюма, Дюма! Пусть Дюма скажет тост!

Александр Дюма встал. У него была блестящая, темная, как у негра, кожа и синие глаза. Кричащий пунцовый жилет был в винных пятнах.

— За искусство, — он говорил, преувеличенно жестикулируя, — ибо перо и кисть так же действенно, как ружье и шпага, служат делу социального возрождения, которому мы посвятили жизнь и за которое готовы умереть.

— Да здравствует искусство!

— Да здравствует Дюма!

— За революцию 1830 года!

Поднялся Распай. При виде его присутствующие чуть отрезвели.

— За солнце 1831 года. Да будет оно таким же горячим, как

солнце 1830 года. И пусть оно не слепит нас, как в прошлом году.

(Продолжительные возгласы одобрения.)

— Пусть новая революция наступит скоро!

— Скоро, скоро!

И вдруг:

— За Луи-Филиппа!

Головы прояснились; в зале зашикали. Все встали, стараясь рассмотреть, откуда послышался голос. Может быть, это шпион, у которого от вина развязался язык? Люди сжали кулаки. Заткнуть дерзкую глотку, осмелившуюся произнести эти слова! Толкая друг друга, все беспорядочно кинулись в одну сторону. Автора предательского тоста окружили плотным кольцом.

И опять раздалось:

— За здоровье Луи-Филиппа!

Все увидели Галуа. Левой рукой он держал на уровне сердца стакан вина. В правой сжимал над стаканом кинжал, острием вниз. Он стоял подобно изваянию, ожившему ровно на столько мгновений, сколько нужно, чтобы дважды произнести смертный приговор королю французов.

Толпа пришла в движение. Она перестала быть толпой. Только что ее объединяла злоба против человека, дерзнувшего предложить тост за Луи-Филиппа. Но сейчас толпа из двухсот человек разбилась на две сотни отдельных частей.

— Пойдем отсюда, — шепнул своему другу Александру Дюма актер театра Франсэз. — Дела принимают слишком опасный поворот.

Дюма был тоже настроен неодобрительно.

— Это уж чересчур. Слишком далеко зашло. Что за несдержанный юноша! Разве можно угрожать жизни короля?

Они быстро оставили зал.

Пеше д'Эрбинвиль посмотрел на Галуа с таким видом, как будто все происходящее его совершенно не касается, и, почти не раскрывая рта, процедил:

— Дурак.

Распай улыбнулся Галуа и вышел из кольца обступивших его республиканцев. Многие из присутствовавших поспешили уйти, но больше половины осталось. И те, кто остался, ликовали вовсю. Они были счастливы найти четкое выражение скрытой ненависти, доныне выражавшейся только в иносказательных лозунгах и косвенных угрозах. А тут был жест острый, как клинок кинжала, и сильный, как сжимавший его кулак.

Несколько республиканцев взяли со стола ножи, подняли

наполненные вином или пустые стаканы и, подражая жесту Галуа, хором кричали:

— За здоровье Луи-Филиппа!

Другие, стоя поодаль, подняли только сжатые кулаки — один над другим, как бы сжимая стакан и кинжал:

— За Луи-Филиппа!

Много раз прозвучали эти слова, сопровождаемые тем же движением, пока понадобился новый клич. Кто-то нашел его:

— На Вандомскую площадь!

— На Вандомскую! — подхватили все.

Более ста республиканцев направились от ресторана «Ванданж де Бургонь» на Вандомскую площадь. Галуа вытолкнули в первый ряд. Придя на площадь, они снова стали повторять тост, сопровождая его тем же угрожающим жестом. Собралась толпа любопытных, привлеченных таинственным движением двух поднятых друг над другом кулаков. Людям объяснили его значение, и он пришелся по вкусу. Они примкнули к демонстрации.

Республиканцы, пришедшие с банкета, и народ, собравшийся на Вандомской площади, сомкнулись воедино, как братья. Их пьянило вино и предвкушение победы. Пели «Марсельезу», плясали вокруг Вандомской колонны и, поднимая сжатые кулаки, повторяли:

— За Луи-Филиппа!

Им никто не мешал. Они веселились и радовались, как будто от их магического жеста на земле исчезла тирания.

10 мая 1831 года

Полиция знала, какие были сказаны речи, какие предложены тосты. Знала, что угрожали королю, знала, кто осмелился произнести угрозу. Знала, кто в знак протеста ушел с банкета и кто остался. Полиция знала все.

Был подписан ордер на арест Галуа. Рано утром на другой день, как он и предвидел, к нему явились гости. Полицейский комиссар и жандарм произвели в комнате Эвариста обыск и забрали его в префектуру на площади Дофина. Все трое пришли в маленькую комнатку в большом мрачном здании. Здесь блюститель порядка зевнул и, не переставая ковырять в зубах, взял от полицейского комиссара ордер и протянул ему расписку. Этот жест двух скучающих людей пустил в ход направленную против Галуа всесильную машину правосудия.

Комиссар ушел. Жандарм повел Галуа по коридору в длинное помещение, заполненное караульными в темно-зеленой форме,

чиновниками, сидящими за столиками, и заключенными, стоявшими перед ними.

Старые и молодые, кое-кто в кандалах, все они были грязны, плохо одеты, несчастны. За окошечком какой-то чиновник считал деньги и писал цифры. К этому окошечку жандарм легонько подтолкнул Галуа. Сейчас он пройдет все этапы процедуры, о которой так часто слышал от друзей-республиканцев. Как они любили обмениваться воспоминаниями, сравнивать впечатления, давать советы зеленым республиканцам, никогда не нюхавшим параши! Что ж, они правы, окошечко действительно похоже на театральную кассу.

Чиновник спросил:

— «Пистоль» или Сен-Мартен?

Да, все именно так, как говорили. Можно заплатить за одиночную камеру — «пистоль» — или сидеть вместе с другими в тюрьме Сен-Мартен, о которой шла зловещая молва.

— «Пистоль».

Эварист заплатил, взял квитанцию. Потом жандарм передал его одному из темно-зеленых стражников. Вместе подошли к столику, и караульный вывернул карманы Галуа.

Чиновник за столиком взял лист бумаги и, не поднимая головы, спросил:

— Имя?

— Эварист Галуа.

Он записал фамилию с двумя «л», но Эварист не потрудился поправить.

— Возраст?

— Двадцать лет.

— Профессия?

Эварист на мгновение запнулся.

— Репетитор.

— Место рождения?

— Бур-ля-Рен.

— Где живете в настоящее время?

— Улица Бернарден, шестнадцать.

— Рост?

Стражник измерил Галуа, проверил цифру, объявил:

— Сто шестьдесят семь сантиметров.

Чиновник записал и пробурчал:

— Волосы?

Он взглянул на Эвариста.

— Темно-русые.

— Брови? — Он поднял голову. — То же. Лоб? Квадратный. Глаза? Карие. Нос? Крупный. Рот? Маленький. Подбородок?

Круглый. Лицо? — В глазах чиновника мелькнул интерес. Он был явно озадачен, но все-таки решительно написал: «Овальное».

После того как с формальностями у столика было покончено, жандарм взял Эвариста за плечо и повел вверх и вниз по коридорам, по лестницам, открыл дверь и сказал:

— Ваш «пистоль».

Эварист вошел в камеру. Стражник долго возился, запирая дверь на все ключи. Наконец после скрежета и позвякивания Эварист услышал — все дальше и дальше — звук уходящих шагов.

Он посмотрел на крошечное оконце под потолком. Через него был виден квадрат чистейшей голубизны, перерезанный черными брусьями решетки. В оконце пробился резко очерченный пылинками луч солнца, осветив по дороге предмет тюремной обстановки, стоявший на другой стороне камеры. Нет, это не просто предмет обстановки. Это легендарная вещь. О ней он слышал целые диссертации — о том, как мучило ее присутствие заключенных в долгие дневные часы, как утешительно было оно в недолгие минуты нужды.

Параша была металлическая и занимала квадратный фут. Она была высотой со стул, с грубой деревянной крышкой. В этот жаркий день вонь ее проникала в нос, в рот, в легкие, даже если стараться не дышать. Заключенные божились, что, хотя парашу и выносили каждое утро, ее ни разу не мыли с того дня, как она появилась на свет. А это, по всей видимости, произошло в первый день сотворения мира.

Время движется, только когда человек думает или действует. Иначе оно застывает в неподвижности. Галуа начал производить обмер «пистоля». Он делал это очень медленно, методично и тщательно. Разве не узнал он в Луи-ле-Гран, а потом в Нормальной школе, что каждый опыт нужно проделать трижды и за образец взять средний результат? Средний равнялся восьми футам на шесть, или — заключил Галуа — сорока восьми квадратным футам. Один фут — на парашу; значит, остается сорок семь. Он взялся за тщательное исследование сорока семи.

Посмотрел на кровать. Сделана из дерева. Массивная, тяжелая, с соломенным тюфяком, с грязной подушкой. Две грубые простыни. Потрогал их: жестче, чем солома в тюфяке. Потрогал одеяло: еще жестче.

С осмотром кровати покончено. Теперь остальное. Поле исследования не слишком обширно. Стул, серый от многолетней пыли стол, изрезанный праздными руками предшественников. И, наконец, стены. Стены покрыты подписями и инициалами, нарисованными карандашом, нацарапанными ногтями. Их

сопровождают неприличные изображения мужчин и женщин, обязательно обнаженных, с весьма искаженными пропорциями тела. Фигуры либо обнимаются, либо сидят на параше. Даты, ругательства. Революционные лозунги.

На серой стене рядом с дверью висел лист бумаги с печатным текстом. Очень медленно Галуа стал изучать его. Объявление, подписанное директором заведения. Суточная плата за «пистоль». Подробная опись предметов обстановки. Один за другим Галуа читал параграфы списка, сравнивая перечень с данными наблюдений.

— Стол. Есть стол. Кувшин с водой. Посмотрим. Да, совершенно верно. Есть. Жестяной. Стоит на столе. Изъеден временем. Сотни рук продавили на нем впадины. Жалкий предмет, но нельзя отрицать, что он все-таки есть. Стул. Так. Кровать. Допустим. Ага, вот и седалище, это орудие пыток. Почему оно названо в конце? Почему после кувшина?

Список инвентаря занимал всего несколько строчек. Под ним шел текст. В тексте, не оставляя и тени сомнений, говорилось, что «пистоль» подлежит посуточной оплате, что обитатель отвечает за целость и сохранность обстановки и, наконец, что неплательщик немедленно переводится в Сен-Мартен, прославившийся своими ужасами в истории тюрем.

Галуа прочел список и объявление. Потом начал читать во второй раз. После этого он уже знал все наизусть. Он даже мог отчетливо представить себе все точки, которыми объявление украсили мухи. Читать третий раз нет смысла. С равным успехом можно сесть на стул и повторить все на память. Он с некоторым облегчением заметил, что запах не так уж невыносим. Снял сюртук, башмаки. Подумал, не написать ли на стене свое имя, но вместо этого стал думать об эллиптических функциях.

Машинально присел на деревянную кровать. Зачесалась левая рука. Поскреб ее. Зуд начался выше. Эварист взглянул на кровать и увидел, что по ней очень медленно ползет клоп — маленький, плоский, красновато-коричневый. Эварист убил его, и бренные останки раздавленного клопа отвратительной красноватой массой запачкали ему пальцы. Запах был так резок, что, казалось, на секунду заглушил даже зловоние параши. Он снял рубашку и стал искать клопов на теле, на одежде. Нашел двух.

«Тоже способ заполнить время и заставить его идти вперед», — подумал Галуа.

Наступила обеденная пора. В двери открылось маленькое окошечко, и Эваристу просунули тарелку фасоли, кувшин с водой и деревянную ложку. Голос сказал ему, что, уплатив деньги, он может послать за собственной едой. При мысли о том, что можно

есть в этом воздухе, где смешались запахи параши и раздавленных клопов, его затошнило. Он выпил воду и не притронулся к фасоли.

Лег на кровать. Возникла мысль о связи между алгебраическими уравнениями и эллиптическими функциями. Несколько минут спустя он забыл, где находится. Руки автоматически почесывали зудящие места, отгоняли мух. Теперь он был далеко от камеры; даже ее запахи перестали тревожить его.

Май 1831 года

На другой день Галуа перевели из префектуры полиции в тюрьму Сент-Пелажи. Вместе с одиннадцатью другими стоял он перед «салатной корзинкой» — так заключенные называли тюремную карету, перевозившую их из одного места заключения в другое.

Снаружи «салатная корзинка» сверкала чистотой. Жандарм не слишком вежливо подсадил заключенных, помогая взобраться в высокую повозку, потом запер дверь.

Внутри было темно. Слабый свет пробивался через решетку в конце повозки. Сквозь нее Галуа увидел две темно-зеленые спины и крохотный кусок лошадиного крупа. В длинных боковых стенах на равном расстоянии друг от друга были просверлены четыре отверстия, сантиметров по десять в диаметре. Скамьи вдоль стен клонились сиденьями к центру повозки. Как и все, кого перевозили в «салатной корзинке», Галуа ломал голову: почему скамейки устроены таким фантастическим образом? Ни он, да и никто другой, ответа найти не мог. Может быть, чтобы заключенные были заняты стараниями сохранить равновесие и не могли поболтать друг с другом? И в самом деле: каждый сидел молча, упираясь руками в колени сидящего напротив.

Повозка миновала Луи-ле-Гран. Через маленькие отверстия Эварист разглядел знакомые стены. В первый раз приятно вспомнить Луи-ле-Гран — тихий, навеки канувший в прошлое мирок. Стены, защищавшие его от внешнего мира, более опасного и жестокого, чем все, что могли придумать или представить себе наставники Луи-ле-Гран.

Шум повозки сливался с мелодичным звоном колокольчиков на шеях лошадей. Колокольчики возвещали жителям Парижа, что едут враги государства; экипажи богачей должны уступать им дорогу.

Приехали в Сент-Пелажи. Карета остановилась на улице Пюи-де-Лермит, перед входом в тюрьму. Жандарм и форейтор

отворили железную дверь. Другой жандарм, сопровождавший карету верхом, мрачно наблюдал, как высаживаются заключенные. Форейтор, помогавший им спрыгнуть вниз, протянул руку, беззастенчиво выпрашивая мзду за труды. В узких оконцах Сент-Пелажи, выходящих на убогую улочку Пюи-де-Лермит, показались лица, прижавшиеся к железным прутьям.

— Милости просим к домашнему очагу!

— Ура новым патриотам!

Когда новоприбывшие вошли в здание, приветствовать их собрались во дворе старожилы. Галуа встретили радостными криками и грозным движением кулаков, поднятых друг над другом. Заключенные читали и слышали о банкете и теперь просили Эвариста еще и еще раз описать им подробности всего, что произошло в «Ванданж де Бургонь» и на Вандомской площади.

Тюрьма Сент-Пелажи делилась на три изолированные части. Одна, с выходом на улицу Пюи-де-Лермит, предназначалась только для политических заключенных. Здесь на обширном дворе заключенные могли свободно гулять, разговаривать, спорить о политике, ссориться. Вольны они были пойти и в столовую — темное и грязное помещение, где можно было написать письмо, купить продовольствие, сыграть в шашки, напиться и снова поспорить о политике, поссориться.

Надзор был слабый. Можно было громко выражать свою ненависть, еще громче хвастаться подвигами, которые привели их сюда. Нередко рассказы ловило сочувственное ухо шпиона, умеющего прикинуться другом.

По вечерам заключенные возвращались в камеры. Тюремщики запирали их, чтобы рано утром открыть вновь. Камеры были маленькие, на несколько заключенных, и большие, примерно на двадцать коек каждая. Многие были смежными. На ночь двери запирались.

Никто ни на мгновение не оставался наедине. Всегда на виду. Газеты и посетители приносили новости с воли. Новичков засыпали бесконечными вопросами: «Как в Париже? Что республиканцы? Есть ли надежда на новую революцию? За что они попали в Сент-Пелажи?» Все ответы арестанты знали заранее. Но, как дети, у которых пропасть времени и нечем его занять, они жадно слушали повторение старых историй. Отплевывались, когда слышали имена Луи-Филиппа или Казимира Перье; подогревали ненависть, лелеяли надежду на месть.

Кроме политических заключенных и шпионов под видом политических заключенных, в Сент-Пелажи находились двести пятьдесят детей от десяти до двенадцати лет. Это были

беспризорные. Они никому не принадлежали, эти дети, никто их не любил. Их схватили на парижских улицах, устроив облаву, как на бродячих собак. Почему их поместили среди политических заключенных? Правда, они участвовали во всех революциях, в каждой потасовке. Правда, их отвага обезоруживала солдат и учила сражаться взрослых. Но здесь, сидя в тюрьме со старшими, играя в войну во дворе, слушая политические споры, они проходили школу упорной борьбы, непримиримой ненависти.

Присматривать за детьми тюремное начальство наняло супружескую чету — мужа и жену. Муж был добряк. Он учил детей петь, читать, рисовать. Жена его, тоже добрая женщина, чинила детям лохмотья. За доброту дети платили им беззаветной привязанностью и всей любовью, которую им некому было отдать.

Дети уходили в камеры рано вечером. Тогда заключенные справляли ежедневный обряд. На середину двора выносили трехцветный флаг, и, с обнаженными головами, заключенные окружали этот символ свободной республиканской Франции и пели «Марсельезу». Дети прижимались лицами к решеткам сводчатых окон и пели вместе со старшими. Когда доходили до слов «Amour sacre de la patrie!»[11], заключенные преклоняли колени, а стражники обнажали головы.

После «Марсельезы» никто не говорил ни слова. И тогда молчание прерывалось детскими голосами:

На смену старшим мы придем,
Когда они навек уснут,
И тем же доблестным путем
Их подвиги нас поведут.
Клянемся, гордые сердца,
За правду биться до конца.
За гробом — слава, павшим честь,
Смерть — но победа! Смерть — но месть!

Самый старший из арестантов подходил к флагу и целовал его. То же самое делали и остальные. В тот вечер, когда Галуа прибыл в тюрьму, он, в свою очередь, со слезами на глазах поднес к губам трехцветное полотнище. Он был взволнован до глубины души. И когда вернулся в камеру и тюремщики заперли ее на ночь, он был не в силах сказать товарищам ни слова.

Навестить Галуа явился посетитель с воли. Это был мосье Дюпон — известный адвокат-республиканец, один из защитников

на процессе девятнадцати. Он сообщил Галуа, что будет его защищать и что прислан Обществом друзей народа.

— Дело не так серьезно, как кажется, — с сочувствием во взоре, покровительственно улыбаясь, сказал он Эваристу. — Орлеанистские газеты стараются выставить вас цареубийцей. Читая их, можно подумать, что вы уже убили короля. Они подняли страшную шумиху. Говорят, что после июльских дней вы — первый республиканец, угрожавший жизни короля. Вы, дескать, опасный фанатик и способны в один прекрасный день привести свои угрозы в исполнение. — Мосье Дюпон рассмеялся. — Им бы на вас поглядеть. Тогда бы они знали, что вы не обидите и мухи.

Неодобрительный взгляд Галуа не возымел ни малейшего действия. Мосье Дюпон торопливо продолжал:

— Хочу вам сообщить кое-что важное, мосье Галуа. Нужно попытаться стереть впечатление о том, что вы покушались на жизнь короля. Такое впечатление было бы, несомненно, неверным и весьма опасным для вас. Королевская полиция всеми правдами и неправдами постаралась бы вас убрать. Даже если вас, скажем, и оправдают присяжные, быть может, тогда-то и начнутся ваши неприятности. Бояться нечего; я в эту опасность не верю. Я убежден: мы сумеем доказать каждому, что вы не представляете собой угрозы королю.

— Что вы хотите этим сказать?

— Вы не читали газет. Они представили случившееся неточно. Республиканцы, сидевшие рядом с вами, отчетливо слышали, как вы сказали: «За Луи — Филиппа, если он предаст». Последние три слова расслышали не все: их заглушило шиканье и громкие крики протеста. Но у нас достаточно свидетелей, которые сидели рядом.

Галуа взглянул на адвоката с отвращением:

— Я этого не помню.

Мосье Дюпон усмехнулся.

— Вы сомневаетесь, что ваши товарищи говорят правду? Они утверждают, что слышали слова «если он предаст». Отрицать было бы чрезвычайно несправедливо. Это бы просто означало, что вы сильно опьянели и не помните, что произошло в действительности. Именно к такому заключению, вероятно, и придут присяжные. В противоположном случае они будут вынуждены поверить вам и обвинить свидетелей во лжи, что вам, безусловно, тоже не понравится. Стало быть, свидетели дали ложные показания под присягой. Вам понятно положение вещей?

— Да.

— Я знал, что вы поймете. Мне говорили, как вы умны, как

логично вы мыслите. Постарайтесь вспомнить, что и как случилось. И тогда вы непременно вспомните эти слова: «если он предаст». Друзья утверждают, что ни один порядочный республиканец не станет сегодня откровенно угрожать жизни короля. Это одно уже служит достаточным доказательством того, что вы должны были добавить «если он предаст». Даже если слышали лишь немногие. Вы понимаете, мосье Галуа?

— Очень хорошо понимаю.

— Разумеется. Я в этом не сомневался.

Среда, 15 июня 1831 года

С двумя жандармами по бокам Эварист вошел в зал через маленькую дверцу слева от председателя суда. Все взоры устремились к Галуа. Тот же самый зал суда, где два месяца тому назад он присутствовал на процессе девятнадцати. Однако теперь зал выглядел совсем иначе. Два месяца тому назад Эварист зачарованно, с завистью разглядывал судей, обвиняемых, присяжных. Сквозь длинные, высокие окна солнце осветило сцену, которую так мастерски разыграл Кавеньяк. Это был зал, в котором двенадцать присяжных вынесли справедливый приговор; островок французской земли, на котором царило правосудие.

Сегодня очарование исчезло. В плохо освещенном зале стоял полумрак. С трудом разглядел Эварист лица друзей и сотрапезников по банкету в «Ванданж де Бургонь». Мантия судьи была грязной и поношенной. Зеленая материя, покрывавшая стол, — в пятнах и заплатах. Он не думал о справедливости и не боялся приговора. Председатель суда, кажется, неглуп и настроен дружелюбно; присяжные — болваны, но безобидны. И все-таки он чувствовал на плечах всю тяжесть ответственности актера на подмостках истории, где ему — без подготовки, без помощи — приходится играть главную роль.

Назавтра парижские газеты дадут полный отчет о том, что и как было им сказано. Завтра вся Франция узнает, боится он или нет Луи-Филиппа.

Секретарь суда монотонно зачитал обвинительный акт. Прозвучали заключительные слова:

«Эварист Галуа обвиняется в попытке спровоцировать покушение на жизнь и особу короля французов путем заявления, сделанного в общественном месте во время публичного собрания, каковое покушение в действительности совершено не было».

Галуа рассматривал председателя суда. Седая бородка, седые усы. Серые глаза с умным, человечным выражением. Доброжелательно, не проявляя ни нетерпения, ни вражды, судья

приступил к допросу.

— Обвиняемый Галуа! Находились ли вы на собрании, устроенном девятого мая сего года в «Ванданж де Бургонь»?

Галуа снова подумал, как по-разному выглядит это зрелище для актера и для зрителя. Оттуда оно кажется патетической драмой, отсюда — жалкой канителью мелочных вопросов и ответов. Его провели. Вынудили признать, что он действительно сказал: «За Луи-Филиппа, если он предаст».

Но он должен показать судье, присяжным, всему миру, что ненависть его безгранична, а мужество достойно его убеждений. Не должно быть ни малейших сомнений, что приписанные ему три слова — не свидетельство трусости или желания быть оправданным присяжными.

Председатель суда терпеливо подождал ответа и повторил:

— Обвиняемый Галуа! Находились ли вы на собрании, устроенном девятого мая сего года в «Ванданж де Бургонь»?

— Да, мосье.

— Сколько там было гостей?

— Около двухсот.

— Расскажите, как вас пригласили.

— О банкете было объявлено в газетах. У дверей проверяли тех, кто хотел попасть на банкет. Меня пропустили.

— Что послужило поводом для банкета?

— Оправдание девятнадцати и отказ мосье Распая принять крест Почетного Легиона.

— Были предложены тосты. Не могли бы вы их припомнить?

Галуа посмотрел на председателя суда мосье Нодена с вызовом:

— За тысячу семьсот девяносто третий год, за Робеспьера. И другие; их я не помню.

— Кем был предложен тост за тысячу семьсот девяносто третий год?

Взгляд Галуа стал еще более вызывающим, голос зазвучал чуть иронически:

— Не помню.

— Не предложил ли кто-нибудь тост за солнце июля тысяча восемьсот тридцать первого года, добавив: «Пусть оно будет таким же горячим, как солнце тысяча восемьсот тридцатого года, но не ослепит нас»?

— Да, господин председатель.

— Кто именно?

— Не знаю.

С каждым последующим ответом ирония в голосе Галуа слышалась все явственнее.

— Не раздались ли после этого выкрики: «Скорей, скорей»?

— Да, мосье, так кричали *все*.

Пока мосье Ноден обдумывал следующий вопрос, Галуа произнес:

— Мосье, я был на банкете. Вы избавите себя от труда допрашивать меня, если разрешите мне самому рассказать, что там произошло.

Председатель суда посмотрел на него с добродушным изумлением.

— Слушаем вас.

— Вот чистая правда об инциденте, которому я обязан честью предстать перед этим судом. У меня был нож — вот он лежит на столе. Я резал им на банкете цыпленка. После десерта я поднял нож и сказал: «За Луи-Филиппа, если он предаст». Поднялся неистовый крик, вызванный первой частью фразы: решили, что я собираюсь предложить тост за Луи — Филиппа. Поэтому последние три слова слышали только те, кто сидел со мной рядом.

Галуа внезапно замолчал.

— Таким образом, — спросил председатель суда, — по вашему мнению, тост, предложенный просто и от чистого сердца за короля французов Луи-Филиппа, вызвал бы неприязнь всех собравшихся?

— Несомненно, мосье.

— Вашим намерением, следовательно, было обратить этот нож против Луи-Филиппа?

В напряженном молчании все ждали ответа. Он не замедлил последовать:

— Да, мосье, если он предаст.

Судья, казалось, не был возмущен. Голос его зазвучал еще более дружелюбно. Королевский прокурор с торжеством поглядел на присяжных, а мосье Дюпон постарался скрыть неудовольствие насмешливой улыбкой.

Председатель задал вопрос:

— Собирались ли вы выразить ваше личное убеждение, заклеймив короля французов как человека, заслуживающего смерти, или вашим истинным намерением было побудить других к действию?

— И то и другое, — спокойно ответил Галуа. — Я и сам хотел так сделать и вызвать на это других. В случае, если Луи-Филипп предаст. Иначе говоря, в том случае, если он рискнет отступиться от законных действий.

Ропот удивления прошел по залу. Это уже не мужество. Это безумие чистой воды. Что бы ни случилось, участь бедняги

решена. Королевская полиция припомнит ему эти слова.

Судья окинул Галуа сочувственным взглядом.

— Вы полагаете, король способен совершить незаконные действия?

— Каждому, кто хоть что-нибудь смыслит, ясно, что недалек день, когда король будет виновен в этом преступлении. Если, по совести говоря, он его уже не совершил.

Мосье Дюпон сидел с видом человека, решившего покориться своей судьбе. Распай пробормотал:

— Никогда не видел, чтоб кто-нибудь так рьяно стремился к собственной гибели.

— Пожалуйста, объясните, что вы хотите сказать, — потребовал председатель.

— Разве это не очевидно, мосье?

В первый раз в голосе судьи послышалось легкое нетерпение:

— Будьте добры объяснить.

— Я имел в виду следующее. Действия правительства приводят к заключению, что Луи-Филипп когда-нибудь станет предателем, если уже не стал им. Обратимся к фактам, из них это ясно следует. В самом деле! Вспомним вступление Луи-Филиппа на престол. Разве король не подготовил его заранее? Не уверял ли он неоднократно Карла Десятого, что он-де его самый верный подданный? Далее…

Вмешался мосье Дюпон:

— Мосье председатель! Прошу вас не продолжать допроса. Я признаю, что предмет, затронутый мосье Галуа, таит опасность для него самого. Но еще большую опасность таит он для короля. Если допрос пойдет в этом направлении, я должен буду, как бы мне это ни было неприятно, присовокупить мои собственные объяснения. У меня в распоряжении находятся не оставляющие сомнений доказательства, что вступление Луи-Филиппа на престол было действительно подготовлено заранее. Эти доказательства я буду вынужден представить присяжным.

Судья с раздражением возразил:

— Я имею право вести допрос по собственному усмотрению и задавать обвиняемому любые вопросы, какие сочту нужным.

Тогда произошло нечто непредвиденное.

Встал королевский прокурор мосье Миллер:

— Я присоединяюсь к защитнику и прошу председателя суда не вести допрос по этому руслу.

Присяжные и публика застыли в недоумении. Мосье Ноден повернулся к присяжным:

— Присяжные поймут, почему я прекращаю допрос. — Он указал на нож, лежавший на столе. — Обвиняемый, почему вы

принесли этот нож на банкет?

— Совершенно случайно. С тех пор как купил, я постоянно носил его при себе.

— Он был сделан специально по вашему заказу?

Галуа улыбнулся, как будто вопрос позабавил его.

— Да, мосье. Превосходный инструмент, не так ли? Такими ножами республиканцы режут цыплят или индеек.

Председатель не выдержал.

— Благодарю вас, — сказал он. — Пока что все.

Вереницей потянулись свидетели. Первые шесть были лакеи, которые давали показания, касающиеся общей атмосферы на банкете.

Ввели писателя Густава Друино.

— Поднимите правую руку, — сказал судья.

Мосье Друино руки не поднял.

— Мосье, — заявил он с достоинством, — я отказываюсь принять присягу. Из протоколов следствия вам должно быть известно, что я не чувствую себя ни обязанным, ни расположенным давать какие бы то ни было показания о том, что случилось на закрытом банкете. Я не намерен игнорировать закон. Но повторяю: банкет был закрытым, и, поскольку дело касается меня, это освобождает от обязанности давать показания.

Председатель терпеливо объяснил:

— Каждый, кто вызван в суд, должен давать все показания, какими он располагает, если свидетель не принадлежит к одной из категорий, с которых закон снимает это обязательство.

Мосье Друино приложил левую руку к сердцу.

— Я торжественно заявляю, что никогда не соглашусь дать показания о событиях частного характера. Существует закон более священный, чем тот, который записан на бренной бумаге. И это закон чести. Господа присяжные поймут меня.

Для прокурора это был ответственный момент. Он знал, что Друино сидел на банкете рядом с Галуа и после тоста за Луи-Филиппа с возмущением покинул зал. Вопрос, были сказаны слова «если он предаст» или нет, должен решиться его показаниями. И поэтому мосье Миллер настаивал:

— Мосье Друино обязан дать показания. В противном случае он будет отвечать по статьям 355 и 80 уголовного кодекса.

Перечень статей не испугал мосье Друино, его абсолютное спокойствие и превосходные манеры не изменили ему.

— Когда меня вызвали на предварительный допрос, я был подвергнут штрафу за отказ дать показания. Мне представляется, что в силу принципа «non bis idem»[12] меня не могут

оштрафовать вторично; закон не наказывает дважды за один и тот же проступок.

Однако мосье Друино заблуждался. Он понял это, когда, посоветовавшись с членами суда, председатель приговорил его к штрафу в сто франков.

Потом давали свидетельские показания другие соседи Галуа по банкету. Да, все они ясно слышали, что Галуа сказал: «За Луи-Филиппа, если он предаст».

Наступил вечер, когда напыщенно, с широкими и драматическими жестами начал речь прокурор:

— Многие заслуживающие наказания преступления содеяны республиканцами. Но ни разу с июльских дней ни один республиканец не осмелился угрожать жизни законного короля французов. Ни разу до девятого мая! В этот день Эварист Галуа замахнулся ножом, который, по его собственному признанию, собирался обагрить кровью короля. Здесь, у вас на глазах, господа присяжные, он признался, что хотел либо сам запятнать нож кровью короля, либо побудить других к величайшему преступлению, какое способен задумать ум человеческий. У него хватило преступного мужества произнести свои угрозы в публичном месте.

Но преступление это, каким бы опасным и безумным оно ни казалось, в действительности еще ужаснее. В ответ на вопрос следователя заключенный Галуа признался, что сказал: «За Луи-Филиппа». Но сегодня он запел по-иному. Теперь он утверждает, что сказал: «За Луи-Филиппа, если он предаст». Следовательно, один раз он солгал, это очевидно. Либо раньше, либо теперь. Когда же? Во время следствия или на суде? Не разумно ли предположить, что, несмотря на свое вульгарное бахвальство, обвиняемый страшится гнева народа, выразителями которого явитесь вы, признав его виновным? Не разумно ли предположить, что именно боязнь вашего приговора вынудила его изменить свое признание? Как иначе можем мы объяснить, что спустя месяц после снискавшего позорную известность банкета он помнит все лучше, чем спустя неделю? Единственно возможное заключение таково: обвиняемый лгал вам. Он угрожал жизни короля, подняв кинжал и говоря: «За Луи-Филиппа».

Господа присяжные! Здесь, перед нами, один из самых опасных людей, когда-либо стоявших перед судом. Он представляет собой опасность для жизни короля, для каждого, кто желает наслаждаться миром и свободой, завоеванными в июльских боях. Он опасен вдвойне, ибо он человек образованный и мыслящий. Он бывший студент Нормальной школы, исключенный оттуда за испорченность и безнравственность.

Господа присяжные! Лишь объявив арестованного виновным, лишь приговорив его к длительному тюремному заключению, сможем мы показать, что Франция дорожит безопасностью короля. Обвиняемый посмел не только угрожать королю. Здесь, в этом зале суда, отважился он нанести королю оскорбление. Он дерзнул заявить, что король французов, поклявшийся соблюдать законы Франции, способен изменить. Уже это одно должно послужить вам достаточно убедительным доказательством. Этот человек заслуживает единственного приговора: виновен! Не осудив его, не остановив руку, которая занесла кинжал, вы предадите Францию анархии.

Господа присяжные! Выполните свой долг перед королем и Францией. Французские законы охраняют жизнь смиреннейшего из подданных страны. Но превыше всего они должны охранять человека, который является королем французского народа. Покажите же миру, что во Франции царит закон, что Франция защищает своего короля. Это ваша привилегия и обязанность.

Прокурор деликатно отер платком пот со лба, сел и с безучастным видом огляделся по сторонам. Судья обратился к Галуа:

— Обвиняемый Галуа, имеете ли вы сказать что-либо в свою защиту?

— Да.

— Слушаем вас.

— Я хотел бы исправить некоторые из допущенных прокурором погрешностей — как против логики, так и против истины. Прокурор строит замысловатую теорию, исходя из того, что я сказал разные вещи следователю и присяжным. Следователь спросил меня, правда ли, что я произнес слова: «За Луи-Филиппа». Я ответил: «Да». Он не спросил, добавил ли я что-нибудь еще. С какой стати мне по собственной воле давать дополнительные показания? Если бы вы видели, как счастлив был следователь, когда я признался, что предложил тост! Этот человек чуть с ума не сошел от радости, что обнаружил такого страшного революционера. Ничто на свете не доставило бы ему большего счастья. Было бы жестокостью с моей стороны испортить ему все удовольствие, смягчив сказанную фразу и вызвавшись сообщить дополнительные сведения, о чем меня никто и не просил. У меня просто язык не повернулся. Кто сможет упрекнуть меня за то, что я не захотел омрачить столь полное блаженство?

Одни из присяжных старались подавить смех. Другие наблюдали за кусавшим губы прокурором. Заметив, что на него смотрят, прокурор тут же изобразил неубедительный зевок.

— Возьмем другой аргумент мосье королевского прокурора. Как, вопрошает он, может король согрешить? Как можем мы даже допустить мысль, что король способен нарушить клятву? Но в конце концов мы здесь не дети и не глупцы, чтобы считать короля совершенством. Подобную бессмыслицу сегодня услышишь разве что в суде, и то, пожалуй, только из уст прокурора. Рассмотрим этот наивный довод немного более внимательно. Представьте себе, что год назад я заявил бы: «Карл Десятый предаст». Разве этот же самый или какой-нибудь другой прокурор не потребовал бы, чтобы моя голова слетела с плеч во имя короля? Короля мудрого, совершенного, верного, непогрешимого, неспособного на предательство? А если бы я сейчас обвинил Карла Десятого в его прегрешениях? Тут у нашего прокурора нашлись бы для меня лишь похвалы и сочувствие. Так кто же способен предвидеть, что произойдет через год? Может статься, этот самый или какой-нибудь другой прокурор будет превозносить мою мудрость: ведь я предсказал измену Луи-Филиппа! Прокурор назвал меня человеком образованным и мыслящим. К сожалению, я не могу ответить ему тем же комплиментом. Как может человек, хорошо знающий историю, слепо верить в то, что короли никогда не предают и никогда не ошибаются? Что касается интеллектуальных способностей мосье прокурора…

Прокурор с плохо скрытой яростью вскочил с места.

— Мосье председатель! Я протестую!

Председатель повернулся к Галуа.

— Вы не должны оскорблять прокурора. Я не позволю вам продолжать в подобном тоне. — Голос его звучал спокойно, приветливо.

— Благодарю вас, мосье. Я не стану. Я возьму совершенно противоположный тон и постараюсь доставить прокурору возможно большее удовольствие. По крайней мере не меньшее, чем доставил следователю. Прокурор старался убедить вас, господа присяжные, что я один из самых опасных и неистовых республиканцев. Что оставить меня на свободе — значит подвергнуть постоянной опасности короля и правительство. Признаюсь: тут он прав. Я республиканец. Я горжусь тем, что меня считают опасным для существующего строя. Последние месяцы я провел на улицах Парижа, всегда с оружием, всегда готовый поддержать мятеж, принять участие в волнениях. Чистая случайность, господа присяжные, что вы видите меня здесь впервые. Я находился в Лувре двадцать первого декабря прошлого года. Вы, бросающие мне обвинение, думали, что, когда вы придете к власти, восстаний не будет. Вы ошиблись. Они были и будут до тех пор, пока вы не утратите власть.

— Мосье председатель, — поднялся мосье Дюпон, — обвиняемый возводит вину на самого себя.

— Мосье Галуа, я не могу разрешить вам оговаривать самого себя.

Слова судьи заглушил голос обвиняемого.

— Кончаю. Вы ведете себя по-детски. Вы бросаете нас на эшафот, но у вас не хватает силы опустить нож. Сила, мужество, прогресс — это мы, республиканцы. Души республиканца никогда не коснется моральное разложение. Реакция, разложение — это вы, слуги реставрации. Если бы те, кто нас обвиняет, могли правильно видеть наши цели, они пришли бы в полное замешательство и уж никогда не сочли бы наше молчание свидетельством покорности.

Председатель твердо сказал:

— В ваших же интересах я запрещаю вам продолжать.

Галуа мгновенно овладел собой.

— Не беспокойтесь, мосье. Я кончил.

Затем выступил мосье Дюпон. Он не был в форме. Безрассудное поведение Галуа опрокинуло заранее продуманный план защиты. Он углубился в пространное доказательство того, что с юридической точки зрения ресторан не является общественным местом. Прокурор возразил. Ему, в свою очередь, возразил мосье Дюпон, подтвердив возражение другими законами и другими прецедентами.

Затем наступила очередь председателя. Он не был оратором. Кроме того, он слегка шепелявил. Но серые глаза его щурились сочувственно, когда он в заключение сказал:

— Случай ясен. Обвиняемый не отрицает, что предложил тост, сопровождаемый угрожающим жестом по адресу короля. Свидетели подтвердили, что он сказал: «За Луи-Филиппа, если он предаст». Решая это дело, следует забыть обвинения, возведенные арестованным на самого себя. Вынося приговор, господа присяжные, вы можете — и должны, я полагаю, — учесть возраст обвиняемого. Ему нет еще и двадцати лет. У кого-нибудь из вас, быть может, были или есть такие же сыновья. Вы знаете, что революционные порывы с возрастом проходят, если лечить их не наказаниями, но убеждением и прощением. Я полагаю, что вы можете — и, по-видимому, должны — считаться с этим при вынесении приговора.

Присяжные удалились.

— У вас еще, может быть, есть надежда, — сказал Эвариста защитник, — но вы страшно повредили делу. Ваш поступок не храбрость, а безрассудство.

Галуа ничего не ответил.

— Вы, очевидно, думаете, что оправдывать или осуждать — дело одних присяжных, — сердито добавил мосье Дюпон. — Желаю вам никогда не убедиться в обратном.

Эварист продолжал хранить молчание.

— Суд идет!

Раздался ропот удивления. Вынести приговор за десять минут! Ничего подобного никто припомнить не мог.

— Обвиняемый не виновен.

Когда председатель суда объявил, что арестованный свободен, Эварист подошел к столу, где лежали вещественные доказательства, взял свой нож, закрыл его и опустил в карман. Потом поклонился судье, повернулся на каблуках, поклонился присяжным и вышел, не сказав ни слова.

1831 год

Мосье Жиске, префект полиции Казимира Перье, сидел у себя в кабинете. Неловко, в замешательстве смотрел он на застывшую фигуру, сидящую напротив него за столом. Он выходил из себя, забрасывая это изваяние словами в надежде вдохнуть в него хоть искру жизни.

— Вы правы, мосье Лавуайе. Абсолютно. И как раз вы подходящий человек. Завтра повидаю мосье Перье и попрошу денег на организацию вашей работы. Да, мосье Лавуайе. В деньгах затруднений не будет. Ваш отдел нужно значительно расширить. Приходите сюда послезавтра, к тому времени я уже поговорю с мосье Перье. Я уверен, что вы получите средства, чтобы наладить работу. Тогда обсудим подробности.

Мужчина, сидевший напротив, казался неживым. Худое лицо его оставалось неподвижным, чуть косящие глаза не мигали.

Раздраженный, не получив ответа, мосье Жиске возвысил голос:

— Выбора нет. Присяжные оправдали человека, признавшегося в намерении посягнуть на жизнь короля. Мы должны устранить эти опасные элементы без помощи присяжных. Нужно вести подкоп и снаружи и изнутри. Вы правы. В ущерб себе мы были слишком мягкосердечны. Мы наводнили партию республиканцев шпионами. Шпионы и еще раз шпионы!

Потом мы стали выносить наши дела на рассмотрение судов, где среди присяжных полно легитимистов и республиканцев. Друг друга они ненавидят, но это не мешает им превосходно ладить в качестве присяжных. Они умеют оправдывать врагов короля. Даже судьи против нас. Все это нужно изменить. Ребячество. Такие методы на руку республиканцам: мы им

предоставляем трибуну, с которой они кричат на весь Париж. Они пополняют свои ряды; уверены, что все сойдет с рук. Пусть подождут немного. Они еще увидят!

В своем волнении мосье Жиске забыл о посетителе. Он встал и зашагал по кабинету, громко разговаривая, возбужденно жестикулируя. Можно было подумать, что он обращается к тысячной аудитории.

— Нужно убрать зачинщиков. Посеять среди них ненависть и раздор. Пусть убивают друг друга на дуэлях, в кровавых драках. Кое-кто умрет от случайной пули; никто не узнает, кто ее послал и откуда. Нужно иметь в распоряжении женщин — хорошеньких и опасных. Посеем среди республиканцев ревность, измену, недоверие, неприязнь. И, ей-богу, мы сами доберемся до тех, кто нам нужен, если нас не в состоянии выручить суд. Их мужество дрогнет. Сама жизнь станет им не мила.

Под давлением снаружи они начнут разлагаться изнутри. Как только одни вожаки будут ликвидированы, а другие потеряют авторитет, чернь утихнет. Некому будет ее подстрекать. И тогда власть будет в наших руках. Нам это нужно — стало быть, так и будет.

Взрыв собственной энергии утомил его. Он сел и обратился к безгласной фигуре:

— Согласны, мосье Лавуайе?

Почти не шевеля губами, мосье Лавуайе ответил:

— То, что вы сейчас сказали, мосье Жиске, — очень краткое изложение доклада, поданного мною неделю тому назад.

Мосье Жиске внезапно выдохся.

— Да, — запинаясь, сказал он. — Конечно. Я знаю. Вы правы.

Впрочем, самоуверенность быстро вернулась к нему.

— Я знаю, вы человек, подходящий для этого дела. Должен, однако, предупредить вас. Все должно быть сделано так, чтобы и сто лет спустя ничего нельзя было бы обнаружить. Никаких документов. Никаких бумаг. Никаких формальностей. Стоит только оппозиции пронюхать что-нибудь — мы погибли.

— Исключено, — отозвалась восковая фигура.

— Это-то я и хотел услышать от вас. И все же, мосье Лавуайе, считаю долгом чести предостеречь вас. Если вдруг что-то раскроется, я отказываюсь нести ответственность. Я перекладываю ее на вас. Вам будет предоставлена полная свобода действий. Я не желаю входить в детали. Я, как и любой другой француз, хочу узнать о совершившихся фактах. Как любой другой француз, я буду строить догадки: совершились ли эти факты случайно или предумышленно. У меня не должно быть ни малейшей возможности выяснить правду. Даже если я буду

доискиваться ее целый век. Я ничего не желаю знать. Вам ясно, мосье Лавуайе?

Мосье Жиске коротко засмеялся, но взглянул на собеседника, и улыбка застыла у него на лице.

— Я говорю вам все это, потому что я честный и искренний человек.

— Да. — Губы мосье Лавуайе были плотно сжаты. — Вы говорите все это мне, потому что вы честный и искренний человек.

Префект полиции посмотрел в холодные глаза посетителя. Тревожная мысль пришла ему в голову. Даже ему, мосье Жиске, от этих глаз становилось не по себе. Он попытался, скрыть беспокойство за дружеским, невозмутимым тоном. Но и в собственном голосе послышался ему оттенок страха. Не заметил ли его и этот человек? От подобной мысли голос мосье Жиске зазвучал еще неувереннее.

— Интересно, с какой целью вы занимаетесь этим? Вы не можете рассчитывать на признание. Вас не ждет слава. Вам достанется самая неблагодарная, самая опасная роль.

Мосье Жиске ждал. А вдруг Лавуайе вздумает оскорбить его, оставив вопрос без ответа? Что тогда — настаивать или лучше перевести разговор на другую тему? С облегчением увидел он, что тонкие губы чуть зашевелились:

— Вам, мосье, нравится иметь силу и известность, мне — иметь силу, оставаясь в тени.

— Да, да. Понимаю. Но оставим это. Я просил вас принести дело Галуа. Оно с вами?

Мосье Лавуайе показал на толстую папку, лежавшую на столе.

— Есть краткое изложение дела?

Мосье Лавуайе раскрыл папку и, вынув два листа, исписанные мелким аккуратным почерком, протянул их мосье Жиске.

— Работать с вами — одно удовольствие. Все всегда в полном порядке.

Выражение каменного лица не изменилось.

— Не прочтете ли вслух?

Мосье Лавуайе взял бумагу в руки. Длинные, хрупкие на вид пальцы на самом деле были сильными, цепкими. Он стал читать быстро, без всякого выражения:

— «Эварист Галуа. Краткое изложение. Родился в Бур-ля-Рен 25 октября 1811 года. Отец — мэр Бур — ля-Рен, либерал с республиканским уклоном. Ни в каких политических заговорах не участвовал. Мать честолюбива, энергична. С некоторыми

странностями. Одна сестра, 24 года. Младший брат, 17 лет. Ни та, ни другой политикой не интересуются. В 1829 году отец кончил жизнь самоубийством. Похороны послужили поводом к беспорядкам, учиненным жителями Бур-ля-Рен. Во время беспорядков ранен камнем приходский священник. Один из зачинщиков — Эварист Галуа.

Дважды потерпел неудачу на экзаменах в Политехническую школу. Поступил в Нормальную школу. В июльской революции не принимал участия. Выступал против директора мосье Гиньо за то, что студентов не выпускали из здания школы. 3 декабря 1830 года опубликовал в «Газетт дез Эколь» письмо против мосье Гиньо. Исключен из Нормальной школы 4 января 1831 года.

В августе 1830 года стал членом Общества друзей народа. Старался вызвать волнения среди присутствовавших на открытом собрании общества 17 сентября 1830 года, выступив с пламенной речью и бросив клич «Смерть министрам!». Вступил в артиллерию национальной гвардии. Ночью 21 и 22 декабря находился во дворе Лувра; пытался убедить артиллеристов передать орудия черни. Участвовал почти во всех мятежах и волнениях в Париже.

9 мая 1831 года на банкете республиканцев в «Ванданж де Бургонь» с кинжалом в руке предложил тост «За Луи-Филиппа». До 15 июня находился в предварительном заключении в Сент-Пелажи. 16 июня был оправдан судом присяжных. На суде весьма яростно нападал на правительство. Утверждал, будто бы произнесенный им тост был: «За Луи-Филиппа, если он предаст». Хотел либо сам убить короля, либо побудить к этому других — в случае, если король предаст. Утверждал, будто бы король способен к предательству, если уже не совершил его.

Характеристика: говорит либо очень спокойно и иронически, либо страстно и несдержанно. По всей видимости, обладает выдающимися математическими способностями, хотя и не признан профессиональными математиками. Читал лекции по математике в книжной лавке Кейо, улица Сорбонны, 5. Республиканской пропаганды на лекциях не проводил. Один из самых крайних республиканцев. Чрезвычайно храбр, непримирим и фанатичен. С женщинами связей не имеет. Не знает страха и может быть весьма опасен. Способен оказать большое влияние на народ. Сблизиться с ним для наших не составит труда: он доверчиво относится к людям и неискушен в житейских делах».

Мосье Лавуайе кончил чтение и аккуратно вложил листки в папку.

— Отличная работа, — тихо, как бы про себя произнес мосье Жиске. Он забарабанил пальцами по столу. — Похоже, что он будет одним из ваших первых клиентов.

— Да. Он будет одним из первых моих клиентов, — тем же ровным голосом, но с оттенком нежной мечтательности отозвался мосье Лавуайе.

VII СЕНТ-ПЕЛАЖИ

14 июля 1831 года

Сорок два года прошло с тех пор, как народ Парижа штурмом взял Бастилию и поднял на копье головы Делонэ и Флесселя. Это была первая после июльских дней годовщина Великой революции. Помянет ли народ славное прошлое, возобновив борьбу? В качестве предупредительной меры полиция подготовила и совершила перед 14 июля ряд предварительных арестов. Вместе с другими был заключен в Сент — Пелажи Распай, которого обвинили в том, что он писал памфлеты, поднимавшие народ против короля.

В этот июльский день Галуа и Дюшатле тоже были готовы сыграть свою роль. Им предстояло повести республиканцев от Елисейских полей до Гревской площади, где сорок два года тому назад народ расправился с защитниками Бастилии. Здесь, на Гревской площади, они собирались посадить деревья в память свободы, такой близкой, что, казалось, протяни руку — и она будет твоей сегодня же. И такой далекой, что завтра опять нужно идти за нее на бой.

В полдень Галуа и Дюшатле, оба в форме артиллеристов, перешли Новый мост. За ними шли пять-десять республиканцев. По обе стороны моста тесными рядами стояли жандармы,

полицейские, шпионы.

Когда колонна вступила на мост, полицейские с видимым безразличием лишь наблюдали за ней. Но когда группа поравнялась с серединой моста, Галуа увидел, что выход на левый берег реки преградил маленький отряд жандармов. Отряд стоял «вольно». Он не перекрыл движения, а только замедлил его своим присутствием, разбивая на узкие ручейки и создавая, таким образом, пробку. Столкнувшись с этим неподвижным препятствием в полицейской форме, Галуа и Дюшатле повернули направо. Колонна республиканцев, шагавших за ними, вытянулась в длину и сузилась. Нужно было пробраться через свободный проход между отрядом жандармов посреди моста и людьми, стоявшими вдоль перил.

Комиссар подал знак. Четыре жандарма, стоявшие у перил, стремительным броском отрезали Галуа и Дюшатле от остальных республиканцев. Двое накинулись на Галуа сзади, схватив за воротник мундира и скрутив руки. Затем, со знанием дела толкая перед собой, подвели к перилам, где стоял полицейский комиссар. Двое других проделали то же самое с Дюшатле. Одновременно отряд жандармов, до сих пор спокойно стоявший на месте, врезался в колонну республиканцев, и она мгновенно рассыпалась во все стороны. Все было проделано быстро и искусно. Никто не оказал сопротивления.

К Галуа и его другу обратился комиссар полиции:

— Галуа и Дюшатле, вы арестованы. Вот ордера на ваш арест.

Он повернулся к четырем жандармам:

— Забрать в Депо.

Галуа отчетливо представил себе, что его ждет. Только два месяца прошло с того дня, когда он впервые посетил это заведение — дом заключения при префектуре. Сегодня даже чиновник в длинной комнате заинтересовался, составляя список имущества Галуа одно заряженное ружье, один заряженный пистолет, один кинжал.

15 июля 1831 года

По закону каждый заключенный должен был предстать перед судебным следователем в течение суток после ареста. Минут за двадцать до истечения этого срока в «пистоль» Галуа вошли два жандарма. Внимательно осмотрели стены Один заметил:

— Нет, здесь чисто. — Потом покачал перед носом Галуа парой наручников. Раздался тупой металлический звон. — Если обещаете не пытаться бежать, не наденем. Обещаете?

Галуа кивнул.

Его вывели на улицу. Перешли на ту сторону, вошли в другой дом, поднялись по винтовой каменной лестнице. Галуа привели в комнату, где за большим столом в удобном кресле сидел крупный мужчина с жирным рябым лицом. Перед ним, отвечая на вопросы, стоял Дюшатле. Тут же сидел секретарь, бойко строчивший протокол допроса.

— По всей очевидности, вам мало обвинения в заговоре против государственной безопасности. И вот вчера, сидя в камере, вы совершаете новое преступление.

«Интересно, — подумал Галуа, — какое еще преступление можно совершить в камере? Убийство клопов? Злоупотребление парашей?»

— На стенах вашего «пистоля» вы нарисовали человеческую голову и гильотину. И внизу подписали: «Филипп сложит голову на твоем алтаре, о Свобода!» Правда это?

— Голову не рисовал. Я нарисовал грушу.

— Ах, грушу. Тогда вам придется сказать спасибо вашим друзьям-республиканцам. Они так ясно дали понять всем, что груша для них символизирует голову короля. Зачем вы это сделали? Что вы хотели сказать?

— То, что сказал, — ни больше, ни меньше.

— Превосходно, мосье Дюшатле. Я сам скажу вам, зачем вы это сделали. Вы рассчитывали, что у нас не хватит ума разгадать ваш замысел?

Голос следователя был сладок как сахар.

— Вы изучали право, не так ли, мосье Дюшатле? Вы боялись, что вам будет предъявлено обвинение в незначительном проступке. В том, что вы надели форму гвардейского артиллериста. За маленький проступок вам может вынести приговор сам судья, без присяжных. Этот судья мог бы дать вам шесть месяцев. И вот вы совершаете серьезный проступок. Вы оскорбляете короля. За это, по-вашему, вам полагается суд присяжных. Конечно, думаете вы, никто не придаст особого значения такому пустяку, как незаконное появление в артиллерийской форме. Другое дело суд присяжных. Как раз то, что вам нужно. Тут вы герой. Прекрасный случай сказать речь. Может быть, еще и оправдают. Присяжные за последнее время очень снисходительны к республиканцам. Ну как, мосье Дюшатле, верно?

— Как вы изволили заметить, мосье, я изучал право. Я знаю, что не обязан отвечать на вопрос.

— Разумеется. Никто не заставляет. Но вы допустили одну ошибку, мосье Дюшатле. Вы забыли, что судья может судить вас за появление в форме, а потом за недозволенные рисунки — еще

раз — присяжные. Значит, вы не избежали никакой опасности, а просто устроили себе две беды вместо одной.

Он окинул Дюшатле благодушным взглядом.

— А пока что вам придется подождать суда в Ла Форс. Это, конечно, всего только предварительное заключение.

Не переставая ласково улыбаться, он подписал какие-то бумаги и велел увести Дюшатле.

Наступила очередь Галуа. Он увидел на столе свое ружье, пистолет, нож.

Следователь раскрыл набитую бумагами папку. Эварист с гордостью отметил про себя, какая она толстая.

Следователь задал ему множество вопросов: и о родителях, и о брате, и сестре; о Луи-ле-Гран и Нормальной школе. Ответы он сверял с лежавшими перед ним документами. Затем показал на выставку оружия на столе.

— Зачем вы все это носили с собой?

— Защищаться и нападать.

— От кого защищаться?

— От тех, кто мог напасть на меня.

— Кто же это, по-вашему?

— Кто всегда нападает на народ.

— Что вы хотите сказать?

— То, что сказал.

— Кого вы собирались защищать этим оружием?

— Народ, если бы он подвергся нападению. И самого себя.

Галуа очень устал. Ни огня, ни иронии не было в ответах. Казалось, они, помимо воли, соответствуют заранее подобранному образцу — жесткому, как математическая формула.

— Для этой цели вы бы пустили в ход не только ружье и пистолет, но и нож?

— Если нужно, да.

— Вы интеллигентный юноша. Не думаете ли вы, что нож куда более варварское и жестокое оружие, чем ружье и пистолет?

— Я думаю, что пренебрегать оружием, которое может пригодиться в случае необходимости, — трусость и идиотизм.

— Признаете ли вы, следовательно, что ваши действия были направлены против безопасности государства?

— Нет. Государству, в котором подобные действия возможны и необходимы, постоянно грозит опасность.

— При всем том вы были готовы пустить в ход оружие?

— Разве это не очевидно?

— Вполне. Теперь скажите, почему вы надели форму

артиллериста?

— Это уже не форма артиллериста.

— Вы отрицаете, что на вас была артиллерийская форма?

— Артиллерия национальной гвардии расформирована. Форма ее больше не является артиллерийской формой.

— Глупый ответ, арестованный Галуа. Артиллерия была расформирована, значит с этого дня никто не имеет права носить ее форму.

— Не вижу логики.

— Вы — нет, но судья может увидеть. А у вас есть возможность заняться логикой во время предварительного заключения в Сент-Пелажи.

Следователь сладко улыбнулся.

В тот же день «салатная корзинка» доставила Галуа в Сент-Пелажи. Равнодушно выслушал он громкие приветствия.

— Вот он, наш великий ученый Галуа. Добро пожаловать!

— Мы знали, что ты покинул нас ненадолго.

— Он любит нас! Он должен был к нам вернуться.

Заметив светлые волосы и хорошо знакомое лицо, Эварист чуть оживился. Он кинулся к Распаю. Они пожали друг другу руки и в один голос сказали:

— Рад, что ты здесь, старина.

И рассмеялись над собственной глупостью.

25 июля 1831 года

В тот день Распай писал одной приятельнице:

«Для «чистой» публики в Сент-Пелажи только что открылась новая столовая. Ее содержит один заключенный: без патента, без специального разрешения, но и без препятствий. Обслуживают в ней, как в ресторане или в кафе. Там можно найти все, что по правилам запрещается продавать в общей столовой. Рекой льется кофе и ликер. Запрещенная водка передается через решетку в паре ботинок, которую каждый день приносит одна женщина и снова берет как бы в починку. Тюремный смотритель, сопровождающий эту даму, принимает запах спиртного за запах венгерской кожи. Да и как можно подвергать хоть малейшему сомнению правдивость хорошенькой женщины, которая каждое утро, перед тем как идти в тюрьму, наносит визит начальнику отдела тюрем в департаменте Сены мосье Паризо?

Эта столовая приводит меня в отчаяние. Наши светские любители выпить кончают тем, что затаскивают сюда самых благородных из находящихся здесь юных товарищей.

— Идем, идем, бедный мой Эварист! Вы должны быть с нами! Попробуйте выпить этот стаканчик! Без женщин, без доброго вина человек не мужчина!

Отказаться принять вызов — значит струсить. А в тщедушном теле бедняги Эвариста кроется столько храбрости, что он отдал бы жизнь за сотую часть самого незаметного подвига. Бесстрашный, как Сократ, принявший чашу с ядом, он хватает стаканчик и опорожняет его одним глотком, правда зажмурив глаза и скривив губы. Второй стакан осушить не трудней, чем первый. С третьим новичок теряет чувство равновесия. Триумф! Победа! Слава тебе, тюремный Вакх! Ты опьянил чистую душу, которой вино омерзительно!

Пощады, пощады этому ребенку, такому слабому и мужественному! На челе его три года занятий проделали глубокие борозды, какие могут проложить шестьдесят лет ученейших размышлений. Во имя науки и добродетели дайте ему жить! Через три года он будет великим ученым.

Но полиция не верит в существование ученых такого склада. Какими ничтожными показались бы секретари и начальники департаментов — эти люди, на которых и ученые мужи взирают с почтением, эти святоши или либералы, смотря по инструкции, — если бы зерна, посеянные этим молодым ученым, дали ростки в нашей несчастной стране?

Я не сомневаюсь, мадам, что Галуа вызвал бы у вас интерес и уважение. О, если бы у него была такая сестра! Он забыл бы о матери!

Тринадцатого июля этому ребенку сказали, что на другой день все верные патриоты готовятся с оружием в руках защищать свои убеждения. Он ответил: «Мы с другом будем там. Подрастем на несколько дюймов». И оба появились в полном артиллерийском обмундировании, с оружием и снаряжением. Набили карманы пулями, порохом и пистолетами всех сортов. И можете не сомневаться: если бы Галуа вернулся с битвы, он не принес бы назад ни грамма своих боевых припасов. Уверяю вас, сообщники Галуа боялись его присутствия на демонстрации 14 июля не меньше, чем сама полиция. Я убежден, у них стало легче на душе, когда они узнали, что он арестован. Мало ли что можно ждать от достойного человека, рассчитывающего все действия с математической точностью?

Однажды Галуа бродил по тюремному двору с видом человека, лишь тело которого на земле, а дух витает в облаках. Он весь ушел в свои мысли. Завсегдатаи столовой начали задевать его криками из окна: «Эй вы, двадцатилетний старичок! Мало того, что вам не под силу пить, вы и понюхать вино

боитесь!»

Он поднялся наверх, прямо навстречу опасности. Единым духом опорожнил бутылку и швырнул ее в голову наглому задире. Как справедливо было бы, если б Галуа убил его на месте! Ведь ему дали бутылку водки!

Твердым шагом Галуа опять сошел вниз. Он держался прямо; водка была еще в пищеводе. Но горе нам, когда она попала в желудок! Я никогда не представлял себе, что облик бедняги может так резко измениться! Он горделиво выпрямился, как бы стал выше ростом. Он как будто собирался за час исчерпать все жизненные силы, которыми природа щедро одарила бы его в грядущие двадцать лет.

«Как я люблю вас! — сказал он мне, ухватившись за мою руку, как вьющееся растение, которое ищет опоры. — И в эту минуту больше, чем когда-либо. Вы не пьянствуете, вы серьезный человек и друг бедняков. Но что со мной происходит? Во мне как будто два человека, и, к несчастью, я предвижу, который из них одержит верх. Я слишком нетерпелив, чтобы достигнуть цели. Всеми поступками, свойственными моему возрасту, руководит нетерпение. Даже наши достоинства таят в себе этот порок. Вот посмотрите! Я не люблю вина. Но стоит сказать слово, и я пью, зажав себе нос. И напиваюсь. Я не люблю женщин. Мне кажется, я мог бы полюбить только Тарпейю или Гракху.

Знаете ли, друг мой, чего мне не хватает? Я говорю это вам одному: человека, которого я мог бы полюбить всем сердцем. Я, понимаете ли, потерял отца, и никто мне его так и не заменил. О, как вы добры ко мне! Вы не смеетесь надо мной, как смеялись бы эти низкие паяцы из пошлой мелодрамы. Меня берет дрожь, когда я слышу их голоса! В какой мы грязной дыре! Кто вытащит нас из нее?»

Вы прекрасно понимаете, что, как ни трогала меня исповедь этой чистой души, я только и искал удобного случая, чтобы положить ей конец. Я тихонько потянул его к лестнице и заставил подняться в камеру. В этот момент зазвенел колокол: стали запирать двери. Мои товарищи по камере сочувственно отнеслись к несчастному случаю. Без особого труда я уговорил тюремщиков запереть лишь двери, выходящие на лестницу, и оставить незапертой дверь между нашей камерой и камерой нашего подопечного. Мы положили его на одну из коек. Но нашего бедного друга стала трепать лихорадка опьянения. Он то лежал без сознания, то снова возбужденно вскакивал. Он изрекал высокопарные пророчества, которые порой становились смешными.

«Ты презираешь меня, ты, мой друг! Ты прав. Но человек,

который провинился, как я, должен умереть».

И он покончил бы с собой, если бы мы не бросились на него: у него в руках было оружие. Наконец бог сжалился над его страданиями. Его опьянение кончилось рвотой. И бедняга заснул. Его добрым друзьям осталось лишь навести порядок. Мы надели деревянные сабо и стали колотить ногами в дверь. Никто не отозвался. Один из нас, более отважный, чем другие, начал приводить в порядок камеру. Мы убрали ее, как могли, всем, что попалось под руку. Грязные тряпки отнесли в камеру больного, а его оставили у себя. И на другое утро к Науке и Свободе вернулся верный слуга. Молодой друг вновь завоевал наше уважение, а больного мы предали забвению. Несчастный мальчик! Чтобы оградить себя от всех козней, которые ждут его на каждом шагу, ему не хватает лишь капельки недоверчивости. Но природа не награждает этим качеством. Его можно приобрести лишь во вред самим себе, общаясь с другими. О общество! Вот дилемма, которую ты ставишь: либо стать жертвой зла, либо потерять веру в добро! Но есть такие существа, которых ангел — хранитель уносит с земли в тот момент, когда их юному взору открывается сущность нашего лживого строя».

2 августа 1831 года

В этот день Распай писал своему другу:

«С тех пор как я в последний раз писал вам, мадам, важные события произошли в этом уголке земли, куда нас заключил закон. Мы на деле отметили годовщину трех славных дней. Был момент, когда казалось, что годовщина превратится в три дня траура.

27 июля заключенных Сен-Пелажи пригласили отстоять мессу за упокой души июльских жертв. Если бы в этот святой день мы разбили катафалк, появилась бы возможность покарать нас за святотатство. И этой басне поверили бы, ибо Париж все еще чтит славных погибших, как святых. Он рукоплесканиями принял бы обвинителя, который, пользуясь гнусным эпитетом *святотатство*, заявил бы, что пресек попытку осквернить память храбрейших сынов Парижа.

Сразу же после мессы из толпы внезапно послышались голоса, что нужно уничтожить жалкий катафалк, оскорбляющий память революции. За этот год правительство так часто подвергало эту славную память оскорблениям, что ныне оно не может и слова сказать о ней, чтобы его не приняли за новое надругательство. Итак, не найдись в толпе две-три здравые головы, предложение, прозвучавшее из толпы, осуществили бы

тем более легко, что тюремщики (по причине, известной лишь им самим) уже разошлись. Благоразумие состоит не в том, чтобы прямо выступить против злого помысла, но в том, чтобы заменить его иным — безобидным. Это и было сделано. И столь искусно, что зачинщики продолжали с гордостью думать, что этот мудрый поступок был совершен по их воле. Вместо того чтобы разбить катафалк, его вынесли во двор с тем, чтобы он простоял три дня в знак траура, внушая почтительное молчание во имя самой святой и возвышенной скорби.

Наступило 29 июля. Ни единого инцидента, хотя бы самого ничтожного. Прозвонил колокол, возвещающий время запирать двери. Предполагаемый мятеж так и не разразился.

Бах! Не успели запереть камеры, как раздался выстрел. Мы услышали крики: «На помощь! Убийца!»

Двери нескольких камер задрожали под градом ударов. Позвякивание ключей возвестило нам, что тюремщики поднялись наверх в полном составе и вновь спустились в сопровождении двух-трех заключенных, которых боль и возмущение вынудили к протесту. Вслед за этим на всю ночь — глубокая тишина. Понимаете ли, мадам, какие только предположения мы не строили! Двенадцать часов предстояло ждать, пока мы не сможем выяснить, в чем причина столь необыкновенного события.

Когда открылись двери, из каждого «пистоля», из каждой камеры хлынули во двор заключенные. Отсюда, вопреки усилиям стражей, поток наводнил канцелярию и контору директора. Сей чиновник, потерявший от страха голову, был бы задушен руками доведенных до исступления арестантов, если бы не вмешательство старших надзирателей и прочих советников префектуры, появившихся в самый последний момент.

— Стало быть, нас, беззащитных, собираются тут прикончить одного за другим? — единодушно, охваченные общим порывом, выкрикнули заключенные.

— Нет, господа, — отвечали высокие полицейские чины тем невозмутимо-официальным тоном, которым палач приглашает жертву положить голову на плаху. — Это не входит в намерение администрации. Вас не собираются убивать.

— А где же те трое заключенных, которых здесь недостает?

— В карцере.

— В карцере? Что же они такое сделали, чтобы бросать их в карцер?

— Они подняли шум и нагло жаловались.

— Нагло! Как можно быть наглым с такими, как вы? На что же они жаловались?

— Один сказал, что ему выстрелили в лицо. Другой это

подтвердил.

— Это правда?

— Безусловно.

— Виновный вам известен?

— Мы его подозреваем.

— И он не в карцере?

— Правосудие расследует.

— Оставьте нас в покое с этой фразой. Над ней стали смеяться даже лавочники. Правосудие расследует! Как бы не так! Не говорите о правосудии. Вы обошлись без него. Вы по своему произволу бросили в карцер наших друзей. Почему же вы не схватили виновника этого чудовищного преступления?

— Мы еще сомневаемся.

— Вы бессовестно лжете, господа доносчики, — раздался из толпы голос человека, до сей поры стоявшего безмолвно. Те оцепенели от ужаса. — Я все видел и все знаю. Я вчера вечером не просился вниз. Я предвидел, что, когда имеешь дело с пошлой и скрытной душонкой, вроде нашего директора, лучше промолчать, зато назавтра быть свидетелем. Видите, как он побледнел и растерялся? Этот укрыватель убийц знает, что я буду говорить правду.

— Я ничего не боюсь, — залепетал директор.

— Не боишься, но дрожишь. Ты хочешь сказать, что ни в чем не раскаиваешься, потому что действовал по приказу. Факты таковы. Я занимаю камеру, расположенную под крышей банного павильона. Все спокойно ложились спать. Тот, чья койка стоит в простенке между двумя оконными рамами, поневоле должен, раздеваясь, стоять лицом к окну. Он вполголоса напевал какой-то мотив.

В это мгновение с чердака напротив кто-то выстрелил. Мы думали, что наш товарищ мертв. Он был лишь без сознания! Откуда раздался выстрел, была ли серьезной рана, мы не знали. Мы стали звать на помощь. Ведь в камере, со всех сторон открытой шестью окнами, любой чуть более точный выстрел сразил бы жертву наповал. Какую нам оказали помощь, вы знаете. Но вам должен быть известен и виновный, подстроивший эту западню.

— У нас есть сомнения на этот счет.

— Я намерен вас убедить окончательно. Этот человек обитает на чердаке, откуда раздался выстрел. Он и сейчас там. Пошлите за ним.

— Не имеем права.

— Почему же? Это ведь тюремный стражник, который еще вчера сторожил нашу дверь.

— Один из наших?

— Ну да, один из ваших! — возмущенно закричала толпа. — Тот, кто занимает чердак на улице Пюи-де-Лермит. Вы прекрасно знаете. А если хотите убедиться, возьмите с собой любого из нас, он вам покажет дорогу.

— У нас на этот счет не имеется распоряжений.

— Что? Нет распоряжений схватить виновного, раз он вашего поля ягода? А бросить в карцер жертву и свидетелей подлой западни — на это у вас есть распоряжение? Утверждать, что администрация подкупает тюремщиков, чтобы убивать заключенных, — это и в самом деле выглядит наглостью. Но что поделаешь, если это так и есть? А я свидетель, что ни в какой другой наглости брошенные в карцер не повинны. Молодой Галуа голоса не возвышает, вам это хорошо известно. Когда он с вами говорит, он холоден, как и его математика.

— Галуа в карцере! Ах, подлецы! Они смеют мучить нашего маленького ученого!

— Да, еще бы! Жалят его, как гадюки. Его завлекают во всевозможные ловушки. А потом им нужно спровоцировать бунт.

— Будет им бунт! Будет повод устроить резню! Лучше умереть вместе, чем позволить перестрелять себя одного за другим, как голубей. Долой полицейских шпионов! Вон отсюда, убийцы! Тюрьма наша. Она станет нашей крепостью! Вперед!

Надо было видеть, мадам, как, услышав этот крик — он и сейчас звучит в моих ушах, — представители власти пустились наутек. С какой быстротой тяжелые двери разом повернулись на петлях.

Заключенные закрыли двери за караульными. Столами и конторками забаррикадировали окна и двери. Решетку во дворе закрутили железными цепями. Ключом к такому замку мог бы послужить только напильник. Политические заключенные объявили мятеж. Теперь и дети вышли на свободу. Они могли бы бежать из тюрьмы, но и не подумали! Они сказали, что служат свободе. С непостижимой быстротой эти мышки принялись грызть железные звенья мышеловки, ослабить которые стоило такого труда взрослым. Железные прутья с готовностью гнулись и ломались в их пальцах, как стеклянные трубочки. Прутья лестницы растаяли у нас на глазах, как в гигантском горниле. Через четверть часа от них не осталось и следа. Куда делось это железо, которым пятнадцать минут тому назад щетинилась тюрьма? Догадайтесь сами. Мы обыскали все уголки здания, но так ничего и не нашли. И ведь наружу ничего не выносили. А эти обезьянки с величайшим равнодушием слушали, как заключенные спрашивают друг друга, что случилось.

Что бы там ни было, день прошел в приготовлениях к обороне и полнейшем мире и тишине. Тюрьма осталась без надзирателей, и никогда еще не было в ней так спокойно. Никогда не царил такой порядок в этом сборище людей, которых наш справедливый закон преследует, как поборников смуты. Любопытно видеть, как мирно живут люди с той минуты, как они сами себе хозяева! Господа утверждают прямо противоположное, но они лгут, мадам, можете в этом не сомневаться.

С утра до ночи здание, контора, канцелярия, караульные помещения, столовые принадлежали нам. Когда власти возьмутся за проверку инвентаря, я могу вас уверить, окажется, что не пропал и стаканчик из столовой.

У нас был ключ от всех дверей, ведущих в помещения для арестованных. Его добыли наши ребятишки, подставив подножку удиравшему в панике тюремщику.

Не было сомнения, что администрация совещается и не ждет грядущих событий сложа руки. Правда, к нам они не обратились с увещеваниями. И национальной гвардии не было приказано устроить нам осаду.

Среди заключенных царил революционный дух. Все были полны мужества и решимости защищать общее дело. Один из нас, старый офицер, подражающий Наполеону, расхаживал по двору, неподвижно глядя перед собой, заложив руки за спину. Не можете представить себе, какое удовольствие чувствуешь, освободившись от зла! Как легко на сердце, когда вокруг друзья!

Признаюсь вам в своем ребячестве: никогда еще борьба за справедливость не представлялась мне в более привлекательном свете! И когда вечером, в сумерках, мостовые прилегающих улиц огласились эхом скачущей кавалерии, появившейся эскадрон за эскадроном; когда, перекрывая стук ружейных прикладов пехоты, до нас донеслись слова: «Стой!» и «К ноге!» — я понял высокое нетерпение трепетного скакуна, пламенными ноздрями почуявшего запах битвы. О, кто даст мне когда-нибудь возможность еще раз сразиться за святое дело плечом к плечу с людьми, которые — я твердо знаю — не шпионы!

Вдруг большая парадная дверь открылась, и у решетки появилось великое множество чиновников префектуры, чтобы вступить с нами в переговоры.

— Префект здесь? — спросили заключенные.

— Приедет очень поздно. Он на придворном балу.

— На придворном балу! Сейчас?!. Шутники они там, при дворе. Танцуют, когда здесь, не вытерпев мучений, восстали несчастные узники! В таком случае идите напомните, что его место здесь. Скажите, что с ним желают говорить заключенные.

— Мы имеем те же полномочия, что и он. К порядку! Иначе…

— Иначе?

При этих словах я увидел, как все это сборище форменных головных уборов и трехцветных шарфов одним прыжком оказалось на улице: один заключенный сделал вид, что хочет взяться за прутья решетки.

— Гвардейцы, к нам! Гвардейцы! — всполошилось потерявшее остатки достоинства начальство, чихая, кашляя, сморкаясь.

И взвод за взводом гвардейцы, примкнув штыки, бросились к воротам но чуть не расплющили носы о решетку.

— Эй, берегись! — закричали арестованные. — Не сверните шею. Стойте лучше спокойно. Да не бойтесь. Мы первыми не начнем.

И снова тюрьма приняла тот же спокойный вид, какой имела весь день, как будто целая армия не ждала у дверей сигнала к нападению. Стояла одна из тех прелестных летних ночей, когда сумрак приятен, как тень днем. Наши детки, которых развеселила случившаяся сцена, стройно и гармонично запели хором. Их учитель музыки отбивал ритм. Бедные маленькие парии! Лебедиными голосками они пели, приветствуя ночь, прилетевшую к ним в темницу на крыльях ветерка вместе с еще одной звездой, звездой падучей, мимолетной, которая блеснет в настоящем и затеряется в будущем, — звездой Свободы!

Мы так заслушались милым пением детей, что в конце концов совсем забыли о трудных обстоятельствах, собравших нас в этот поздний час за стенами камер. Забыли, почему мы свободны от надзора.

Между тем, не слишком подверженные музыкальным чарам, а такие были среди нас, могли бы заметить, что вокруг рыщут призраки. Вид их весьма напоминал тех, кто всегда возбуждал в нас серьезнейшие подозрения. Чуть побольше той недоверчивости, с которой благоразумному человеку никогда не следует расставаться во времена революции, и мы увидели бы, как эти тени направляются к воротам решетки, чтобы сбросить с них цепи.

Неожиданно ноктюрн был прерван криком: «Спасайся кто может!» Железные ворота, так искусно забаррикадированные нами, открылись как по волшебству! Примкнув штыки, во двор вошли гвардейцы. Наши храбрые вояки спаслись бегством на верхнем этаже. Даже наш Наполеон, впервые за его доблестную карьеру, повернулся спиной к врагу. Неприятель почти бегом устремился по двору и вдруг отпрянул назад, как доселе бесстрашный путешественник, только что наступивший на хвост

змеи.

Путь к победе преградил двойной ряд детей: поменьше — в первом ряду, старшие — во втором. Все они были вооружены теми самыми железными прутьями, которые мы безуспешно искали весь день. Эти дьяволята прятали их до поры до времени в своих штанишках. И ни одному их движению, ни одной проделке, ни одному прыжку ничуть не помешали твердые железные прутья, спрятанные под одеждой. Мы видели, как энергично они размахивают своим оружием. Не оставалось сомнений, что кровь польется, как на поле брани. Так и случилось бы, если бы не благоразумие полицейского комиссара, который счел за благо капитулировать, и если бы заключенные, которых эти неукротимые лилипуты облекли своим доверием, не приняли предложение сдаться.

Первый ряд уже готовился бросить железные прутья в лицо гвардейцам, а потом пробраться между ног тех, кто устоит, и запустить прутьями им в спину. Тем временем второй ряд пустил бы в ход холодное оружие и завершил дело, начатое малышами.

Не смейтесь над этими притязаниями. То, о чем я рассказываю вам, казалось вполне серьезным. Никому из присутствовавших не было смешно. Но если внизу, во дворе, мятеж был подавлен, на верхних этажах еще не все было потеряно. Стоило открыть двери камер имеющимся у нас ключом, и костер из всех тюремных тюфяков и матрацев прикрыл бы отступление восставших. Беспорядок облегчил бы нам бегство. Разочарованному победителю не досталось бы ничего, кроме почерневших стен.

Капитуляция была почетной для малышей. Ни волосок не слетел с их голов. Требования заключенных были полностью удовлетворены: их заверили, что завтра на рассвете к ним возвратят товарищей. Урок обошелся администрации дороже, чем она рассчитывала. Двадцать тысяч франков не возместят убытков, вызванных провокацией к мятежу. Власти, несомненно, будут мстить. Но в конце концов сила осталась на правой стороне, выступившей против жестокости, насилия и коварства. В Сент-Пелажи воцарился порядок!

В тюрьме все пошло наоборот: ею управляют люди, брошенные сюда теми, кого привела к власти июльская революция».

1831 год

Галуа провел 30 июля в карцере — темном, тесном, с массивной дверью. Вытянувшись на жесткой койке, он старался в

точности припомнить последовательность событий, которые привели его сюда.

Их было четверо в сносной, вполне удобной камере с шестью окнами: прекрасная мишень для стрельбы с чердака на другой стороне улицы Пюи-де-Лермит. Они раздевались. Вдруг послышался громкий выстрел, и в стену врезалась пуля, пролетевшая между Эваристом и его товарищем. Товарищ упал без сознания. Галуа был уверен, что пуля прошла на волосок от его головы.

На крики заключенных появились три тюремщика и директор тюрьмы собственной персоной. Сей важный чин и не подумал взглянуть на лежавшего без чувств. Он лишь вытаращил глаза на Галуа. Эварист мог побожиться, что видел, как на лице директора последовательно сменяют друг друга удивлений, разочарование, злоба и, наконец, дикая ярость.

Затем важная персона подняла кулак и заорала на Галуа:

— Вы стреляли в товарища! Вам не терпится кого-нибудь убить, неважно кого! Ну, я же вам задам…

Галуа стоял не шевелясь. Он был слишком взбешен и не мог позволить себе потерять самообладание. Если бы он был вооружен, он действовал бы иначе. Один из заключенных без чувств лежал на полу. Другой, сидя на койке, хранил молчание.

Третий наскочил на директора с криком:

— Сами хотите нас убить, а других обвиняете!

Заключенный, до сих пор лежавший на полу замертво, подал первые признаки возвращения к жизни: брыкнул одного из тюремщиков ногами.

Директор показал на Галуа и двух других:

— В карцер.

Одного оставили в камере — того, кто молча сидел на койке. Галуа удовлетворенно улыбнулся. Тут они промахнулись. Он знал, что заключенный, который вел себя с таким хладнокровием, храбр и осторожен. Нетрудно догадаться, почему он не вмешался.

Кому они готовили эту пулю?

Нужно поговорить с Распаем. Рассказать о подозрении. Пуля предназначалась ему, Галуа.

Его мысли прервал громкий стук в дверь.

— В Сент-Пелажи вспыхнул бунт. Тюрьма наша. Ждите. Мы откроем дверь, и вы свободны.

Сквозь дверь ему прокричали о том, что случилось, и убежали, пообещав вернуться и взломать дверь. Но не вернулись.

Он вспомнил, как год тому назад по улицам Парижа шагала победоносная революция. Тогда он сидел взаперти в Подготовительной школе. Сегодня победоносная революция

совершается в Сент-Пелажи. А он в карцере.

«Какие успехи! И достигнуты за один год. Из школы — в Сент-Пелажи. Та же роль. Всегда та же. Сидеть взаперти, бездействовать. Но сегодня по крайней мере я один из тех, кто вызвал революцию. Какое огромное достижение в самом деле! Заключенные взбунтовались, чтобы выручить меня».

Однако в пылу сражения заключенные не вспомнили о товарищах, ради которых они начали борьбу. Галуа и его двух друзей освободили из одиночных камер не раньше, чем на другой день, и не кто иной, как законные тюремные власти.

Потом он снова часто думал о пуле, посланной в его камеру. Рассказать о своих страхах и подозрениях Распаю он постыдился. Такая ли он важная персона, чтобы послужить мишенью для пули, специально предназначенной для него хитро задуманным планом? Это казалось слишком неправдоподобно. Он был о себе более скромного мнения. Но потом он вспомнил предостережения защитника мосье Дюпона. Впрочем, даже если его подозрения и основательны, как можно что-нибудь доказать? Стрелявший, несомненно, скажет, что выстрел произошел случайно, во время чистки ружья. А кроме того, Эварист с каждым днем чувствовал все большее безразличие, все большую усталость.

В октябре он получил письмо, которого прождал больше двух лет. Письмо с печатью института. Наконец-то оно нашло дорогу в Сент-Пелажи! Конверт был большой и толстый. Стараясь сохранить спокойный и равнодушный вид, Эварист вскрыл его. В конверте была его рукопись и письмо от секретаря академии.

«Дорогой мосье Галуа,

Ваша рукопись была послана для ознакомления мосье Пуассону. Он возвратил ее нам с отзывом, который мы здесь и приводим.

«Мы приложили все усилия, чтобы понять доказательство мосье Галуа. Его рассуждения недостаточно ясны, недостаточно развернуты и не дают возможности судить, насколько они точны. Мы не в состоянии даже дать в этом отзыве наше мнение о его работе.

Автор заявляет, что теорема, которой посвящена его работа, является частью общей, широко применимой теории. Часто разные части теории взаимно объясняют друг друга и становятся более понятными, когда они изложены в совокупности, а не отдельно. Поэтому, чтобы составить определенное мнение, следует подождать, пока автор опубликует работу полностью».

На этом основании мы возвращаем вашу рукопись и надеемся, что вы извлечете из замечаний мосье Пуассона пользу

для вашей дальнейшей работы».

Письмо было подписано секретарем академии Франсуа Араго.

Галуа пошел со двора к себе в камеру. Там никого не было. Он перечитал письмо. Рот его искривила гримаса отвращения. Он разорвал письмо пополам, потом на четыре части, на мелкие кусочки. Крепко зажав их в кулаке, он другой рукой открыл парашу и, задержав дыхание, бросил туда. Закрыл крышкой, отскочил к окну и глубоко вздохнул.

Затем он просмотрел отвергнутую рукопись. Да, та самая, которую он послал в академию десять месяцев тому назад. На первой странице кто-то наверху написал: «Поручено рассмотрению мосье Лакруа и мосье Пуассона». Он посмотрел на примечание, которое Пуассон написал карандашом на полях третьей страницы:

«Доказательство этой леммы неполно. Но лемма правильна — смотри работу Лагранжа № 100, Берлин, 1775».

У Эвариста голова пошла кругом, пока сумятица мыслей не сменилась четкими формулами презрения и ненависти:

«Ничего не поняли! А я только просил их внимательно прочесть эти немногие страницы — не больше. Правда, они трудны. Но если бы я развернул их в целую книгу, эти пустоголовые академики заявили бы, что это, мол, для них слишком длинно. Им некогда читать. Ничтожные людишки! Я покажу им! Нужно опубликовать результаты. Кто-нибудь, может быть, прочтет, поймет?

Мир должен знать, как со мной поступили эти люди. Пусть будущие поколения рассудят меня и Пуассона. Академию и меня. Надо наказать их за то, что они со мной сделали. Здесь, в Сент-Пелажи, где меня карает жестокий и бессмысленный политический строй, я накажу всех вас, чопорных, тщеславных, вполне довольных собой. Еще бы! Они двинули математику вперед! И вклад их в науку так ничтожен, что кто угодно может оценить его по достоинству».

У него появилась идея, и он, все сильнее волнуясь, стал развивать ее. Вот рукопись, отвергнутая академией. Среди его бумаг есть еще одна, почти законченная работа по теории уравнений. Переписать и закончить ее не составит труда; все выводы ясны; он держит их в голове. Он опубликует эти две работы, дающие решение центральной проблемы алгебры, материалы, затрагивающие самые основы. Он знает, как они важны. Он напечатает их сам в виде маленькой брошюрки! Стоить должно немного. Всего две работы и введение. Введение! Введение будет такое, что его прочтет каждый. Даже Коши,

Пуассон и экзаменаторы из Политехнической школы. Правда, без особого удовольствия.

Кому направить брошюру? Он представил себе пачку книжечек, лежащую у него на столе. Они будут похожи на памфлеты Общества друзей народа. Более броским будет только заглавный лист. И красная обложка. Он разошлет их по всему миру. Нужно составить список. Он написал: Гаусс, Якоби. Крупные французские математики: Лакруа, Пуассон, Коши. Пусть видят, что им не сбить с толку Эвариста Галуа. Пусть читают введение, краснеют и стыдятся своих позорных поступков. Он написал имена своих учителей: Вернье, Ришар, Леруа. Несколько экземпляров — в учебные заведения. Обязательно! Не забыть Нормальную школу. Мосье Гиньо следует иметь в библиотеке брошюру Галуа. Пусть почитает введение. И, разумеется, экземпляр в Политехническую школу. С уверениями в совершенном почтении. Один экземпляр в институт. Список хорош. Теперь за работу. Через несколько дней все будет готово. Нужно попросить Шевалье уладить формальную сторону дела. Друг будет счастлив это сделать.

Эварист написал заглавие:

ДВЕ РАБОТЫ ПО ЧИСТОМУ АНАЛИЗУ
Эварист Галуа

Предисловие

«Как начать? — думал он. — Писал ли кто-нибудь в двадцать лет от роду такую важную работу? Правда, когда Гаусс написал свои «Исследования», он был немногим старше. Но как с ними обошлись — и как со мной? Я помню, он на первой странице «Исследований» выражает благодарность своему покровителю, герцогу Брунсвикскому. Большими буквами. У Гаусса была помощь. А мне кто помогал? Мне помощи не надо. Мне нужны враги. Пусть возражают, спорят, пытаются опровергнуть. Нет! Мой удел — безразличие, пустота, молчание. Никто моей работы не понимает и не пробует понять».

Эварист писал введение. Гнев и презрение водили его пером. Слова, предложения появлялись с невероятной быстротой. Он вычеркивал одно, вставлял другое, быстро покрывая бумагу неровным, мелким, небрежным почерком.

Вот что он писал в предисловии:

«Во-первых, вы заметите, что титульный лист настоящей работы не загроможден именами, чинами, званиями, титулами и похвалами по адресу какого-нибудь скупого вельможи, чья

щедрость распустилась бы пышным цветом под курениями фимиама, грозя увянуть вновь, когда кадило опустеет. Не увидите вы напечатанных буквами величиной в три человеческих роста уверений в нижайшем почтении какому-нибудь ученому мужу, занимающему высокое положение в науке, или покровителю — вещи необходимой (я едва не сказал — неизбежной) для того, кто в двадцать лет хочет писать. Я никому не говорю, что обязан его совету или поддержке. Не говорю, ибо это было бы ложью. Если бы я обратился к сильным мира сего или мира науки (а в настоящее время разница между этими двумя понятиями неуловима), клянусь, это не были бы слова благодарности.

Сильным мира науки я обязан тем, что первая из двух работ выходит так поздно. Сильным мира сего я обязан тем, что работаю в тюрьме — обители, едва ли располагающей к размышлениям. Я не раз поражался здесь собственной апатии, с которой молча выслушивал моих неумных, невежественных, злобных критиков. В мою задачу не входит говорить, за что и почему я в тюрьме. (Автор — республиканец и член Общества друзей народа. Он жестом показал, что цареубийство может оказаться желательным.) Но я должен рассказать, как часто рукописям суждено затеряться в папках господ членов института, хотя подобная беспечность со стороны тех, на чьей совести уже лежит смерть Абеля, непостижима. Я не хочу сравнивать себя с этим знаменитым математиком, но достаточно сказать, что моя рукопись по теории уравнений была представлена в академию наук в феврале 1830 года (а в сокращенной форме — в 1829 году) и я никогда больше не слышал об этих рукописях и что увидеть их вновь невозможно. Сказанного достаточно, чтобы читатель понял, почему для меня было бы абсолютно неприемлемо украсить или обезобразить — как вам будет угодно — мою работу посвящением.

Во-вторых, обе работы невелики. В них по меньшей мере столько же французского, сколько алгебры. В этом отношении я виноват. Ведь было бы так легко употребить последовательно все буквы алфавита в каждом уравнении, пронумеровав их по порядку. Таким образом, число уравнений увеличилось бы до бесконечности: ведь, кроме латинского алфавита, есть еще и греческий. Если оба будут исчерпаны, ничто не мешает нам воспользоваться арабскими буквами и, при желании, китайскими иероглифами. Так просто было бы десять раз изменить каждую фразу, не забыв снабдить каждый новый вариант громким словом *теорема;* в результате *нашего анализа* прийти к выводам, известным еще с времен доброго старого Эвклида; наконец в начале и в конце каждой теоремы грозным строем расставить

специальные примеры. И из такого количества возможностей я не сумел выбрать ни одной!

В-третьих, первая из приведенных здесь двух работ побывала пред оком знатока. Сокращенный вариант, посланный в академию в 1831 году, был передан для ознакомления мосье Пуассону, сказавшему, что он в ней ничего не понял. На взгляд автора — быть может, тщеславный — это просто доказывает, что мосье Пуассон либо не захотел, либо не смог меня понять. На взгляд читателя это, несомненно, будет означать, что моя книжка лишена какого-либо смысла.

Все это заставляет меня полагать, что работа, которую я предлагаю публике, будет принята ученым миром с улыбкой сострадания; самые снисходительные назовут меня неудачником. Меня будут сравнивать с теми, кто каждый год без устали находит новое решение проблемы квадратуры круга. Меня ждут — я это знаю — дикие насмешки экзаменаторов Политехнической школы. Они прибрали к рукам издание книг по математике и не преминут выразить неодобрение тому, что молодой человек, дважды ими отвергнутый, берет на себя смелость писать, и не учебник, а научный трактат. (Между прочим, меня удивляет, что эти экзаменаторы не занимают мест в академии; ведь в памяти потомков для них едва ли найдется место.)

Все это сказано для того, чтобы показать, что я заведомо обрекаю себя на осмеяние глупцов.

Если, почти не надеясь на успех, я все-таки печатаю плоды моего труда, то это для того, чтобы друзья, которых я нашел до того, как меня заживо похоронили под семью замками, знали бы, что я жив. И, быть может, в надежде, что моя работа попадет в руки тех, кому глупая спесь не помешает прочесть ее, и что она направит их на новый путь, по которому, как я считаю, должен пойти анализ.

Разумеется, я говорю здесь только о чистом анализе».

По мере того как новые страницы покрывались торопливым, нервным почерком, он испытывал все большее облегчение. Вот его ответ на суждение, которое вынес о работе Пуассон. Теперь пером его водил здравый смысл. Он писал о математике, анализе, о значении изящества и простоты в работе, о развитии алгебры в будущем, и к нему вновь вернулись спокойствие и самообладание.

Он дошел до заключительных слов вступления. Твердо, уверенно, чувствуя себя куда выше всех этих академиков, он писал:

«Общее положение, выдвинутое мною, нельзя понять, не прочитав внимательно всю работу, являющуюся применением

этого общего тезиса. Мои теоретические установки не сделаны предварительно, они вытекают из применения. Но, кончив книгу, я спросил себя: почему она так непонятна большинству читателей? Полагаю, что причину следует искать в моем стремлении избегать выводов и подсчетов; более того, я признаю непреодолимой трудностью подобные общие подсчеты в трактуемом мною предмете.

Можно легко догадаться, что, работая над столь новой темой, избрав столь необычный путь, я часто встречался с трудностями, которых не удалось преодолеть. Поэтому в обеих работах, и особенно во второй, более поздней, читатель нередко найдет фразу «я не знаю». Тот класс читателей, о котором я говорил вначале, не преминет найти здесь причину для насмешек. К несчастью, немногие отдают себе отчет в том, что самая ценная книга истинного ученого — та, где он откровенно заявляет, что именно ему неизвестно. Хуже всего для читателя, когда автор скрывает трудности.

Когда конкуренция, иными словами — эгоизм, не будет более господствовать в науке, когда люди будут сотрудничать для научной работы, а не для того, чтобы посылать в академии запечатанные пакеты, — они будут спешить с публикацией пусть незначительных, но свежих результатов исследований, добавив: «Остального я не знаю».

Эварист кончил. Он устал, но теперь ему было легче. Злоба и презрение исчезли, остались лишь безразличие и вялость. Затея с изданием брошюры казалась ему теперь ребяческой и никчемной. Что ему за дело до Коши и Пуассона, до экзаменаторов Политехнической школы? Что за дело до всего на свете? Все неважно, кроме мгновений, когда отступает тьма и открываются новые дали. Здесь, в гнилой дыре под названием Сент-Пелажи, стоит жить только ради этих мгновений.

1831 год

Медленно поворачивалась ржавая, тяжелая машина правосудия. Для тех, кого подхватило, закрутило, сломило это неизменное, постоянное вращение, выхода не было. Порой казалось, что машина остановилась, упустила жертву. Но скоро жертве напоминали, что система не стоит на месте. Придет и твой черед.

Галуа прождал июль, август, сентябрь. Наступил октябрь, а суда все еще не было. Более трех месяцев предварительного заключения! В прошлый раз он провел в Сент-Пелажи всего месяц, а на этот — уже три. Три месяца за то лишь, что он надел

форму артиллериста национальной гвардии! Нет, даже он недооценил тиранию этого режима. Если его и оправдают, все равно никто не возместит этих трех месяцев отчаяния и горя. Если его приговорят к двум неделям тюрьмы, он все-таки просидит в тюрьме две недели и еще три месяца предварительного заключения. Стоило назвать его заключение «предварительным», и вот оно уже не существует в глазах закона. Но оно не стало от этого менее реальным.

«Сколько же еще дней? — спрашивал себя Эварист. — Сколько недель? Это зависит от суда. Но в любом случае к приговору следует добавить некую произвольную величину — срок предварительного заключения. На мою долю выпала честь выяснить, как может быть велика эта константа интегрирования.

Во многом меня не могут обвинить. Все мое преступление в том, что я надел форму гвардейской артиллерии. То же делали и многие другие. В этом-то и заключается моя ошибка. Я совершил нечто слишком незначительное для суда присяжных. Нечто маловажное, мелкое. Теперь они осторожненько и преспокойно забрали меня в лапы. Они обойдутся даже без присяжных. Правосудие куда более действенно, когда имеет менее величественный вид. Я подстрекал людей против Луи-Филиппа, и меня оправдали. Но за то, что я надел форму гвардейской артиллерии, я был и буду наказан потому, что я подвластен не двенадцати присяжным, а одному судье, такому же незначительному и маловажному, как и преступление, в котором меня обвиняют. Судью ничего не стоит рассчитать, а раз так, он должен угождать хозяевам».

За то, что Дюшатле нарисовал грушу и написал на стене, что приносит ее во имя свободы на гильотину, его оправдали. Но за ношение формы гвардейской артиллерии Дюшатле и Галуа судили только в конце октября. Они нарушили статью 259 уголовного кодекса. Суд был недолог, судья — полон решимости и не слишком разговорчив. Он огласил приговор: Дюшатле — три месяца тюремного заключения, Галуа — шесть.

Орлеанистская пресса возликовала. Она уже однажды радовалась, когда 14 июля схватили заклятого врага короля Эвариста Галуа. Теперь, когда, отбыв более трех месяцев предварительного заключения, он был приговорен к шести месяцам тюрьмы, она снова торжествовала. Больше девяти месяцев! Почему Галуа наказан вдвое строже, чем Дюшатле? Ответ был прост. Орлеанистская пресса решила, что судья мудр и справедлив. Галуа провинился вдвое больше, чем Дюшатле. Верно, что обоих схватили одновременно и при тех же обстоятельствах. Верно, что оба были в мундирах

расформированной гвардейской артиллерии. Верно, что у каждого был заряженный пистолет и заряженное ружье.

Но была и весьма существенная разница. У Галуа был нож, у Дюшатле — нет. Если на одну чашу весов правосудия положить форму артиллериста, пистолет и ружье, а на другую — только нож, чуткий инструмент справедливости будет сохранять полное равновесие. Слова «За Луи-Филиппа», сказанные однажды, когда был занесен клинок, придали ножу вес и значение. Значит, Галуа, положивший на чашу весов груз вдвое больший, чем Дюшатле, должен по справедливости отсидеть в тюрьме вдвое дольше.

Буржуа, любящие Луи-Филиппа, были счастливы узнать, что жизнь их короля целых полгода будет вне опасности. Они боялись только, как бы апелляционный суд не изменил приговора. С облегчением прочитали они про себя — или вслух, своим толстым женам или семейству в полном составе — отчет о заседании апелляционного суда, напечатанный в «Газетт де Трибюно» («Судебной газете»).

КОРОЛЕВСКИЙ СУД В ПАРИЖЕ

(Апелляции)

Председательствующий — *мосье Деосси*
3 декабря.

Слушалось дело господ Галуа и Дюшатле, привлеченных к суду за незаконное ношение формы и запрещенного оружия.

«Газетт де Трибюно» напечатала отчет о суде, приговорившем двух молодых людей, Галуа и Дюшатле, первого к шести, второго к трем месяцам тюремного заключения. В день ареста, 14 июля, оба были одеты в форму артиллеристов национальной гвардии и имели при себе заряженные ружья и пистолеты, а мосье Галуа еще и кинжал.

Оба обжаловали приговор. Мосье Галуа — тот самый молодой человек, который привлекался к судебной ответственности в июне за некий тост, предложенный на банкете в «Ванданж де Бургонь». Тогда он был, однако, оправдан и немедленно освобожден. Прокурор также подал кассацию о более строгом наказании.

На вопрос председателя суда мосье Деосси оба обвиняемые заявили, что хотели присутствовать при посадке деревьев свободы. Опасаясь, как бы их не

оскорбили, они взяли с собой оружие и решили, что вправе еще раз надеть прежнюю форму артиллеристов национальной гвардии.

Мосье Шовен, художник, бывший артиллерист, показал, что и после 1 января 1830 года, когда была распущена артиллерия национальной гвардии, те, кто в ней состоял, считали себя вправе продолжать носить форму.

Мосье Распай, писатель, в настоящее время отбывающий заключение в Сент-Пелажи, сделал аналогичное заявление.

Мосье Биксио, студент-медик, заявил:

«Артиллеристы считали роспуск гвардейской артиллерии незаконным. Я без колебаний надеваю форму, когда нахожу это нужным для своей безопасности. И, насколько мне известно, королевский прокурор никогда не возбуждал против меня судебного преследования».

Мосье Бенуа, старший полицейский офицер района Сен — Виктор, показал, что утром 14 июля направился на квартиру Галуа с ордером на арест. Арест не был произведен ввиду отсутствия обвиняемого.

Господа Ледрю и Муссен, защитники обвиняемых, привели доказательства, подтверждающие, что обвиняемые состояли в артиллерии национальной гвардии. Защитники сослались на обычай, разрешающий солдатам на некоторое время после демобилизации сохранить форму.

Мосье Тарб, прокурор, опроверг утверждение защитников. Он считает, что господ Галуа и Дюшатле следует осудить за двойное преступление: незаконное ношение и формы и запрещенного оружия.

Мосье Мулен чрезвычайно удивлен, что прокурор настаивает на вынесении более строгого приговора. Разве возраст молодых людей, пять месяцев, проведенных ими в предварительном заключении, и их очевидное чистосердечие не являются смягчающими обстоятельствами?

Судьи удалились на совещание и через полчаса объявили следующее решение:

«Принимая во внимание, что незаконное ношение формы, в котором повинны Дюшатле и Галуа, усугубляется тем обстоятельством, что оба имели при себе заряженные ружья и пистолеты, а Галуа — еще и

нож, спрятанный в одежде, суд отвергает апелляционную жалобу и полностью оставляет приговор в силе».

И, дочитав до конца, буржуа удовлетворенно отметил, что во Франции царит закон, порядок и справедливость. Протянув руку детям для поцелуя, благосклонно кивнув жене, он взял свой цилиндр, желтые перчатки, трость с серебряным набалдашником и в полном мире и покое направился на Биржу.

1832 год

Перебирая в памяти подробности сегодняшней семейной сцены, Галуа беспокойно ворочался на койке. Его навестили старшая сестра, мадам Шантло, и младший брат Альфред. Со времени замужества сестра с каждым днем все больше превращалась в светскую даму. Когда Эварист спросил, как поживает мать, на глаза мадам Шантло навернулись слезы.

— Я рада, что ты заговорил о маме, — сказала она с деланной чувствительностью. — Она ужасно страдает. Если не ради самого себя, то ради нее, будь добр, постарайся жить нормальной жизнью, когда ты покинешь эти стены.

Да. Это ее точные слова. Сколько раз после смерти отца он слышал их? Нужно жить нормальной жизнью. Ради самого себя, ради матери. Ради всех Галуа и всех Демантов. Сколько раз пытался он объяснить, что он и живет *своей* нормальной жизнью. Что он не может вынести уродства жизни, которую *они* называют нормальной. Они никогда не поймут. Почему сестра не говорит просто и прямо? Зачем ей эта манера захудалой провинциальной актрисы? «О Эварист! Когда-нибудь ты поймешь. Но боюсь, что будет слишком поздно. Не видишь ли ты, что своими поступками ты сокращаешь дни маминой жизни? Иди к нам, когда выйдешь отсюда. Мы с радостью примем тебя в нашу среду. Со временем мы забудем кошмар этих дней».

Для сестры тюрьма (она и слова-то этого никогда не произносит) — позор, несчастный случай, неверный шаг с дороги нормальной жизни в бездонную пропасть. Ее долг снова вывести брата на правильный путь, осветив его ярким огнем семейного очага.

Ну, конечно, семейная атмосфера. Как объяснить сестре, что именно он думает о семейной атмосфере?

— Я должен жить собственной жизнью, — уклончиво ответил он.

И, сказав, почувствовал, что перенял стиль сестры. Такая же театральная фраза.

Альфред за время разговора не проронил ни слова. Эварист сейчас ругал себя за то, что даже не попытался узнать, что думает и чувствует брат. После смерти отца Галуа отдалился от родных. Какими прозрачными были их наивные и настойчивые старания подчинить себе его жизнь! Но сегодня он обнаружил что-то новое. Должно быть, сам того не зная, он повлиял на брата.

Альфред глядел на него широко раскрытыми глазами. Эварист впервые заметил, сколько в них любви, обожания.

Он прервал поток красноречия сестры:

— Тебе тоже стыдно за меня, Альфред?

Но ответила снова сестра:

— О Эварист! Зачем ты так говоришь? Как будто кто-нибудь из нас тебя стыдится. Неужели ты не понимаешь, что нами движет лишь одно чувство — жалость, лишь одно желание — помочь?

Дождавшись, когда сестра кончит, Альфред быстро сказал:

— Я горжусь, что ты мой брат. — Потом, глядя в пол, добавил: — Когда ты выйдешь из Сент-Пелажи, я хочу часто видеться и говорить с тобой.

Если бы не разделявшая их железная решетка, он бы обнял брата. Сестра закусила губу и вскоре ушла, попросив Эвариста обдумать ее слова.

«Что она сейчас делает? Наверное, говорит матери, что не следует терять надежды. Что я, наверное, когда-нибудь повзрослею и переменюсь. А пока Альфреду нужно видеться со мной как можно реже. Альфред впечатлительный мальчик и может поддаться плохому влиянию старшего брата».

Но Галуа не угадал. Сестра ни с кем о нем не говорила. Она доверила свои мысли дневнику:

«Никто не мог себе представить, что такое долгое предварительное заключение окажется недостаточным наказанием за маленький проступок. Снова месяцы без чистого воздуха! Какая печальная перспектива! И я уверена, что здоровье его очень пострадает. Он уже так устал! Он целиком предается безрадостным мыслям. Он мрачен и состарился раньше времени. Глаза его ввалились, как у пятидесятилетнего».

Навещать друга часто приходил Огюст Шевалье. Но даже от его присутствия не становилось легче. Галуа возмущало малейшее проявление жалости, принесенной в тюремные стены посетителями. Он ясно видел все усилия скрыть это чувство и отвечал взрывами гнева и насмешек. Хуже всего ему было, когда приходил Шевалье. У того жалость усугублялась дружескими чувствами и была проникнута туманом мистицизма, окутавшего Шевалье, как и всех сенсимонистов.

— Я говорил о тебе нашему отцу, — сказал он Эваристу.

— Ты хочешь сказать, мосье Анфантену? — прервал Эварист.

— Ты знаешь, для нас он отец.

Галуа пробормотал что-то вроде извинения. Шевалье продолжал:

— Я говорил о тебе и с моим братом.

— Настоящим на этот раз?

— Нет, — кротко возразил Шевалье. — Я имею в виду брата по семье сен-симонистов. То, что он мне брат и по крови, не имеет значения.

— Зачем ты отвлекаешь их от дела разговорами обо мне? — с плохо скрытым сарказмом спросил Галуа.

— Нам хотелось бы, чтобы, покинув эти стены, ты провел несколько недель в нашей семье. Приглашаем тебя от всего сердца. Не обязательно вступать в нашу общину ни теперь, ни в будущем. Но я уверен, что тебе будет полезно побывать в Менильмонтане.

— Ты, Огюст, лучший друг, какой у меня есть или будет. Но я не могу принять приглашения. — «Как объяснить, чтоб не обидеть друга?» — Я не создан ни для семейного круга, Огюст, ни для философских споров. Нет. Очень благодарен, но ничего не выйдет.

Огюст попробовал спорить:

— Ты говоришь, что не любишь семейного круга. Но разве ты не видишь, Эварист, что это семья совсем другого рода? Ее скрепляет не случайное родство крови, но глубочайшее родство сердец. Мы связаны единством убеждений, единством веры и чувства.

— Ты говоришь, семья по выбору. *Твоему* выбору. А если я войду в нее, мне придется примириться с ней точно так же, как приходится мириться с собственной. Нет, там мне не место.

— То, что ты говоришь, звучит логично и трезво. Ты всегда стараешься сделать вид, что тобой управляет лишь логика, а не чувство. Но каждому сразу видно, что это не так. Именно чувство правит тобой. Ты бряцаешь логикой, как оружием, но это никого не может обмануть. Чувство как раз и сближает тебя с нами, с сен-симонистами, теснее, чем тебе хотелось бы.

Галуа старался возразить спокойно, но собственные слова поневоле взволновали его.

— Да, верно, Огюст. Мной управляют чувства. Но не те, которые любит и которыми дорожит ваше семейство. Мной владеет ненависть. Да, дорогой Огюст, ненависть, отвращение, презрение. Ты скажешь, что я способен и любить. Знаю. Нет любви без ненависти. Тот, кто не умеет ненавидеть, не способен

любить.

Он взглянул на страдающее лицо Огюста.

— Я могу ошибаться. Или, может быть, ты редкое исключение. Но идея чистой любви мне отвратительна. Она ведет к путаному мистицизму, который так и сквозит во всем, что написано сен-симонистами.

Заключенные, стоя за решеткой, разговаривали с посетителями, просили привести детей, принести кофе, теплое белье. В гуще этих обыденных разговоров о самых насущных нуждах повседневной жизни Галуа произносил отповедь сен-симонизму.

— Мир в огне, а сен-симонисты толкуют о сравнительных достоинствах брака и простого сожительства. Но они, конечно, этого открыто не говорят. Они облекают тривиальную проблему в мистические покровы. Высокопарно рассуждают о Любви, Семье, Духовенстве, Религии, Материнстве. Попробуй изложить суть этих разговоров попросту, и весь вопрос сводится всего-навсего к тому, должен ли мужчина спать с одной женщиной или с многими.

Огюст покраснел, но ответил обычным евангельским голосом:

— Ты несправедлив к нам, Эварист, и сам это знаешь. Вопрос заключается в том, чтобы разрушить семью, основанную на кровном родстве, и построить связанную общими идеями любви и справедливости. Первую можно разрушить, только если мы не будем знать, кто наши дети. Речь идет не о преимуществах полигамии или моногамии, а о существеннейшем преимуществе семьи, связанной узами любви и общих идеалов, перед семьей, связанной узами кровного родства.

— Вы витаете в облаках, — возразил Галуа. — Вы отрезаны от мира. Вы не знаете и не понимаете его, а верите, что придет день, когда мир примет ваше учение и пойдет за вами. Папа, Луи-Филипп, русский царь — все склонят голову перед вашим отцом, признав его вождем нового мира.

Он почувствовал, что хватил через край. Друг, наверное, обиделся.

— Мы не заслуживаем этой иронии, — отозвался Огюст. — Можешь нападать на нас, сколько хочешь, но мы не заслужили, чтобы нас считали тупицами или сумасшедшими. Сказанное сейчас тобой могло быть и, несомненно, не раз было сказано о Христе при его жизни. Я знаю: и тебе и многим другим мы представляемся пустыми мечтателями. Пусть так. Мы все-таки сделали много добра людям: мы заставили мир задуматься над их страданиями. И я убежден, что будущее за нами.

Галуа почувствовал полное изнеможение. Ему захотелось

кончить разговор, лечь где-нибудь. Даже на койку с клопами. Он чуть слышно сказал:

— Прости, Огюст. Ты не знаешь, в каком я состоянии. Здесь, в этой грязной дыре… Прости. Я, должно быть, утратил чувство меры.

У Огюста увлажнились глаза. Он взволнованно сказал:

— Ты скоро будешь на свободе. Приходи к нам. Попробуй. Не поддавайся гордыне. Прими наше приглашение. Увидишь, что почувствуешь себя лучше. Это поможет. Поможет, я уверен.

Галуа схватился за железную решетку так крепко, что заболели пальцы. Зато пылающей голове стало легче. Воспаленные глаза его провалились, их обвело черными кругами.

Он прошептал:

— Поможет, поможет! Ничто не поможет. Только смерть.

VIII ВОЗВРАЩЕННАЯ СВОБОДА

Март 1832 года

— Двадцать девятого апреля я свободен. Шесть месяцев тюрьмы будут позади.

Эварист повторял это, пытаясь вызвать прилив тоски по свободе, побороть безразличие. Закрыл глаза, надеясь увидеть веселые краски весеннего Парижа, набережные Сены, цветы Бурля-Рен. Картины получились плоские, серые.

«Вновь свобода! Свобода? Во Франции свободы нет — только тирания. Париж, вся Франция — одна большая тюрьма. Но по крайней мере я буду бороться, а не пропадать здесь, ничего не делая».

Он заставлял себя думать о народе, Обществе друзей народа, о Республике Франции — единой и неделимой; о свободе, равенстве и братстве. Мысли текли праздные, вялые. Тусклые, подернутые налетом скуки, выцветшие повторения прежних ярких мыслей.

Ему хотелось пробудить в себе чувство — хоть какое-нибудь. Он подумал о Луи-Филиппе и ждал, что загорится ненавистью. Но в голову шла только грубая брань — словечки, выражения, сотни раз слышанные им во дворе Сент-Пелажи, ставшие уже стертыми и бессмысленными.

Все раздражало его. Товарищи по тюрьме, республиканцы? От них несло спиртом, они ссорились, смешивали в грязных фразах патриотизм и женщин. Они высмеивали целомудрие Эвариста, употребляли слова, которых они никогда не слыхал, и объясняли их значение тошнотворными жестами. Убежать бы! Но их слова и жесты рисовали картины, поневоле захватывавшие его, и, с горящими щеками, он слушал. Кончилось тем, что он возненавидел себя. Его ненависть была сильней презрения к товарищам, которые добились своего: внесли сумятицу в математические размышления, пересыпав вереницу алгебраических знаков обнаженными женщинами.

«Конечно, не все плохи. Распай, например. Великий ученый, великий республиканец».

Нет, он не может по-настоящему восхищаться и Распаем. Почему Распай постоянно пишет письма? Делает вид, что из этой смрадной ямы Сент-Пелажи есть о чем писать.

«Только математика! Если бы не она, как бы я перенес праздность и застой Сент-Пелажи? В математике по крайней мере я двигаюсь вперед. Но чем больше знаю, чем больше открываю, тем более необъятной кажется неведомая, неисследованная земля, простирающаяся передо мной. Впрочем, так всегда. Ньютон уже говорил об этом, и куда лучше».

Восемь месяцев просидел он в тюрьме за то, что надел мундир расформированной гвардейской артиллерии. Обходились с ним за это время хуже, чем с кем бы то ни было. Чуть не убили, и за то, что не убили, бросили в карцер. В январе его на неделю перевели в тюрьму Ла Форс: потом — обратно в Сент — Пелажи. Зачем перевели, зачем прислали обратно? Почему надругательство вдруг сменилось жалостью? Когда, дрожа от холода, Эварист прибыл в Ла Форс, даже чиновник, составлявший список вещей заключенного, взглянул на него сочувственно. «Шапка, галстук, сюртук, жилет, брюки черные, башмаки деревянные; все сильно поношено».

Когда он вернулся в Сент-Пелажи, тюремщики больше не изводили его. Сам директор стал вести себя по-дружески. Галуа слишком устал, был слишком подавлен и равнодушен, чтобы дивиться внезапной перемене или скрытой причине ее.

Эвариста вызвали к тюремному врачу. Выслушав его, врач выстукал ему грудь и что-то нацарапал на бумажке. Назавтра Эвариста принял директор. Высокопоставленная персона явила ему отеческое понимание. Директор сказал, что печется о счастье и благополучии всех заключенных, в особенности о Галуа,

которому хочет помочь. Директор сказал, что очень благодарен прелестной сестре Галуа, обратившей его внимание на слабое здоровье брата. Она права. Это подтвердило и заключение врача. Он оглядел Эвариста маленькими, помаргивающими глазками.

— Итак, мосье Галуа, мы решили предпринять кое-что ради вашего блага.

Руки его мирно покоились на кругленьком брюшке. Он провел языком по губам.

— Остаток срока тюремного заключения вы проведете в частной лечебнице мосье Фольтрие на улице Лурсин, 86. — Он еще раз смочил губы. — Там будет очень хорошо. Перемена обстановки сделает вас другим человеком. Вам разрешат заниматься чем угодно; нельзя только до истечения срока приговора выходить из лечебницы. Тут вы должны мне дать честное слово. — Он прикрыл глаза и мечтательно улыбнулся. — Все уже улажено, мосье Галуа. Завтра вы покидаете Сент-Пелажи.

Скорее с отвращением, чем с ненавистью посмотрел Галуа в лицо директора, с его приторно-сладкой улыбкой. «Подкупили его? Или я так болен, что могу здесь умереть? И он боится скандала». Эварист был так измучен, что не стал искать ответа. Он больше не увидит Сент-Пелажи, это облегчение. Но ни большой радости, ни глубокой скорби он ощутить не мог. Все было безразлично.

16 марта Галуа прислали в лечебницу на улице Лурсин, недалеко от Сент-Пелажи. Провели в небольшую комнатку. В ней находился молодой человек по имени Антуан Фарер, с которым Галуа предстояло разделить обиталище. После камер Сент-Пелажи эта комнатка с двумя кроватями и столом между ними казалась веселой, чистенькой и полной света. И сосед был совсем не похож на политических заключенных Сент-Пелажи. Синий сюртук, который он носил с небрежным изяществом, вышел из рук отличного портного. Новый знакомый встретил Эвариста дружеской, чуть иронической улыбкой. Его продолговатое красивое лицо понравилось Галуа мягкостью, так сильно отличавшей его от мужественных, суровых лиц обитателей Сент-Пелажи. Улыбка его была пленительна, его изящество не раздражало. По правде говоря, Галуа не раз уже приходилось видеть юношей подобного типа. Впрочем, пожалуй, немногие были так милы и красивы, как Антуан. Он встречал их в театральных ложах, верхом, в экипажах в обществе хорошеньких женщин. Видел, как они смеются, острят, выставляют напоказ превосходные манеры, хорошее воспитание, бывшее для них и сущностью жизни и залогом успеха.

Галуа их не переносил. Но сейчас, познакомившись с одним из них, он с удивлением обнаружил, что Антуан вовсе не вызывает в нем отвращения. Напротив: тут, в лечебнице, Эварист немного отошел, оживился, успокоился после Сент-Пелажи. Ему нравилось, что Антуан не хвастлив и не высокомерен, цинизм сочетается у него с умом, он ведет себя сдержанно, но по-дружески; никогда не ссорится из-за пустяков и старается скрыть превосходство своих манер.

Когда Галуа, раскладывая вещи, положил на стол многочисленные рукописи, Антуан убрал со стола свои пожитки и сказал:

— Вам, по-видимому, нужен стол. Он к вашим услугам.

— Спасибо. Когда вам понадобится что-нибудь написать, я возьму бумаги.

— Не беспокойтесь. Я пишу очень редко. Друзья меня забыли, а для семьи я — паршивая овца. Родственники мне не пишут.

Он подкупающе улыбнулся.

— Вы, кажется, писатель.

— Нет, математик. — И, помолчав, добавил: — Я восемь месяцев пробыл в Сент-Пелажи.

— А я несколько недель в Ла Форс. Видно, у нас обоих темное прошлое.

И Антуан принялся болтать с очаровательной безответственностью человека, знающего, что говорит чересчур много, но лишь затем, чтобы развлечь собеседника.

— Так, значит, вы математик. — Он восхищенно присвистнул. — Подумать только! Настоящий математик. — Он снова засвистел. — Никогда в жизни ни одного не видел. Не знал, что в наше время математиков сажают в тюрьму. Казалось, как раз наоборот: в тюрьму можно попасть из-за недостаточного, а не чрезмерного знания математики. Именно так случилось со мной. Когда я складывал, что с меня причитается по счетам, получался ноль. А человек, который меня сюда посадил, утверждает, что получается восемь тысяч франков. Я здесь потому, что слаб в математике. Очевидно, не следует быть ни слишком хорошим математиком, ни слишком плохим. Каждый из нас представляет собой крайность и, следовательно, угрозу для общества. Постараемся стать средними математиками. Соединим наши познания и получим золотую середину. В этом наше спасение. Сама судьба, должно быть, свела нас с вами.

Он продолжал болтать, великолепно зная, сколько сказать, чтобы позабавить, и когда остановиться, чтобы не надоесть.

Антуан показался Галуа человеком поверхностным, но симпатичным. Его циничные, пустые разговоры были приятной

противоположностью гнетущей обстановке Сент-Пелажи, где каждому хотелось либо разрушить, либо спасти мир. Несколько дней спустя Эварист взволнованно в нескольких словах признался Антуану в своих республиканских взглядах. Тогда его сосед пустился в длинные рассуждения:

— Меня вы, республиканцы, назвали бы паразитом. Меня мало трогает, Карл у нас, или Генрих Пятый, как его там зовут, этого мальчишку, или Луи-Филипп. Или республика. Нет, это не совсем верно. Республики не хотелось бы. Она и к себе отнесется слишком серьезно и меня не оставит в покое. Начнутся разговоры: братство, равенство и добродетель, добродетель, добродетель. Республиканская добродетель. Фу! До чего противно быть добродетельным! Любого добродетельного республиканца тут же променяю на кокетку. Надеюсь, дорогой друг, вы не примете этого замечания на свой счет. Добродетельный республиканец уж, конечно, не будет ухаживать за женой друга-республиканца. Что за грустная философия! В искусстве любить Франция стала блестящим примером для всей Европы. Эту традицию нужно сохранить во что бы то ни стало.

Эварист предвидел, что последует лекция об искусстве любви. Но Антуан направил монолог по другому руслу.

— Слов нет, любовь — неполноценное занятие. Ею до конца не вылечишься от скуки, этого страшного недуга нашего века. Тут нужны карты или рулетка в клубах табачного дыма. Но друзьям полагается быстро платить карточные долги, иначе ты не человек чести. Именно в этом и заключалась трудность моего положения. Я подготовил для богатой тетки великолепную речь. Чуть не заплакал, произнося свою проповедь, — она была так трогательна! Но — страшная глупость! — я не знал, что с ней подружился один благочестивый священник. Он-то и убедил ее избавить меня от адских мук загробной жизни, устроив мне ад на земле.

— Стало быть, вы не заплатили друзьям?

— Будьте уверены, мой милый Галуа, эти роскошные покои вы разделяете с человеком чести. Друзьям я не задолжал. Я в долгу у жадного ростовщика. Подписал ему множество долговых расписок, заменял их все новыми и новыми. Множились они с катастрофической быстротой. Видите, математик я плохой, но зато человек чести.

— Стоила игра свеч? — машинально спросил Галуа. — Видите, куда это вас привело.

И тут же пожалел, что читает мораль. Антуан может счесть его бестактным. Но очаровательный должник, ничуть не смутившись, продолжал:

— Не так это страшно, как может показаться. Посидел немного в Ла Форс. Встретил там массу занятных людей. Потом заболел, послали в госпиталь. Затем сюда. Тут встречаю поразительно интересное сочетание математика с республиканцем. Сердце тетки, по некоторым признакам, скоро смягчится, кошелек откроется, и тогда, увы, мне придется вас покинуть.

— И чем вы займетесь?

— Терпеть не могу решать и строить планы заранее. В худшем случае можно жениться, завести семью и изобразить почтенного человека.

Галуа в нерешительности помолчал. Потом сказал:

— До того, как мы встретились, я думал, что таких, как вы, нужно вешать на первом фонаре, потому что вы не стоите пули. В принципе я и сейчас того же мнения, но мне не хотелось бы видеть, как с вами поступают по общему рецепту.

— Беда с вами, республиканцами: вы считаете, что жизнь — страшно серьезная штука. Вовсе нет! Я думал, что республиканцы — скучные, кровожадные смутьяны и что их нужно расстреливать. Обратите внимание, не вешать, а расстреливать, потому что у них возвышенные идеалы. В принципе я и сейчас того же мнения, но не хотелось бы видеть, как с вами поступят по общему рецепту.

И оба покатились со смеху.

Навестить Антуана пришли две посетительницы; обе молодые девушки. Эварист был рад остаться наедине с собой, походить по саду. Скрывая любопытство, он поглядывал на молодых людей. Он и надеялся и боялся, что вдруг его пригласят присоединиться к ним, серьезно раздумывая, как вести себя, что сказать. Потом сел на скамью, сделал вид, что читает. Взгляд его блуждал по саду, как бы случайно скользя по лицам девушек. Блондинку он знал. Он уже видел ее однажды, слышал ее смех. Но сильней его поразило, очаровало лицо другой. У нее были блестящие черные глаза, живо перебегавшие с предмета на предмет, как бы стремясь схватить все, на чем останавливались. Черные волосы, разделенные прямым пробором, локонами спадали на щеки. В лучах солнца они отливали синевой. Красивое лицо ее портил рот, он был чуть великоват, с немного слишком полными губами. Сквозь полуоткрытые губы виднелись острые, ровные белые зубы, придававшие лицу грубовато-хищное выражение. Казалось, весь мир, все его удовольствия она считает своей добычей.

Трое оживленно болтали, расхаживая по саду; останавливались, жестикулировали, снова принимались ходить. Эварист глядел на брюнетку во все глаза, пристально и уж не

скрываясь. Больше всего ему нравилось, как танцуют ее локоны, когда она поворачивает голову; как скользят по тонкой черной ручке маленького лимонно-желтого зонтика ее длинные пальцы; как она чуть подбирает светло-зеленое фуляровое платье; как от едва заметных движений бедер волнуется юбка.

Все эти чудеса явились Эваристу воплощением грации и изящества. Он не видел, что это лишь явное проявление врожденного искусства возбуждать желание. Внезапно черные глаза встретились с его глазами. Лицо незнакомки будто осветилось улыбкой — дружеской, пленительной, и обещающей, и в то же время грозной. Потом она отвернулась. Но достаточно было и доли секунды.

Когда они с Антуаном снова оказались у себя, Галуа нетерпеливо ждал, что Антуан заговорит о женщинах, о любви, о черноглазой незнакомке. Хотелось услышать несколько слов, которые воображение превратило бы в романтическую повесть. После долгого молчания Антуан заговорил:

— В Лондоне холера. — Он взглянул на Галуа полузакрытыми глазами. — Стоит ей пересечь Ла-Манш, она наводнит Францию. Париж готовится устроить ей пышный прием. В городе ни о чем, кроме холеры, не говорят.

— Кто вам сказал?

Шитый белыми нитками дурацкий вопрос.

— Мои гостьи, — ответил Антуан.

Он рассмеялся и иронически прищурился. Галуа ждал. Но сосед опять вернулся к холере.

— Никто не знает, как она распространяется. Заразная это болезнь или нет? Мнения крупных врачей расходятся. Вы ученый, у вас должен быть свой взгляд на этот счет. Как по-вашему?

— Ничего об этом не знаю, — сухо сказал Галуа.

Он ждал, что Антуан будет продолжать, но тот задумчиво созерцал потолок. Галуа ломал голову, как бы опять завести разговор. Все способы неуклюжи: один хуже другого. Кончилось тем, что с небрежным видом, но с явной нерешительностью в голосе он сказал:

— У вас сегодня были две хорошенькие гостьи.

Антуан посмотрел на него и не торопился откликнуться, чтобы Эварист еще чуть-чуть помучился в неизвестности.

— Нет, милый друг. По-настоящему одна.

— Своими глазами видел двух. — Он старался говорить непринужденно, неловко подражая изящной болтовне Антуана. — Одна — блондинка, другая — брюнетка с черными пытливыми глазами. Пусть я математик, но и я могу отличить одну хорошенькую девушку от другой.

— И все-таки я утверждаю, что у меня была лишь одна посетительница. Блондинка, Жанна, — мой друг. Да, она сегодня приходила ко мне. Бывала и раньше и, вероятно, пока я здесь, будет меня навещать. Надеюсь, недолго.

Он посмотрел на Галуа, жадно ловившего каждое слово, и улыбнулся.

— Но другая, с черными пытливыми глазами, как вы выразились, была скорее вашей гостьей, чем моей, хотя вы, возможно, об этом и не догадывались.

Эварист встал и подошел к столу. Повернувшись спиной к Антуану, он притворился, что просматривает бумаги, исписанные математическими знаками. Он так и не решил, как отнестись к услышанному, когда, наполовину повернувшись к Антуану, сказал:

— Вы надо мной смеетесь.

— Милый друг, я ни в коем случае не стал бы над вами смеяться, и по очень простой причине. Когда двое живут в одной комнате, им следует как можно лучше ладить друг с другом. А насмешки мало способствуют этому. Кроме того, это не забавно. Дразнить приятно, когда есть и жертва и зритель. Какой смысл поддразнивать, если нет аудитории? Надеюсь, дорогой Галуа, я вас убедил.

Эварист с готовностью подхватил:

— Если это не насмешка, объясните, пожалуйста, что вы хотели сказать.

— Все крайне просто. Жанна живет с подругой. Зовут ее Эв. Эв Сорель, если не ошибаюсь. Я до сих пор ее не встречал и ничего о ней не знаю. Несколько дней тому назад я кое-что рассказал о вас Жанне. Она, должно быть, поделилась с Эв, прибавив от себя весьма лестные замечания в адрес моего соседа по комнате. В отличие от Жанны у подруги, по-моему, республиканские убеждения. Сомнительное достоинство. Особенно неприятно в женщинах. Надеюсь, я не обижу вас, сказав, что не смог бы притронуться к женщине с республиканскими взглядами. Как бы она в самые сокровенные минуты не стала рассуждать о роялистах, гильотине, правах народа и прочих глупостях в таком же роде. Поневоле испугаешься. Воз можно, конечно, и для республиканской девицы существуют мгновения, когда она в силах забыть о гильотине. Но вдруг не забудет? Одной этой мысли вполне достаточно, чтобы у меня опустились руки.

— Не понимаю.

Антуан перестал смеяться.

— Виноват, я отклонился от темы. Разумеется, мой долг —

объяснить. Похоже, что Эв очень многое о вас известно. Кажется также, ее очень интересует мосье Эварист Галуа. Она без устали рассказывала мне о судебном процессе, где видела вас. Я и не знал, дружище, что удостоился чести жить в одной комнате с такой известной личностью. Я несказанно заинтригован. Человек, предложивший тост за Луи-Филиппа, с кинжалом в руке! Прекрасно! Изумительно! Какая храбрость! Короче говоря, Эв пришла, чтобы увидеть своего героя. Следовательно, как я и говорил, она *ваша* гостья.

Антуан взглянул на Галуа. Тот стоял вполоборота к нему, дрожащими пальцами перелистывая рукопись.

— Эв ужасно хочет познакомиться с вами. Ей не терпится увидеть героя лицом к лицу. Я обещал ей пустить в ход мое влияние. Но, естественно, если эта идея вам особенно противна, пожалуйста, не нужно. Кроме того, мои высокие моральные устои вынуждают меня предупредить вас, что я о ней ничего не знаю. Так что не вините меня, если она причинит вам огорчения или если вы обнаружите, что у нее республиканские взгляды другого сорта, чем ваши.

Галуа знал, как он бывает неловок, когда пытается скрыть свои мысли и чувства. Нечего надеяться побить Антуана в игре словами.

— Я очень хотел бы с ней встретиться, — просто сказал он.

В августе 1817 года из дельты Ганга пошла на Европу холера. Пятнадцать лет спустя дошла она до веселых улиц Парижа. За эти пятнадцать лет она ползла от Пекина к границам Сибири. Оттуда, перейдя снежные равнины, перевалила через Урал и вошла в Москву и Петербург. Вместе с русскими солдатами отправилась на поля сражений в Польшу, неся с собой больше страха и разорения, чем пушки и снаряды. Она не разбирала, где русский мундир, где польский. Она опустошила Польшу, Венгрию, Австрию, добралась до немецких портовых городов на Балтике. Огромными прыжками она миновала целые земли, оставив их нетронутыми. А потом, разбив надежды тех, кто населял эти земли, возвращалась обратно. В феврале 1832 года холера переправилась из Северной Германии в Англию.

Над Парижем синело ясное небо, весна наступила рано. С северо-запада дул сухой свежий ветер. Парижане смеялись, и, как бы бросая вызов болезни, кое-кто появлялся на маскарадах в костюме «холера». Один такой ряженый, почувствовав среди веселых танцев и попойки внезапный озноб, снял маску. Синее лицо его было ужасней черепа-маски, скрывавшей его минуту назад. Он свалился на пол.

Те, кто не убежал, с любопытством смотрели на него. Лицо его менялось на глазах. Позже это зрелище описывали так:

«Кожа его была синей, и можно было сосчитать мускулы на лице. Жизнь еще не покинула его, а он уж казался трупом. Померкшие глаза стали вдвое меньше, провалились в орбитах, как будто кто-то изнутри черепа втянул их за нитку к затылку. Дыхание было холодным, рот — влажным и бескровным. Пульс почти не прощупывался. Голос звучал еле слышно».

29 марта 1832 года в Париже была лишь одна тема разговоров, одна фраза, служившая вместо приветствия: «Холера в Париже».

Апрель 1832 года

— Двадцать девятого я буду свободен.

Эварист посмотрел на траву. Потом собрался с духом и медленно перевел взгляд на стройную ногу Эв, которая не спеша, медленно покачивалась, приоткрывая и снова пряча кружево панталон. В приступе отчаянной храбрости он поднял глаза, чтобы взглянуть на прямоугольный вырез корсажа, где дымка светло-розового тюля скорей обнажала, чем прикрывала край долины между двумя мягко вздымавшимися холмами. Ему стало стыдно за подобное кощунство. Встретившись с глазами Эв, взгляд его остановился, горя преданностью, смиренно умоляя об утешении.

Он знал: нужно что-то сказать, но слова не шли на язык. Ему все сильнее хотелось открыть свои тайны, свои чувства, но что-то сдавило горло.

Он повторил отчаянно:

— Двадцать девятого я свободен.

Они сидели на скамейке в саду лечебницы. С полуулыбкой, безмятежно глядела на него Эв. Глаза ее, казалось, уверяли Эвариста: что он ни скажет, все будет замечательно.

— Как странно! Скоро я смогу пройтись по набережной, пойти в Люксембургский сад, на Вандомскую площадь или в славное Сен-Антуанское предместье. Смогу идти, куда вздумается. Снова увижу Париж.

И сразу же почувствовал, что сказанное донельзя глупо. Можно назвать еще сколько угодно парижских улиц, и фраза получится бесконечной. Наступило продолжительное молчание. У Эвариста стало легче на душе, когда послышался голос Эв:

— Вы не узнаете Парижа. Город в трауре. Люди тысячами умирают от холеры.

Говорить о холере не хотелось, но ведь нельзя разговаривать

только о себе, это эгоистично. А Эв, заведя разговор о холере, не собиралась менять тему.

— Кое-кто говорит, что в Париже нет холеры. Говорят, правительство и роялисты отравляют воду, пищу, вино, и люди умирают от яда.

Если бы такое сказал мужчина, у Эвариста пропала бы всякая охота продолжать никчемный разговор. Но сейчас он с восторгом и благодарностью ухватился за возможность изложить свои взгляды.

— Нет. Как ни прискорбно, нужно сознаться, что это, пожалуй, единственное бедствие, в котором правительство неповинно.

— Поверите ли, мосье Галуа, в Париже не хватает гробов и катафалков. На днях трупы — и в гробах и в мешках — стали класть на артиллерийские повозки. Я сама видела, как на одной такой повозке от сильного толчка лопнули веревки и гробы упали на мостовую. Из нескольких вывалились трупы совершенно синие. Ужас!

Она грациозно вытерла глаза уголком платка. Эваристу захотелось положить голову ей на колени, вдохнуть исходящий от нее аромат фиалок, заплакать, чтобы она, утешая, гладила его по голове.

— Сейчас гробы и мешки перевозят в больших мебельных фургонах, выкрашенных в черный цвет. Они ездят от дома к дому. Вчера в моем доме умер один мужчина. — Она улыбнулась. — Не следует говорить о грустных вещах. Я знаю, ваша жизнь и так достаточно грустна. Я думала, мосье Галуа, что, если встречусь с вами, мне, может быть, удастся сделать вас немножко счастливее.

Не сводя с нее глаз, Эварист, задыхаясь от волнения, прошептал:

— Не помню, чтобы я когда-нибудь был так счастлив, как сейчас.

Глаза ее широко открылись, она снова улыбнулась.

— То, что вы сказали, прелестно.

Услышав это, Эварист ощутил прилив храбрости. Он стал рассказывать ей о Сент-Пелажи, об одиночестве, о жестокости режима, одной из многих жертв которого был он сам. И, наконец, он произнес слова, которые твердил себе дни и ночи, не зная, решится ли выговорить их ей:

— Я хочу попросить вас о чем-то. Хочу просить о милости. Мне бы хотелось видеться с вами, когда меня освободят, часто вас видеть. Возможно это?

Он напряженно ждал, боясь услышать вежливый отказ или, что еще хуже, нехотя данное согласие: Ответ последовал быстро,

положив конец мучительному напряжению:

— Конечно, мы должны видеться часто. Нужно вместе отпраздновать ваше освобождение.

Эвариста переполнило волнение. Он рассказал Эв, что до сих пор интересовался лишь книгами, занятиями и политикой. Но теперь он хочет жить настоящей жизнью и начать ее в тот самый день, когда получит свободу. Хотелось сказать больше, гораздо больше, но мужество оставило его, хотя глаза Эв светились сочувственно, понимающе. Час свидания близился к концу. Эварист испугался, что сказал слишком много, что наскучил Эв своей бурной исповедью. А что, если она передумает? Если мысль о предстоящей встрече с ним будет ей неприятна?

С чувством, что ставит на карту все на свете, впервые называя ее по имени, он спросил:

— Эв, мы ведь друзья, да?

Эв взволнованно сверкнула глазами:

— Конечно, Эварист.

Целиком во власти своих грез, Эварист вернулся в комнату. Антуана, растянувшегося на кровати с газетой в руках, он не видел и не слышал. Чтение Антуан от времени до времени сопровождал замечаниями вслух:

— Приятная новость для вас и ваших друзей-республиканцев. Болен Казимир Перье. Холера! Можете ликовать.

Эварист не отозвался.

— Париж полон идиотов, — негромко разглагольствовал Антуан. — Интересно знать, сколько найдется таких, которые еще не окончательно превратились в болванов. Они поверили, что холеру придумали орлеанисты. Вот послушайте:

> «На каждом углу возле винных лавок собирались шумные толпы. Всякого подозрительного прохожего останавливали и обыскивали. Если в карманах находили что-нибудь необычное, человек был обречен. Толпа нападала на него, как стая диких зверей. На улице Вожирар двоих убили за то, что нашли у них какой-то белый порошок. Я сам видел, как задыхался один из них. Старухи снимали с ног деревянные сабо и били его по голове, пока он не умер. Он был совершенно гол и избит до неузнаваемости. Уши, нос и губы ему вырвали. Какой-то обезумевший мужчина обвязал ноги трупа веревкой и поволок по мостовой с криком: «Вот она, холера!» На одной улице стояла красивая девушка с обнаженной

грудью и руками, запачканными кровью. Когда труп поравнялся с ней, она яростно толкнула его ногой и расхохоталась. Потом она попросила у меня денег на траурное платье: несколько часов тому назад отравилась ее мать».

Он отложил газету.

— Превосходно писано. Нужно бы только кончить словами: «Да здравствует французский народ!», или: «Да здравствует хартия!», или чем-нибудь в этом роде.

Антуану надоело слушать самого себя, не получая ответа. Он умолк.

Эварист подошел к столу, посмотрел на лист бумаги. Одна из страниц неоконченной рукописи. Он сел, обмакнул перо в чернила и тщательно изобразил на полях инициалы *Э.С.* Написал их еще раз. Потом написал: *Эв.* Потом — *Эва. Эвар.* И, наконец, радостно вывел большими буквами *Эварист.*

И счастливо улыбнулся.

Май 1832 года

— Мне нравится форма бокалов. Вот эта линия, — Эварист провел пальцем по краю бокала, — парабола. Вращением вокруг оси получаем параболоид, то есть форму этого бокала.

Эв рассмеялась.

— Ах, вот как его сделали?

— Да! Потом налили в параболоид жидкого золота, и оно превратилось в вино. Мне нравятся зеркала. Нравится красный бархат, все это богатство.

Он думал: «У меня всего две тысячи франков в год. Безнравственно с моей стороны являться сюда и изображать богача».

Он сказал:

— Одному здесь было бы скверно. Я почувствовал бы себя подавленным. Но сегодня мне все мило.

«Поймет ли она, почему я сказал, что сегодня все мило? Она могла бы мне помочь одним замечанием, одним вопросом».

Он отпил вина и громко продолжал:

— Жаркое превосходно. В Сент-Пелажи я съел триста обедов один ужаснее другого.

Она отозвалась еле слышно:

— Сент-Пелажи нужно забыть.

Лакей подал шоколадный крем и кофе.

— Не могу. Это мое несчастье: я ничего не забываю. Все, что я видел, прочел или пережил, врезается в память. Вот почему я не могу ни разлюбить, ни перестать ненавидеть. Люди и события так и стоят перед глазами.

«Поможет ли она мне сейчас? Если бы только спросила: «Вы любили когда-нибудь?» Разве вы не видите, Эв, как мне нужна поддержка, помощь ваших красивых, понимающих глаз?»

Он с облегчением увидел, что пара, сидевшая за соседним столиком, уходит.

— Я совсем другая, — сказала Эв. — Очень легко все забываю. Это, должно быть, означает, что я не способна ни любить, ни ненавидеть.

— Не верю. Я убежден, что никто не в силах любить так глубоко и нежно, как вы.

«Нужно что-то добавить. Так много хочется сказать».

Лицо Эв внезапно приняло жесткое выражение.

— Вам, кажется, все обо мне известно.

«Откуда эта перемена? Я сам виноват. Всегда говорю не то, что надо».

Эв прервала молчание:

— Повидали своих друзей-республиканцев?

— Да, кое-кого.

«Стыжусь признаться ей, как мало трогают меня сейчас дела республиканцев. Но она должна понять».

— Завтра увижу моего друга Лебона. Он теперь возглавляет группу, в которую я вхожу. Нужно отдохнуть: я очень устал. Ближайшие две-три недели я вряд ли смогу взяться за работу в обществе. У меня будет масса свободного времени.

«Если бы решиться сказать: «Эв, все свое время я оставил бы только для вас!»

Лакей принес счет. Эварист вынул из кармана два золотых. Эв равнодушно спросила:

— Что же вы станете делать целыми днями?

«Я мог бы сказать, что буду думать о ней. Если бы она спросила иначе! И если б не нужно было решать, сколько оставить лакею!»

— Буду заниматься математикой.

— Математикой?

В глазах ее появился интерес.

«Нужно сказать, какая у меня важная работа. Она мне поверит».

— До того как попасть в Сент-Пелажи, я написал работу по математике. Послал ее в академию. С ней должен был ознакомиться один из членов академии, мосье Пуассон. Мне ее

возвратили; мосье Пуассон сказал, что не понимает ее. Он понял бы, если б был большим ученым. Я добился новых, очень важных результатов, которых еще нигде не изложил. Все они здесь. — Он показал себе на лоб. — Но изложить нужно. Может быть, удастся заставить этих безмозглых академиков признать важность моей работы, пока я еще не состарился или не умер.

Эв думала: «Бедный мальчик не в своем уме. Его бы надо пожалеть. Что им от него нужно? Вот теперь он решил, что он великий ученый и что профессора и академики просто дурачки перед ним. Но раз он безумец, может стать и опасным. Разве не было безумием провозгласить этот тост? Кто знает, на что он еще способен?»

— А кто-нибудь понимает вас? — спросила она.

— Никто. Я знаю, этому трудно поверить. Но вы, Эв, поверите. Ни одна живая душа не понимает, что я сделал. В целом мире найдутся немногие, кто мог бы оценить мою работу. Но они либо не знают о ней, либо не хотят узнать. Кроме того, есть один-два человека, которые верят в меня, хотя и не могут понять, что я делаю.

«Он помешан, бедняжка; вот и мучается. Жаль его».

Эв участливо посмотрела на него, и Эварист счел это знаком того, что она поверила.

— Кто же это?

— Очень немногим известно, что я математик. Об этом неприятно говорить. Но с вами — совсем другое дело.

«Она смотрит сочувственно. Я слишком нетерпелив. Может быть, когда-нибудь она полюбит меня».

— Мой близкий друг Огюст Шевалье, наверное, единственный, кто верит в меня.

— Кто такой Огюст Шевалье?

— Удивительный человек. Сен-симонист. Пожалуй, с несколько странными идеями о спасении мира. Но в остальном самый благородный и бескорыстный человек, какого только можно себе представить.

«Единственный, кто верит в него. И, по его же признанию, со странностями. Мальчик и в самом деле сумасшедший. Но глаза у него красивые — глубокие, горящие».

— И он единственный?

— Еще отец. Он кончил жизнь самоубийством почти три года тому назад. Он верил в меня.

«Такой же безумный, как сын? Бедняжка, чуть не плачет».

Она мягко спросила:

— Но ваши учителя, они знали вас. Неужели они не верили в ваш талант?

— Только один — мосье Ришар, в Луи-ле-Гран. Когда он узнал, что я республиканец, он постарался убедить меня не заниматься ничем, кроме математики. Он решил, что я сумасшедший, потому что верю в революцию и готов защищать права народа. С тех пор я его не видел.

«Теперь говорит мне, что еще кто-то считает его сумасшедшим. Верит мне, бедненький. Да, из него можно веревки вить. Даже неинтересно».

Она улыбнулась. Эварист пришел в восторг от дружеской улыбки.

— Я надоедаю вам всеми этими математическими разговорами? Никому другому я бы этого не сказал. — Он собрался с духом. — Любой подумал бы, что я болен манией величия. Но вы мне верите.

— Да, Эварист, верю.

Выйдя из своей комнаты на улице Бернарден, Эварист направился на улицу д'Эколь де Медесин, где жил его друг Никола́ Лебон. Он все еще испытывал удовольствие от того, что мог бродить по улицам, где вздумается. За год Париж притих, стал сдержаннее. Много женщин в трауре. Изредка попадаются мебельные фургоны, собирающие гробы. Холера надоела Парижу, перестала быть модной темой. К тому же эпидемия затихает.

Эварист свернул на улицу Нуайе и медленно пошел по ней, жадно вглядываясь в дома, в лица прохожих. На одной стене бок о бок висели две старые прокламации, чудом уцелевшие на одном месте больше недели. Эварист остановился. Одна была подписана загадочно: *Республиканцы*. Он стал читать:

> «Вот уж два года народ является жертвой тягчайших мучений и испытаний: его притесняют, убивают, бросают в застенки. И это еще не все. Под видом мнимой эпидемии людей отравляют в больницах, умерщвляют в тюрьмах. Где избавление от бедствий? Не в терпении, ибо терпение истощилось. Нет! Только оружием может народ завоевать и сохранить свободу и хлеб».

Хватит! Он почувствовал стыд и отвращение. Одна надежда, что это дурацкое провокационное воззвание, подписанное *Республиканцы,* никогда не было составлено республиканцами. Он стал читать другую прокламацию, подписанную полицией:

> «Чтобы убедить народ в справедливости своих

чудовищных обвинений, некие ничтожные личности проникают к общественным водоемам, винным и мясным лавкам с ядовитым порошком в карманах для того якобы, чтобы всыпать его в фонтаны, в вино, на мясо. Они даже притворяются, что так и делают, позволяя задержать себя своими же соучастниками. Соучастники признают в них полицейских и инсценируют их побег, пытаясь таким образом доказать истинность своих гнусных обвинений против властей».

Эварист перечитал прокламацию дважды, чтобы вполне постигнуть ее немыслимое вероломство. Но возмущение вспыхнуло и погасло. Всепоглощающая ненависть, владевшая им год тому назад, утратила силу. Он думал об Эв.

Студент-медик встретил друга взволнованным потоком слов:

— Два раза заходил к тебе и не мог застать. Чем ты занят? Мое письмо ты, конечно, получил. Ну, как поживаешь с тех пор, как мы виделись? Рассказывай. Неплохо было в лечебнице? Чувствуешь себя хорошо?

Он говорил шумно, оживленно, размахивая руками, что не вязалось с его тучным, ленивым обликом.

— Страшно счастлив, что ты опять на свободе. Через два дня у нас будет собрание; как раз об этом я и хотел тебе сказать. Всем не терпится, чтобы ты снова был с нами.

Он утих.

— О последних неделях нечего особенно рассказывать, — сказал Эварист. — В лечебнице республиканцев не видел. А в тюрьме — ничего, кроме гнетущей скуки. То, что там происходит, важно только для заключенных.

— Не согласен. Сент-Пелажи имеет для нас большое значение. Это наша крепость. Три недели тому назад, как тебе известно, на нее напала банда шпионов и провокаторов и убила одного нашего патриота. Хотят от нас избавиться, не прибегая к суду. Видишь, до чего додумались: убили патриота и валят вину на республиканцев, будто бы атаковавших тюрьму. Чертовски поумнели. Этого подлеца Жиске надо повесить на первом фонаре. Но скажи, как ты-то себя чувствуешь? Ты страшно изменился за год, похудел. Неприятно говорить, но у тебя очень усталый вид. Ты кажешься даже старше меня. В чем дело?

— От твоего зоркого медицинского ока не скроешься. Я устал, я совершенно без сил.

— У нас большие надежды. Я собирался просить тебя сразу взяться за работу. Во Франции в июне и июле что-нибудь да

случается. Так уж повелось. Случится и в этом году, если погода будет хорошая. В дождливый день революции не сделаешь. — Он разразился громким смехом. — Масса горючего материала. Куда больше, чем год назад. Нужна лишь хорошая спичка, чтобы вспыхнул порох, и все взлетит на воздух. — Он порывисто вскинул руки, изображая чудовищный взрыв.

— Милый мой Никола́! Я помню, в прошлом году ты говорил нечто весьма похожее.

— Да, да, знаю. Я неисправимый оптимист. Может, я и говорил так год назад, но на этот раз будет по-моему. Одна славная искра, и раздастся взрыв.

— Рад, что ты так думаешь.

— Эварист, дорогой, за тот год, что тебя не было, многое изменилось. Противник с каждым месяцем наступал все решительней и безжалостней. Но росли и наши силы. С одной стороны — холера. Затем, пожалуй, главная удача: умирает Казимир Перье. Того и гляди, отдаст богу душу. Не так-то легко будет королю его заменить. Этот сукин сын был силен, ничего не скажешь. Держал в руках всю эту гниль, не давал развалиться. Нам нужно одно происшествие, одно событие, я уж сказал, спичка. И гигантский пожар революции вспыхнет сам собой.

Он опять посмотрел на Эвариста.

— А вот ты меня беспокоишь. Переменился. Я думал, ты сразу примкнешь к нам, но теперь не знаю. Не лучше ли тебе две-три недельки отдохнуть, а уж потом начинать работу?

— Вот хорошо, что ты это сказал. У меня еще не хватает сил. С этим я к тебе и шел, но рад, что ты заговорил первый.

— Черт, и манеры у тебя! Наверное, за последнее время встретил людей с хорошим воспитанием. Ладно, одним словом, слушайся меня и как друга и как лекаря. Тебе нужен отдых. В Париже его не найти, так что отправляйся за город. Вернешься, будешь вдвойне полезен. Но уезжай немедленно: ты очень скоро можешь понадобиться. Обещай, что уедешь из Парижа.

— Попозже, может быть. Сейчас не могу.

Лебон молча оглядел его.

— Женщина?

Эварист кивнул и смущенно уставился в пол.

Лебон произнес, обращаясь скорей к самому себе:

— Удивил, а почему, не знаю. Ведь самая нормальная вещь на свете. Но никак не пойму, что ты так чертовски деликатничаешь на этот счет?

Прошел почти месяц с тех пор, как он впервые встретился с Эв. Теперь он мог провести рукой по ее лицу, по гладким черным волосам — при условии, что не слишком растреплет прическу.

Мог трогать и целовать ее щеки, рот, шею — до самого выреза платья и там, взволнованно, мельком, увидеть грудь. Раз или два он даже нежно коснулся ее через шелк платья, что не вызвало ни следа поощрения. Он гладил ее ноги ниже колен, чтобы увериться в том, что уже знал, — что они превосходной формы. Девственная, нетронутая земля лежала перед ним. Образ ее и надежда покорить ее любовью — только любовью — не давали ему спать по ночам. Днем, утомленный и ленивый, он рисовал в мечтах будущее; думал, как покорить ее, боялся поражения.

«Знает ли Эв, что я ее люблю? Любит ли меня? Иначе как бы она могла позволить мне держать и целовать ей руки? Почему же она постоянно велит мне молчать, когда я пытаюсь признаться в любви? В прошлый раз я собрался с духом и спросил: «Знаете ли, что я чувствую?» Зачем она закрыла мне рот ладонью? Я покорно поцеловал ладонь и не посмел повторить вопрос. Нет, так дальше продолжаться не может. Нужна ясность, только ясность!»

— Сегодня месяц с тех пор, как мы узнали друг друга. Мы празднуем этот день там же, где впервые обедали вместе.

Эварист поднял бокал.

«За один этот месяц я истратил в четыре раза больше, чем получаю. Модные рестораны, кафе, портные, шляпники — все стоит денег. Заметила ли она мой новый сюртук?»

Эв сказала:

— Есть и еще один повод для праздника. Сегодня день похорон Казимира Перье.

— Не люблю праздновать смерть. Даже смерть

Перье. Похороны были жалким зрелищем. Его смерть никого не тронула. Что теперь будет?

Эварист упрямо посмотрел на стол и, не поднимая глаз, сказал:

— Я хочу говорить о нас.

Она думала: «Когда ты мне говоришь, какой ты великий математик, ты кажешься безумным. Когда расписываешь добродетели Робеспьера, ты скучен. Но когда ты берешься ухаживать, ты неуклюж, как никто на свете. Глаза твои мне нравятся, и мне все еще жаль тебя. Но чаще всего я ненавижу тебя за то, что ты видишь во мне святую невинность. Твой самый страшный враг — твоя глупость».

— Я хочу, чтоб вы послушали меня, Эв. — «Нужно держаться принятого решения. Вчера ночью я не смог заснуть. Я решился сказать ей и скажу. Надо быть смелым. Я буду говорить, поможет она мне или нет». — Согласны?

«Решился. Ничего не поделаешь. Он как марионетка:

потянешь за веревочку, и покорно движется. Нужно делать, что велит тот негодяй. А может быть, сказать, что дело не выгорело? Даже совестно, как все это вышло легко. Почему он так глуп, бедняга?»

— Конечно. Я слушаю, Эварист.

Он поднял голову и благодарно взглянул ей в глаза.

— Спасибо, Эв. — «Поздно отступать».

— Этой ночью я не мог уснуть. Всю жизнь я стремился к ясности. Дни и ночи я могу обдумывать математические проблемы, стараясь четко представить себе их решение, — и разговаривая с друзьями, и за едой, и слушая речи республиканцев. Мой мозг работает за меня даже во сне. Бывает, просыпаюсь, и вдруг у меня перед глазами решение, которого я искал неделями. Я всегда искал ясности. — Он помолчал, рассеянно чертя пальцем кривые на скатерти. — За этот месяц я работал очень мало. Отошел и от работы в республиканском обществе. Когда я не вижу вас, я целыми днями мечтаю. Так продолжаться не может. Я больше не могу.

«Еле говорит от волнения. Ждет помощи. Нет, мне его не жаль. Он глуп».

— Очень грустно слышать, Эварист. Я и не думала отрывать вас от важной работы: от республиканцев, от науки. Когда вы мне впервые признались в страсти к математике, я сказала себе: «Я счастлива, что помогу большому ученому отвлечься. Он будет работать еще лучше».

«Неужели она не понимает, о чем я говорю? А вдруг то, что я собираюсь сказать ей, неправда?»

— Эв, вы не поняли меня. Вы, кажется, думаете, что я вас обвиняю. Я хочу сказать, что всю жизнь шел к ясности. А наши отношения — нечто прямо противоположное. И это волнует меня день и ночь. Счастье наших первых часов сменилось горькими мыслями и тоской. Мне нужна ясность. Я должен знать, каковы ваши чувства. Я вас люблю, Эв.

«Правда ли, что я ее люблю? Никогда не представлял себе, что буду нелюбим. Я старался угадать, что она может ответить. Но в каждом ответе была любовь или хотя бы надежда на нее. Сейчас иначе. Я чувствую, я в этом уверен. Нет, она меня не любит. Что-то получилось не так. Где, когда? Почему? У меня в жизни все идет не так».

Он обвел взглядом картины, зеркала, стулья. Все приняло фантастические очертания. А Эв говорила:

— Мы познакомились недавно, всего месяц назад. Правда, мы виделись часто. Нам было хорошо вместе, и мне всегда с вами приятно. Но, признайтесь, мы очень мало знаем друг друга.

Она хотела что-то добавить, но Эварист возбужденно прервал:

— Я знаю, что вы собираетесь сказать: мы будем друзьями, но вы меня никогда не полюбите. — Он говорил враждебно, оскорбительно. — Вы будете любить меня, как брата. Ни один дешевый роман не обходится без того, чтобы героиня в какой-то главе не предложила герою свою искреннюю привязанность. Очень мило, что вы позолотили пилюлю. Она унизительна. В жалости я не нуждаюсь.

«Он способен на что угодно. Я ему не дам устроить здесь сцену».

— Нет, Эварист, я не это собиралась сказать.

— Что же тогда? Что? Пожалуйста, Эв, скажите. Мне, наверное, нельзя было так говорить. Но если бы вы знали, как я измучился, вы бы простили меня. Скажите, Эв.

— Я хотела сказать, что никогда не думала, как вы. Ваши слова для меня — полная неожиданность. Я, право, не знаю, что ответить. Нужно будет обдумать ваши слова. Завтра, быть может, я скажу вам больше.

«Еще есть надежда. Должно быть, я действовал слишком поспешно. Мы знаем друг друга всего месяц. Может быть, в сердце Эв есть капля любви. Эв сама и не знает, но любовь будет расти. А вдруг у нее есть еще кто-нибудь? Почему мне это раньше не пришло в голову? Другой мужчина?»

— Может быть, в вашей жизни есть кто-то другой? Если так, скажите, Эв, прошу вас.

Теперь у нее сделалось страдающее лицо.

— Пожалуйста, Эварист, ни о чем не спрашивайте. Завтра после полудня я к вам приду и все скажу. Сегодня не будем больше говорить об этом. Пожалуйста, обещайте.

Слабая надежда, еще теплившаяся в нем, угасла. Он безразлично сказал:

— Как вам угодно, Эв. Обещаю.

Эварист пришел к себе, зажег свечу и бессильно опустился в старое обитое красным бархатом кресло. Он сделал то, что хотел: признался Эв в любви. Никогда еще не был он так далек от любви, как сейчас. То, что он чувствовал, скорей напоминало ненависть. И все-таки он знал: стоит услышать от Эв одно нежное слово, как любовь овладеет им с прежней силой.

«Если она подвергнет меня унижению, я возненавижу ее, Я знаю. Я хочу не только любить, но и быть любимым. Что она скажет мне завтра? Может быть, попросит быть терпеливым: пройдет год, два, а там она посмотрит? А вдруг она скажет, что

есть другой? Какой-нибудь пустой, разодетый тупица, у которого много денег».

В первый раз перед ним стояла другая Эв, не та, какой он всегда представлял ее себе.

Он машинально разделся.

«Почему нельзя пройти свой путь без женщины? Математика! Чистая, прекрасная математика. В ней-то я никогда не разочаруюсь. Эв. Что я, по существу, знаю о ней? Почему у меня вечно все не ладится, все идет не так? Опять жалею себя. Фу, какая гадость!»

Он задул свечу и лег.

«Еще можно надеяться. Завтра не за горами. Увидим. А нет, так остается математика, остается борьба за народ. Любит меня Эв, нет ли, какая разница? Почему я решил, что она понимает меня, что она не такая, как все? Наверное, женщине меня не понять. Нужно учиться одиночеству. Никаких женщин. Один. Как Ньютон. Великие люди всегда одиноки. Да и жизнь меня учит. Нужно принять урок со смирением. Но кое-что мне остается: борьба за народ и математика».

Войдя к Эвариcту, Эв неподвижно остановилась возле двери. Какой жесткий взгляд! Эварист придвинул ей свое единственное кресло. Сквозь вытертый красный бархат белыми пятнами просвечивала набивка.

Он посмотрел на поджатые губы, на чопорно-прямую фигуру, одновременно испытывая желание и бросить ей в лицо оскорбление и нежно просить о ласке. Он сказал:

— Как вы спали?

— Благодарю, очень хорошо.

«Я еще не видел этого холодного каменного лица. Что на нем написано? Уж, конечно, не любовь; но и не равнодушие. Ненависть? Тоже нет. Не знаю. Во всяком случае, все будет совсем иначе, чем я мог представить себе. Два дня тому назад я трогал ее руки, гладил волосы, целовал губы. Больше этому не бывать, ясно. Мне и не хочется. А вот бросить ее на кровать, грубо, насильно; увидеть страх в ее глазах, унизить ее — если она заставит меня испытать унижение — да, этого я хочу».

— Вчера я обещала прийти. Я пришла сказать, что мы видимся в последний раз.

Эварист испугался.

— Но отчего, Эв? — заговорил он робко. — Что между нами произошло? Я не понимаю. Должно быть, я был в чем-то не прав, слишком нетерпелив, быть может. Не следовало начинать этот разговор вчера? Не понимаю. Отчего вы так переменились? Если я

не прав, если вина моя — скажите. Может быть, все еще поправимо?

Удивительно, как не вяжутся эти слова с настроением, которое им владело лишь минуту назад. Не зная, что еще сказать, он круто остановился.

Эв сидела не шелохнувшись. Она заговорила, медленно цедя слова, почти не шевеля губами. С каждым словом все более жестким становилось ее лицо.

— Вы говорили, вам нужна ясность. Хорошо, получайте. Я любовница одного человека, который мне очень нравится. Он патриот. Шесть недель его не было в Париже. Меня устраивало, что кто-то водит меня по хорошим ресторанам и кафе и рассказывает о наших революциях. Я не противилась вашим поцелуям. Возможно, позволила бы вам и большее, если бы вы знали, как попросить. Вообще говоря, вы мне нравились, хотя приемы у вас неуклюжи даже для начинающего. Но в конце концов вы математик. Не станешь ждать, что математик способен быть искусным любовником. Через несколько дней мой друг возвращается в Париж. Я не могу и не желаю вас больше видеть. Сожалею, что пришлось назвать вещи своими именами, но вы просили ясности. Теперь вы удовлетворены?

— Лжете! Не может быть!

Она твердо, нагло посмотрела в его побелевшее лицо.

— Похожа ли я сейчас на женщину, которая лжет?

Он встал. Эв сидела напротив в своей облегающей, доверху застегнутой ротонде. Руки ее небрежно лежали на ручках кресла. Эварист сам не знал, зачем он поднялся: то ли, чтобы избить ее, то ли, чтобы задушить или ударить кинжалом, который ему сделал мастер Анри. Ему хотелось сделать все сразу. Но порыв внезапно прошел. В лице Эв не было страха. Рот ее — он целовал его когда-то — сейчас стал жадным, большим. Полные непримиримой вражды блестящие черные глаза словно окаменели. Безобразное лицо, злобное, жестокое. Олицетворение греха и разврата. Эварист встал перед нею.

— Значит, вы обыкновенная уличная девка, которую может взять кто угодно? — Он кричал. — Вы играли мной, как сотнями других! Нашелся один дурак, решивший, что вы невинны и способны любить. Да, очень забавно! Меня поймала в свои сети заурядная бесстыдная кокотка. Вы, должно быть, и деньги берете? Не скажете, сколько я вам должен? Проституткам ведь платят, не так ли?

Он выкрикивал оскорбления, вульгарную, грязную брань — он слышал ее в Сент-Пелажи.

Эв поднялась. На щеках ее горели красные пятна. Бешенство,

презрение, ненависть исказили ей лицо.

Ее громкий голос покрыл выкрики Галуа:

— Лопаетесь от сознания своего превосходства, мосье Галуа? Я низкая тварь, а вы великий ученый, благородный человек? Вы невинны. Вы друг народа. Так вот я вам кое-что скажу. Вы говорите о вещах, которых не понимаете и не поймете никогда. Я низкая, необразованная, порочная женщина. Вы образованны, благородны; вы великий математик. Сынок мэра, который откармливал вас цыплятами и белым хлебом. И тем не менее вы посмели сказать мне самые грубые слова, какие я слышала в жизни.

Эварист сжал кулаки:

— Я убью вас, если вы будете говорить о моем отце.

— Убью, — презрительно передразнила она. — Вы и убить-то не способны. О том, как убивают, вы тоже вычитали из книг. Вы способны лишь болтать, и все.

Никогда я вас не боялась и не испугаюсь теперь. Я вам больше скажу. Вам бы лучше остерегаться меня. Потому что, клянусь, вы пожалеете о том, что сказали. Пожалеете, мосье Галуа. Это мое последнее слово.

Эварист услышал резкий стук двери и быстро удаляющиеся шаги. Один. Он посмотрел на красное кресло, где сидела Эв, бросился к нему, встал на колени, сорвал обивку, разбрасывая по всей комнате большие куски ткани. Попробовал разбить на части деревянный остов, но удалось только отломать ножку. Остальное он швырнул в угол и в изнеможении бросился на кровать.

Слезы полились у него из глаз; трудные слезы. Лишь ничтожную долю тяжести, давившей его, унесли они с собой.

25 мая 1832 года

В апреле 1832 года сорок учеников Сен-Симона последовали за отцом Анфантеном в Менильмонтан. Среди них — братья Мишель и Огюст Шевалье. Поэты, музыканты, художники и ученые ремонтировали дом, подметали комнаты и двор, ухаживали за садом, посыпали гравием дорожки. В пять часов вечера звонили к обеду. Члены сен-симонского семейства складывали инструменты и рассаживались за столом. Отца Анфантена встречали словами: «Приветствуем тебя, отец! Да славится бог!»

Здесь, в Менильмонтане, Огюст Шевалье получил от Эвариста горькое, бессвязное письмо, в котором сквозило мучительное разочарование. О чем в нем говорилось, Огюст понял не слишком хорошо. По его мнению, для Эвариста было лишь одно целебное

средство: вступить в семью сен-симонистов, быть среди тех, кто любит его. 25 мая Эварист написал Огюсту еще раз:

«Дорогой друг!

Приятно грустить, когда есть надежда утешиться. Тот, кто страдает, по-настоящему счастлив, если у него есть друзья. Письмо твое, полное апостольской мягкости, немного успокоило меня. Но как уничтожить следы бурных душевных волнений, которые мне пришлось вынести? Как утешиться, когда за месяц я исчерпал величайший источник счастья, какой только может быть? Он не принес мне ни счастья, ни надежд, а лишь уверенность, что он иссяк для меня навек.

О! Проповедуйте теперь мир! Требуйте от тех, кто терзается, сострадания. Нет! Ненависть и ничего больше. Кто не испытывает глубокой ненависти к настоящему, не способен действительно любить будущее.

Я убежден — если не рассудком, то сердцем, — что насилие необходимо. Я хочу отомстить за страдания.

Во всем остальном я на вашей стороне. Но оставим это. Есть люди, которым суждено, может быть, творить добро, но никогда не испытать его. Кажется, я отношусь к их числу.

Ты говоришь, что любящие меня желают мне помочь, устранить жизненные невзгоды с моего пути. Любят меня, как ты знаешь, очень немногие. Иными словами, ты считаешь своим долгом приложить все силы, чтобы обратить меня в свою веру. Но мой долг предупредить тебя, как я уже делал сотни раз: твои усилия напрасны.

Не хотелось бы верить твоему жестокому предсказанию, что моей работе настал конец. Признаюсь, однако: в нем есть доля правды. Чтобы стать ученым, нужно забыть все, кроме науки. Этого умения мне не хватает. Сердце мое восстает против разума. Но я не прибавлю, подобно тебе: «И очень жаль».

Прости, бедный Огюст. Я оскорбил твои сыновние чувства, неподобающе отозвавшись о человеке, которому ты предан. Остроты мои безобидны, смех — беззлобен. Мне, в моем теперешнем возбужденном состоянии, подобное признание стоит недешево.

1 июня увидимся. Надеюсь, в первой половине июня мы будем встречаться часто. Числа пятнадцатого еду в Дофинэ.

Твой *Э. Галуа»*

«Перечитывая твое письмо, я обратил внимание на одну фразу. Ты обвиняешь меня в том, что я опьянен тлетворным дыханием гниющего мира, осквернившего мои руки, сердце, голову.

Более страшного упрека не найдется и в лексиконе сторонников насилия.

Опьянен! Я разочарован во всем, даже честолюбие мне изменило. Как может осквернить меня мир, который мне отвратителен? Подумай!»

Вторник, 29 мая 1832 года

В понедельник, вернувшись домой поздно вечером, Эварист увидел на полу две визитные карточки и письмо, просунутое в комнату под запертую дверь. Он зажег свечу, взял карточки, долго разглядывал их. На каждой было написано одно и то же, разным был лишь почерк да имена.

ПЕШЕ Д'ЭРБИНВИЛЬ
Явится к мосье Галуа завтра, двадцать девятого, в девять часов утра.

МОРИС ЛОВЕРНА
Явится к мосье Галуа завтра, двадцать девятого, в девять часов утра.

Он повертел карточки в разные стороны. Померещилось чье-то лицо. Он закрыл глаза, чтобы прогнать видение, но вопреки его стараниям лицо опять скользнуло к нему через сомкнутые веки.

Эварист вскрыл письмо. Тут же, заслоняя бумагу, появилось полупрозрачное лицо. Читать было трудно. Его приятель Антуан в обычном для него забавном и циничном стиле писал, что тетка смягчилась и заплатила долги. Он свободен и явится завтра, попозже утром, навестить бывшего соседа.

В семь утра Эварист оделся, спустился вниз. По дороге он попросил консьержку убрать комнату: к нему придут. Зашел в кафе. Было почти пусто. За завтраком он равнодушно глядел по сторонам. Посмотрел на часы. Хорошие золотые часы; достались ему после отца. Восемь. Расплатившись, он пошел к дому. По дороге заметил прокламацию, которой раньше не видел. Под ней стояли тридцать четыре подписи: Лафайет, Одилон Барро, Лаффит, Шарль Конт, другие. Эти люди взывали к французскому народу, признавая Луи-Филиппа, но требуя, чтобы он изменил свой политический курс. Эварист нашел прокламацию неописуемо скучной, слабой и многословной. Сколько раз слышал он нудную канитель о Бельгии, об истерзанной Польше, о

внешней и внутренней политике, которую нужно изменить, если правительство хочет удержаться у власти и пользоваться популярностью!

«Явно предлагают услуги Луи-Филиппу. Слишком явно. Казимир Перье в могиле — и вот…» — Он мысленно повторил: «В могиле».

Он дочитал до конца: «Подобно Франции 1789 года, Франция 1830 года верит, что наследственная монархия в сочетании с народными учреждениями не противоречит принципам свободы».

«Аванс! Не терпится поступить в лакеи», — подумал он, но ощутил не горечь, а только разочарование и тупую апатию.

Вернулся к себе. Постель застлана, пол подметен. Стол завален бумагами. Он раз и навсегда велел консьержке их не трогать. Теперь они лежат в беспорядке. Он сложил бумаги в стопку, еще раз заглянул в визитные карточки и бросил их на освободившееся от бумаг место. Подошел к окну. Через тонкие занавески видны были двое людей, неподвижно стоявших напротив. В одном он узнал Пеше д'Эрбинвиля. Другой был высок ростом, тщательно одет. Большое квадратное лицо его показалось Эваристу знакомым. Он вспомнил, что видел этого человека на открытом собрании Общества друзей народа, на банкете в «Ванданж де Бургонь», оба раза рядом с Пеше д'Эрбинвилем.

«Аристократы. Стали от нечего делать республиканцами и чванятся своими манерами и даже своей родословной не меньше, чем буржуа богатством. Перейти через улицу — восемь секунд, двадцать — подняться по лестнице, и ровно в девять их аристократические пальцы постучат в мою дверь».

— Войдите.

Они вошли. Галуа поднялся со стула. Пришедшие чопорно поклонились. Пеше д'Эрбинвиль сказал:

— Моего друга Мориса Ловерна и меня привело к вам дело чести.

Фраза была сказана очень отчетливо, медленно. Этот урок д'Эрбинвиль знал на память и повторял не раз. Выделяя отдельные слова, он по-прежнему кривил нижней губой — точь-в-точь как в тот день, когда Галуа слушал его выступление перед Ратушей и на процессе девятнадцати.

Не ответив, Галуа слегка поклонился. Перенимая хорошие манеры этих республиканцев-аристократов, он сам себе казался нелепым.

— Во время моего отсутствия вас часто видели в обществе мадемуазель Эв Сорель. Она сообщила мне, что виделась с вами, уступая вашим настояниям из жалости, быть может, даже из сочувствия. Вы злоупотребили этим сочувствием. Зная, в каких

отношениях она со мною, вы пытались убедить ее расстаться со мной, возводя на меня клевету, рассказывая обо мне чудовищные небылицы. Убедившись в тщетности подобных методов, увидев, что попытки соблазнить ее провалились, вы подвергли мою приятельницу грубым, непристойным оскорблениям. Мосье Галуа! От своего имени и от имени моего друга мосье Мориса Ловерна я хочу заявить, что вы поступили бесчестно. Я приходил сюда вчера и сегодня пришел снова, чтобы вызвать вас на дуэль. — Он небрежно бросил на стол листок бумаги. — Вот имена и адреса моих секундантов. Они будут ждать ваших.

Затем хриплым голосом заговорил Морис Ловерна:

— Как республиканец, патриот и друг мосье Пеше д'Эрбинвиля, как двоюродный брат мадемуазель Эв Сорель я вызываю вас на дуэль. Готов драться с вами в любое время после того, как кончится ваша дуэль с мосье Пеше д'Эрбинвилем.

Галуа отвечал спокойно. Голос его был почти так же невозмутим, как голоса противников; слова звучали размеренно.

— Господа. Клянусь честью республиканца и патриота, вы услышите правду. Я делаю это из желания предотвратить дуэль, которая, несомненно, повлечет за собой смерть по меньшей мере одного республиканца. Я не хочу умирать. Еще меньше хотел бы я из-за пустяка убить человека. Что касается вашего обвинения, признаюсь, что я был влюблен в мадемуазель Эв Сорель. Я действительно встречался с нею в течение этого месяца. Но уверяю вас, господа, до вчерашнего вечера, когда увидел ваши визитные карточки, я ничего не знал о ее отношениях с мосье Пеше д'Эрбинвилем. Только вчера я догадался, что есть связь между мадемуазель Эв Сорель и вашим визитом, о цели которого не трудно было догадаться по оставленным мне визитным карточкам. Тем не менее я действительно говорил с мадемуазель Эв Сорель, употребляя оскорбительные выражения. Это правда.

Он почувствовал, как слабо все это звучит. Что еще сказать? Если обвинить Эв, это сочтут бесчестным вдвойне. Эти республиканцы-аристократы, один с искривленной губой, другой с хриплым голосом, пара портняжных манекенов, считают, что оскорбить женщину, особенно женщину, принадлежащую им, — преступление более тяжкое, чем измена родине.

Эварист решил добавить только одно:

— Об этом я сожалею и готов принести извинение.

Морис Ловерна быстро возразил:

— За ваш поступок можно просить извинения лишь со шпагой или пистолетом в руке.

С невозмутимым спокойствием Галуа продолжал:

— Я хочу избежать кровопролития. Если бы вам была

известна вся история, вы бы знали, что меня вызвали на грубость. Повторяю: готов извиниться. Что еще я могу сказать?

Он помолчал, не решаясь продолжать. Но хриплый голос Ловерна помешал:

— Вы трус. Вам хочется избежать дуэли, прикрывшись личиной республиканца. И тут же вы совершаете еще более бесчестный поступок, намекая, что мадемуазель Сорель сама вызвала вас на оскорбление.

Пеше д'Эрбинвиль был, казалось, слегка озадачен этой вспышкой.

Эварист взорвался. С презрением, с горечью, которые до сих пор он старался сдержать, он обрушился на своих противников.

— Трус! Обвинить в трусости ничего не стоит. По всем правилам чести мне полагается возмутиться, ответить на оскорбление оскорблением и в доказательство того, что я не трус, либо самому проститься с жизнью, либо убить вас. Я должен во что бы то ни стало показать вам, господа, что я не трус, вам, чье суждение в моих глазах и гроша не стоит. Иначе вы объявите всем республиканцам, всем патриотам, что я трус, отказавшийся принять вызов.

Вся вина моя в том, что в приступе гнева я несдержанно — пусть даже оскорбительно — говорил с женщиной сомнительной репутации — женщиной, цинично разбившей мою жизнь. Но этого вы не расскажете моим друзьям. Вы заставляете меня умирать из-за презренного пустяка. Вы хотите убить меня, потому что какой-то ничтожной девице пришло в голову солгать обо мне. Бог свидетель, я сказал правду. Если вы продолжаете настаивать, я к вашим услугам.

Пеше д'Эрбинвиль произнес ледяным голосом:

— Сказанного достаточно, чтобы вызвать вас на дуэль, если бы это не было уже сделано. Поскольку это сделано, мне сказать нечего. Жду, пока мои секунданты завершат необходимые приготовления.

Оба поклонились и вышли.

Эварист подошел к окну, раскрыл его, выглянул на улицу. Напротив, у мастерской башмачника, полная женщина, жена хозяина, нежно гладила по голове черноволосую, гладко причесанную худенькую девчушку.

«Эта неряшливая толстуха любит дочку. Завтра, может быть, она опять будет гладить девочку по головке или бранить ее. Не знаю, что она будет делать завтра, и никогда не узнаю. Я не смогу прийти посмотреть. Я буду мертв».

Он увидел, как его посетители садятся в экипаж.

Во все стороны шли люди, жестикулировали, разговаривали,

спорили. У овощной лавки напротив покупательница выбирала огурцы.

«Торгуется с лавочником, обсуждает качество овощей. Они живы, эти люди. Они и завтра будут жить. Лет через пятьдесят почти все они умрут. Но земля, здания, камни мостовой, внешняя обстановка могут остаться неизменными. На старую сцену придут новые люди, чтобы начать новый спектакль. По-прежнему будет светить солнце, зазеленеет земля. Мать, ласкающая свое дитя, женщина, перебирающая огурцы, старик, который с ней торгуется, станут прахом. Они умрут. Но их час пробьет еще не скоро; мой — завтра.

Дурацкие мысли — как в плохой мелодраме. Мосье Гюго изложил бы все это гораздо удачнее».

Он слабо улыбнулся.

«Двое хотят убить меня из-за женщины, которую я оскорбил. Ни злобы, ни горечи нет в моем сердце. Старался втолковать им правду. Ничего не вышло, конечно. Да и не могло выйти. Зачем было читать этим двум проповедь? Люблю произносить речи. Что ж, это последняя.

Где ненависть, которая росла в моем сердце? Ее растопило дыхание смерти. Дыхание смерти растопило мою ненависть, — повторил он себе. — Покой овладел мною. Я ждал покоя, томился о нем. Мне еще нет двадцати одного года, а об руку со смертью ко мне уж пришел покой».

Он посмотрел в окно. Ярче, чем всегда, засверкали вокруг краски жизни. Казалось, люди всего мира с улыбкой приветствуют Галуа.

Кто-то постучал. Эварист с усилием оторвался от окна. Вошел Антуан.

— Ну, нашелся! — весело заговорил он. — Вот вы сами, и вот ваш дом. Оба мы на свободе. Патриот и паразит встретились вновь. Патриот печален и спокоен. Что с вами?

— Я рад, что вы пришли. Как раз вовремя. Сегодня меня вызвали на дуэль два патриота. Причина — чисто личного характера. Друзей-республиканцев мне не хотелось бы вмешивать в эту злополучную историю. Будьте моим секундантом.

Лицо Антуана осталось бесстрастным.

— Не могли бы вы рассказать поподробней?

— Эти двое — вот на столе их визитные карточки — вызвали меня в защиту чести Эв.

Антуан свистнул.

— Похоже, что виноват-то во всем я, — озадаченно заговорил он. — Предупреждал ведь, милый друг, что вижу ее впервые в жизни и ничего о ней не знаю. Судя по подруге — помните,

Жанну, блондинку? — чести у нее так мало, что не стоит драться. Мне-то повезло. Я от своей отделался без дуэли. Пока что по крайней мере.

Эварист, не отрываясь, глядел в открытое окно на улицу.

— Честь Эв, как вы сами сказали, вряд ли стоит чьей бы то ни было крови — моей или моих противников. Если бы вам удалось им это внушить, я был бы очень рад уклониться от бессмысленной, никчемной дуэли.

Он нетерпеливо повернулся к Антуану:

— Поступайте как угодно. Сделайте все возможное, чтобы примирить меня с ними. Я готов извиниться за все, что сказал Эв. Мое отношение, может быть, покажется вам недостойным, но у меня свои представления о чести. Мне наплевать, если эти молодчики сочтут меня, трусом. Я хочу избежать дуэли. Понимаете?

— Понимаю, кажется. Обещаю сделать все, что могу.

— Вот имена и адреса секундантов.

Антуан повертел листок с адресами.

— Судя по вашим словам, боюсь, что этим людям не нужна инсценировка дуэли, в которой даже слова и жесты разыграны, как по нотам.

— Нет, нет. Им вовсе не до шуток.

Антуан свистнул еще раз.

— Можете быть уверены, я постараюсь действовать в ваших интересах и добиться того, что вы хотите. Кто оскорбленная сторона?

— Не знаю. Оскорбления были с обеих сторон. Это придется уладить с секундантами. Подробности меня не трогают. Мои теоретические и практические познания о дуэлях сводятся к нулю.

— Если выбор оружия наш, что выбрать? Шпаги, пистолеты?

— Пистолеты.

— В таком случае, нужны два секунданта. Позвольте, я избавлю вас от всех забот. Я охотно попрошу какого-нибудь приятеля помочь. Вместе с ним все устроим.

— Спасибо. Вы очень любезны, что согласились мне помочь.

Странная улыбка тенью скользнула по лицу Антуана и тут же исчезла.

— Нельзя терять времени. По правилам игры к таким делам нужно приступать сейчас же. Как только все будет улажено, я вернусь. Вы пробудете дома весь день?

Галуа кивнул.

Во второй половине дня Антуан вернулся и сообщил, что все

устроено. К несчастью, ему не удалось уладить дело мирным путем, хотя он старался, как мог. Дуэль будет завтра, в шесть утра. Он, Антуан, зайдет за Эваристом ровно в пять. Он пообещал достать фиакр и захватить пару пистолетов. Эваристу не остается никаких дел, решительно никаких. Разве что, пожалуй, поупражняться в стрельбе. Секунданты остановились на стандартном виде дуэли — á volonté (по желанию).

Еще вот что: условились также дать честное слово, что вся история останется в секрете. Имена противников узнают только те, кто будет завтра на дуэли. Доктора решили с собой не брать. Но второй секундант, друг Антуана, — студент-медик. Он сможет оказать помощь.

Эварист слушал молча. Когда Антуан спросил, чем он еще может быть полезен, Эварист сказал, что до завтрашнего утра хотел бы побыть один.

«Сейчас четыре. Тринадцать часов наедине с собой! Тринадцать часов я волен делать, что пожелаю. После — мерзкая процедура: брать пистолет, держаться прямо, смело глядеть в лицо смерти. Сохранять невозмутимое выражение, играть идиотскую роль, пока не задернется занавес жизни. Потом — недолго — останусь жить в памяти людей. Обо мне вспомнят! Одни помянут добром, другие — злом. Затем настанет время, когда не только Эварист Галуа, но даже память о нем умрет. Однажды кто-нибудь подумает обо мне в последний раз, и больше моего имени не вспомнит ни одна живая душа.

В памяти друзей я буду жить и после смерти. Но черты мои станут понемногу расплываться. Время изгладит воспоминание; останется символ, имя, бледный, полустертый образ. Потом забудутся и они.

Бессмертие! Слава — вот единственное оружие, чтобы сразиться с судьбой, смертью, забвением. Лишь немногим дано перед смертью создать нечто новое, чему суждено, меняясь, вечно жить в памяти людей. Не все ли равно умирающему, будет ли он бессмертен или нет? Будет ли след, оставленный им в жизни, долговечным и драгоценным? Ты умираешь — есть ли тебе дело до бессмертия? Да, есть!

Какой же след оставит моя жизнь? Я умираю из — за ничтожной глупости. Хорошо еще, что все дали слово молчать. Никчемная, жалкая смерть. Чем меньше о ней узнают, тем лучше. А вот жизнь? Какую память о себе оставлю я людям?

Да! Моим делом было дело народа. Всю жизнь я хотел бороться с тиранией. Я знаю, это звучит напыщенно. Но таков наш век. Меня отец учил бороться с тиранией. Отец! Не знал он,

умирая, что не пройдет и трех лет, как я последую за ним. Хорошо, что не знал. А мать? Она будет плакать. Скажет, что всю жизнь боялась, как бы что-нибудь подобное не произошло с ее мальчиком. И вдруг случилось неладное! А ведь маленьким он был спокойный, веселый, послушный. Огюст, Альфред. Эти будут горевать по-настоящему, глубоко. Они, наверное, и будут последними, кто вспомнит Эвариста Галуа.

Бессмертие! Что совершил я для народа, чье дело стало моим? В июльские дни не сражался. Битву выиграли без меня и без меня проиграли. Что же я сделал? Говорил речи, строил планы, замышлял, поднял нож. Хотел показать движением руки, что цареубийство может оказаться разумным шагом. Меня таскали по судам. Сажали в тюрьму Сент-Пелажи. Освободили ровно месяц назад. К чему все это привело? Ни к чему. Заслужил ли я право на вечную память в сердце народа? Нет. Я недостоин бессмертия. Да, правда, я молод. Может быть, если бы мне дали еще немного времени, я бы остался жить в сердцах людей.

Бессмертие! Иногда оно куплено одной минутой героизма. И стар и млад может получить бессмертие. Нужен лишь удобный момент, когда история согласна уступить его по сходной цене. Как рад бы я был заплатить за него жизнью! Но когда можно было купить бессмертие, я взаперти сидел в лицее. А во времена Луи-Филиппа бессмертие не продается.

Есть и другое бессмертие. Его достигают не жертвой духа, но торжеством разума. Этим я заслужил право жить в памяти ученых и математиков — не только во Франции, а и во всем мире; повсюду, где преподают и понимают математику. Но моя работа оставила мало следов. Немногие мои труды, написанные или опубликованные — короткие, отрывочные, не содержат важных результатов. Они прошли незамеченными и будут забыты. Рукописи, посланные в академию, так и не опубликованы. Самое важное у меня в голове. А то, что хранится там, перестанет существовать, когда остановится сердце. Следы работы будут жить, только если я дополню умственную работу чисто механической: запишу результаты черным по белому. Тогда что-то останется. В голове все четко, ясно. Но если я умру, никто не узнает, что именно я, Эварист Галуа, решил проблемы, которые кто-нибудь другой, возможно, снова решит через несколько лет. Да, нужно, чтобы их решение навсегда было связано с моим именем. Пусть они станут известны в математике как теоремы Галуа, методы Галуа!

Бессмертие! Тринадцать часов мне осталось, чтобы добиться его. Можно еще успеть. Тринадцать часов, не так мало. Последние тринадцать. Сейчас изложу хорошими чернилами на прочной

бумаге самые важные результаты, общие сведения о моих методах. Чтобы записать все, потребовались бы целые недели. Времени нет. Некогда. Нужно спешить. Хватит обдумывать план действий. Начать сейчас же, немедленно. Да, свечи есть, есть чернила и бумага. Главное — есть еще голова и мозг, который будет работать, пока я жив. Но как мало времени! Скорей!»

Вдруг почувствовав, что страшно проголодался, он сбегал к консьержке, попросил купить еды. Что купить? Что вздумается. Ему совершенно все равно. Бегом вернулся к себе.

«Сначала — письма. Остальное время — математике. Скорей! Оставить о себе хорошую память республиканцам. Пусть знают, что перед смертью я думал о них, о нашем деле. Потом научное завещание. Все это можно успеть до пяти утра. Оставлю Огюсту. Он всю жизнь посвятит, чтобы мой труд стал известен. Научное завещание Эвариста Галуа получит Огюст Шевалье. Но это потом. Сейчас за письма. Нельзя терять ни секунды. Скорей».

Он стал писать:

«29 мая *1832 года,*
Письмо всем республиканцам

Патриоты, друзья мои! Прошу вас не винить меня, что отдаю жизнь не за родину.

Я умираю жертвой бесстыдной кокетки. Жизнь моя угасла в жалкой лужице клеветы.

О, почему приходится умирать из-за ничтожного пустяка! Умирать из-за презренной мелочи! Бог свидетель, лишь уступая принуждению, принял я вызов, который пытался отклонить всеми силами.

Я раскаиваюсь, что сказал гибельную правду людям, так малоспособным хладнокровно выслушать ее. Но я все-таки сказал правду. Я ухожу в могилу с чистой совестью, ее не запятнала кровь патриота или ложь.

Прощайте. Я мог бы отдать долгую жизнь на общее благо.

Простите тех, кто убил меня. Они поступают, как велят их убеждения.

Э. Галуа»

Теперь личное письмо Лебону и Дюшатле.

«Дорогие друзья мои!

Меня вызвали на дуэль два патриота. Отказаться невозможно.

Простите, что я скрыл это от вас. Противники взяли с меня честное слово, что я не сообщу о дуэли ни одному патриоту.

Ваша задача проста. Скажите всем, что я дерусь вопреки

собственной воле. Я исчерпал все средства к примирению. Скажите, что я не способен солгать даже в мелочах.

Помните обо мне: мне не было суждено прожить достаточно долго, чтобы имя мое осталось в памяти моей родины.

Умираю вашим другом

Э. Галуа»

И дописал:

«*Nitens lux, horrenda procella, tenebris aeternis involuta»*[13]

Пришла консьержка; положила на стул пакет с едой, на стол — сдачу. Посетовала на высокие цены. Поговорила о погоде, о качестве покупок и ушла. Эварист накинулся на хлеб, сыр, масло, холодное мясо, выпил два стакана молока, вытер руки о штаны и снова взялся за дело.

Научные рукописи лежали вперемежку с письмами, с республиканскими памфлетами. Он отобрал все, что относилось к математике.

«Надо все перечитать. Бумаги, не представляющие собой никакой ценности, уничтожить. Те, в которых приводятся результаты исследований, объяснить. Нет, не хватит времени. Придется оставить все, как есть.

Сейчас — письмо Огюсту. Длинное письмо. В нем формулирую самое существенное из того, что еще не опубликовано, результаты, в значении и правильности которых я не сомневаюсь. В письме Огюсту будет лишь краткий итог. Сошлюсь на работы, где теоремы и доказательства изложены подробнее. Может быть, еще и удастся приложить к письму три работы: две по теории решения уравнений, третью — об интегралах. Одна уже готова — та, которую отверг Пуассон. Нужно внимательно перечитать, внести изменения. Вторая, по теории уравнений, тоже частично написана, правда начерно».

Он вспомнил, как собирался опубликовать эти две работы в виде брошюры.

«Если как следует разберутся в моих бумагах, найдут к этим двум работам и подходящее предисловие. — Он усмехнулся. — Если я и не закончу всего, что задумал, по крайней мере останется письмо Огюсту, где будет самое основное. Написать надо так, чтобы годы спустя ученые-математики — если случится, что они вновь откроют то, к чему я уже пришел, — увидели бы, прочитав письмо, что первым был Эварист Галуа. Да, мне дорога слава и бессмертие моего имени. Последняя битва битва за бессмертие. Наверное, единственная, которую мне суждено выиграть. Я выиграю, но никогда мне не вкусить сладких плодов победы».

Он написал:

«29 мая 1832 года.

Милый друг!

Я открыл еще кое-что новое в области анализа».

Дальше он углубился в математические подробности. Писал он тщательно. Рукопись, возможно, будет опубликована. Ее могут прочесть математики, станут обсуждать, толковать, разбирать. Он думал об этом, не переставая. Семь страниц покрылись объяснениями, формулами. В заключение части письма, посвященной математике, он приписал:

«Ты знаешь, дорогой Огюст, что эти темы — не единственные, над которыми я работал».

Он коротко перечислил проблемы, которые вынашивал за последнее время, и объяснил, почему не излагает их подробно.

«Не хватает времени. Кроме того, мои идеи в этой области — а она необъятна — еще не сформировались достаточно четко».

Он закончил:

«Напечатай, пожалуйста, это письмо в «Энциклопедическом обозрении».

Не раз в своей жизни я осмеливался выдвигать теоремы, в которых не был уверен. Но все, что написано здесь, я уже целый год храню в голове. Могут заподозрить, что я объявляю результаты исследований, для которых не имею исчерпывающих доказательств. В моих интересах не допустить ошибки, чтоб подобные подозрения не могли возникнуть.

Публично обратись к Якоби или Гауссу с просьбой дать мнение не об истинности, а о значении тех теорем, развернутого доказательства которых я не даю, и тогда надеюсь кто-нибудь сочтет полезным разобраться во всей этой путанице.

Горячо обнимаю тебя!

Э. Галуа»

Еще не пробило полночь, когда он завершил самое важное в жизни дело. Поэтому он опять подписал то же число: «29 мая 1832 года».

Вот рукопись, отвергнутая академией. Он взглянул на обложку. Имена референтов. Лакруа, Пуассон. Ему стало противно. Странно, что, собираясь идти на смерть, он еще все-таки чувствует отвращение.

Надо еще раз перечитать одиннадцать больших страниц. На каждом листе исписано всего полстраницы; на второй половине — широкое поле для примечаний, исправлений, добавлений. Нужно заново проверить все доказательства. Мозг ясен,

проницателен, как никогда. Если в доказательстве ошибка, он сегодня ее обнаружит. Сегодня он может пролить свет на проблемы, мучавшие его, ускользавшие во тьму месяцами. Если бы только время!

Он прочел лемму II — утверждение, приведенное без доказательства в посмертной рукописи Абеля. Еще раз с брезгливым чувством взглянул на замечание Пуассона, размашисто и наскоро нацарапанное карандашом. Даже в почерке ему почудилось что-то отталкивающее, женственное. Замечание он помнил наизусть, но все-таки перечитал снова:

«Доказательство этой леммы неполно. Но лемма правильна — смотри работу Лагранжа № 100, Берлин, 1775 год».

«Придется устроить небольшую дуэль с почтенным мосье Пуассоном. Без кровопролития. Не многовато ли дуэлей для одного дня?» Он усмехнулся и написал под замечанием: «Доказательство леммы дословно переписано с того, которое дается нами в работе, представленной в 1830 году. Мосье Пуассон счел долгом присовокупить свое замечание (смотри выше), которое мы оставляем здесь как исторический документ. Пусть нас рассудит читатель».

Он стал читать. Перечитал теорему II, доказательство. Неполное доказательство. Он ясно увидел, как его нужно изменить. Написал несколько строчек на полях, но тут же зачеркнул: не понравилась формулировка. Надписал наверху: «Доказательство нуждается в некотором дополнении».

Пробили часы. Ушел еще час. Он сосчитал удары. Двенадцать.

Он написал на полях: «У меня нет времени».

Среда, 30 мая 1832 года

Послышался резкий стук в дверь. Прерванный на середине фразы, Эварист отложил перо, собрал в стопку написанные за ночь бумаги и письма и пошел открывать.

Вошел Антуан.

— Ровно пять.

— Я готов.

Минуту назад, сидя над рукописями, он думал, что может работать без конца. Сейчас он почувствовал полный упадок сил. Стук в дверь лишил его всей энергии, уступившей место сонной усталости.

«Если бы только противники сделали мне одолжение: пришли сюда и здесь застрелили. Насколько было бы легче! Отчего им так не сделать? Мне нужно отдохнуть, выспаться — и

сейчас же».

Неверными шагами, цепляясь за перила, он сошел по лестнице. Глядя на бледного Эвариста, Антуан гадал: усталость или трусость согнала краску с его лица?

Их ждал фиакр. Эварист еле смог пожать руку приятелю Антуана, сидевшему внутри, но лица не разглядел. Забившись в угол фиакра, он закрыл глаза, боясь потерять сознание. Свежий воздух оживил его. Удалось открыть глаза и увидеть второго секунданта с ящиком для пистолетов на коленях. Студент — медик, друг Антуана — и такое грубое лицо! Странно.

— В ящике пистолеты? — с запинкой спросил Эварист.

— Да. Хотите посмотреть?

Эварист слабо улыбнулся и покачал головой.

Он больше не боялся потерять сознание. Хотелось только сидеть спокойно, не говорить, не слушать. Спутникам, казалось, было понятно это невысказанное желание. Они не проронили ни слова.

Проехали мимо мастеровых, спешивших на работу, гуляк, отправляющихся спать; мимо не знающих устали проституток, которые все ещё искали клиентов. Полупустынные улицы звонко разносили цокот копыт.

«Париж спит. Как приятно смешивается запах конского пота с запахами весеннего Парижа на рассвете! Париж словно вымер наполовину. Но пройдет час-два, и он наполнится жизнью. Так было вчера и позавчера. Так будет завтра.

Я устал. Мысли путаются. Хорошо, что проработал всю ночь. Рукописи сложены стопкой в комнате — отлично. Только сделал я не все, что собирался. Да и невозможно, конечно. Но письмо Огюсту написано. И еще есть две работы о разрешимости уравнений. Вторая не совсем кончена. Работу об интегралах я даже не начал. Все-таки, что было в силах, сделал.

Математика! Последнее огромное утешение. Она помогла мне прийти в такое состояние, когда ничего не хочется, только спать, даже если сон этот будет смертью. Я не боюсь.

Математика! Лишь она принесла в мою жизнь минуты счастья, какое достается очень немногим. За счастье нужно расплачиваться. Математика — вот моя настоящая любовь. Не об Эв я думал ночь напролет. Я долго жил, очень долго. Теперь обессилел, устал. Секунданты понимают. Не болтают сами и не трогают меня. Но лицо медика мне что-то не нравится».

Фиакр проехал по улице Муфтар к южной части ее, где стояли убогие домики. Обсаженной деревьями загородной дорогой, по которой двигались тени, прорезанные пятнами яркого света, экипаж направился к Жантильи.

«Мир выставил передо мной всю свою красу. Он не жесток, этот мир, но не знает и жалости. Он не печалится и не рад, что, прожив только двадцать лет, я умираю. Точнее — двадцать и семь месяцев. Через пять месяцев мне был бы двадцать один! Как много можно сделать за пять месяцев! Но и час, отделяющий меня от смерти, тоже немало. Мне он не нужен. Я чересчур устал. Заснуть. Передо мной бесконечные часы сна. Добавить бы к ним оставшийся мне час жизни. Тем, кто верит в бессмертие души, умирать, очевидно, куда хуже. Боишься вдвойне: предстоит важный экзамен — поважнее, чем вступительный в Политехническую школу. И не подурачишься. Мое поведение не подойдет. О нет. Тут я не посмел бы бросить в экзаменатора губкой!»

Он улыбнулся про себя. Антуан велел кучеру остановиться. Впереди, метрах в пятидесяти, стоял другой фиакр.

— Оставайтесь, — сказал Антуан. — Мы все уладим.

Захватив ящик с пистолетами, секунданты вышли. Эварист закрыл глаза. Не спится, он слишком устал.

«О чем я подумаю в последний раз? Откуда эта уверенность, что я здесь умру? Есть много других возможностей. Может быть, ничего не случится. Придется еще раз проделать то же самое и драться с этим, который говорит хриплым голосом.

Ладно! Посмотрим. Ранить могут либо слегка, либо серьезно. Каждую из этих возможностей следует рассматривать в связи с возможным исходом второй дуэли. Скучная задача, пошлая и неинтересная. Не стоит решать.

Подумаем лучше о стопке работ на столе. Поработал с толком! Сколько раз я брался что-нибудь писать и не кончал! Когда бы еще записал результаты, если бы не дуэль? Абсолютно дурацкий вопрос. Жаль, не сделал третьей работы, а Огюсту написал о ней. Бедняга, будет искать и не найдет. Нужно было оставить записку, чтобы не беспокоился зря. Будет сокрушаться; решит, что третья затерялась. Может быть, я еще увижу Огюста…

В конце концов не так уж очевидно, что через час я умру. Мало ли что? Мысли у меня летят по окружностям разных радиусов, но все они касаются в одной точке. Точка касания — пуля».

Вернулся Антуан со своим другом.

— Все устроено.

В правой руке Антуан держал пистолет. Медик положил ящик на сиденье фиакра. Эварист вышел. Все трое отправились в лес.

Пройдя шагов двести, вышли на полянку у берега небольшого озера, скрытого от дороги деревьями. Эварист увидел декорацию, готовую для представления. Два колышка, вбитые в черную

землю на тридцать пять шагов друг от друга. Между ними два носовых платка. Все четыре предмета — по прямой линии.

Секунданты поставили Эвариста у одного колышка, у другого он увидел безукоризненно одетого Пеше д'Эрбинвиля. Весь в черном; воротник сюртука поднят, чтобы не были видны галстук и рубашка.

«У него, наверное, для таких случаев специальная форма. Глядя на мой коричневый сюртук, он явно чувствует свое превосходство».

Четыре секунданта, собравшиеся вместе, и оба противника стояли в трех вершинах равностороннего треугольника.

— Господа! — громко сказал Антуан. — Выбор места дуэли и пистолетов был определен жеребьевкой. По жребию также мне выпала честь объяснить вам правила дуэли. Секунданты согласились, что господа Эварист Галуа и Пеше д'Эрбинвиль дерутся на дуэли «á volonté».

Расстояние между колышками — тридцать пять шагов. Между платками — пятнадцать. От метки до платка — десять шагов. По сигналу «сходитесь» каждый дуэлянт может сделать десять шагов вперед, то есть от метки до платка. По желанию дуэлянтов пистолеты при этом можно держать вертикально. Первый, кто дойдет до платка, останавливается и стреляет. Но даже если один из стреляющих уже дошел до исходного пункта, второй не обязан двигаться с места, независимо от того, встретил ли он выстрел противника, или сохранил выстрел за собой.

Как только один из стреляющих выстрелил, он должен застыть на месте и, не двигаясь, принять огонь противника. Однако для того чтобы приблизиться и выстрелить или стрелять с места, противнику дается всего одна минута.

Раненому, чтобы выстрелить в противника, дается минута, считая с того момента, как его ранили. Если он упал — две минуты на то, чтобы подняться.

— Мосье Пеше д'Эрбинвиль, понятны ли вам правила дуэли?

— Да.

Фигура в черном поклонилась в сторону секундантов, затем — сдержанно — в сторону Галуа.

— Мосье Эварист Галуа?

Эварист повторил ответ и движения противника.

— Сейчас секунданты вручат вам оружие. Затем ждите моего сигнала.

Из одной вершины треугольника к двум другим прошли двое, отдали дуэлянтам пистолеты и вернулись на место.

— Готовы, господа?

— Да, готовы.

— Готовы.

— Сходитесь.

Медленным, размеренным шагом, вертикально держа пистолет, Пеше д'Эрбинвиль спокойно двинулся к барьеру. Эварист, с побелевшим лицом, неподвижно стоял у колышка, как зачарованный глядя на приближающуюся черную фигуру. На черном фоне появился причудливо сплетенный узор сверкающих математических знаков.

Внезапно знаки исчезли, начисто стертые будничной мыслью:

«Забыл написать Альфреду. Это будет тяжелый удар для бедного мальчугана. Надо было написать. Как он на меня смотрел, когда приходил в Сент-Пелажи…»

Пеше д'Эрбинвиль дошел до платка, опустил пистолет, небрежно прицелился, выстрелил. Галуа качнулся назад, удержался, с минуту постоял выпрямившись, чуть наклонился вперед и закачался из стороны в сторону, как деревянный болванчик. Все напряженно ждали. Удастся ли ему сохранить равновесие? Внезапно со всего размаха он рухнул лицом на землю.

Антуан вынул часы.

— Господа! Отсчитываю две минуты, в течение которых раненый имеет право сделать ответный выстрел. Прошу не двигаться с мест.

Никто не шелохнулся, глядя на коричневую фигуру, лежавшую на земле. Встанет ли? Ответит ли на выстрел? Но фигура оставалась неподвижной.

— Две минуты истекли, господа. Дуэль окончена.

Все подошли к Галуа. Антуан встал на колени,

стараясь слегка повернуть тело.

— Тяжело ранен в живот, — сказал он Пеше д'Эрбинвилю. — Советую вам и вашим секундантам немедленно удалиться. Мы останемся здесь и выполним наш долг.

Поклонившись, Пеше д'Эрбинвиль и его секунданты пошли к дороге. Вскоре послышался удаляющийся стук копыт. Друг Антуана с грубым смехом ударил безжизненное тело Эвариста ногой.

— Мне не нравятся ваши вульгарные жесты, — резко сказал Антуан. — Оставьте его в покое.

— Забрать пистолет? — униженно спросил друг.

— Болван! Все оставить, как есть. Идем. За доктором, конечно; не наша вина, если на поиски у нас уйдет очень много времени.

Он посмотрел на Эвариста.

— Долго не протянет. А парень был неплохой. Разница между

мною и вами, — философски заметил Антуан, — что вам подобная работа по душе, в то время как я только терплю ее. Это самое большее, что я могу о ней сказать. Да, подготовительная часть доставляет мне удовольствие, это верно. Там требуется ум, искусство, тонкость, находчивость. А здесь? Настоящая бойня. Терпеть не могу крови.

«Эварист Галуа, неистовый республиканец, убит на дуэли с другом-республиканцем». Мосье Жиске непременно напишет в своих мемуарах что-нибудь в этом духе. Вам, конечно, нет дела до мосье Жиске. Вам важно только получить свои сто франков. Получите, не беспокойтесь. Но артистом вам не бывать. У вас душа лавочника. Вам неведомо удовлетворение от хорошо сделанной работы».

Они пошли к дороге.

Эварист пришел в себя. Свирепая, почти невыносимая боль нахлынула вместе с сознанием, где он и что его сюда привело.

Он приподнял голову с влажной земли.

— Антуан! Антуан!

В ответ — только веселое птичье щебетание да шорох листьев. Испугавшись, что этот шум заглушит его, он позвал громче:

— Антуан!

Никто не отозвался. С новой волной боли пришла внезапная догадка: он предан. Все произошло совсем иначе, чем он представлял себе. Догадка была туманной, как первое знакомство с запутанной математической задачей, решение которой трудно предвидеть. Он не мог и представить себе решения: поле зрения застилала темная, непроницаемая, тяжелая завеса боли.

Он заплакал — горько, отчаянно. Он плакал, потому что не мог стерпеть боли и одиночества, потому что ему было стыдно за людей, способных поступить, как Антуан и его друг. Он плакал от жалости к себе, оттого, что в последние мгновения жизни мир показал ему свою прогнившую сердцевину.

От слез боль усилилась; он зарыдал еще горше. Сознание затуманилось. Сквозь рыдания и стоны он услышал неторопливый, тяжелый топот копыт. Земля, на которой он лежал, несла этот звук все отчетливей и громче, не давая угаснуть меркнущей искре сознания. Он ждал. Звук сделался четким, приблизился, стал чуть стихать. Он поднял пистолет, все еще заряженный с тех пор, как был вложен в руку, и выстрелил в воздух. Топот копыт замолк. Стараясь кричать как можно громче, Эварист позвал: «На помощь!»

Услышав приближающиеся шаги, он опять закричал: «На

помощь!»

С последним проблеском, сознания он увидел, как над ним склонилось корявое лицо крестьянина. Он улыбнулся, цепляясь за ускользающую во тьму мысль: «Мир не показал мне в последние мгновения жизни свою черную изнанку».

В полдень Эварист очнулся в госпитале Кошен. Кровать стояла в углу длинной, узкой палаты. Еще две подвижные стены были составлены ширмой, отделявшей его кровать от других больных, а их было много.

У изголовья стояла сестра.

— Это госпиталь Кошен. Вы в хороших руках. Я сейчас пойду за врачом.

Он улыбнулся ей. Громкий стук крови в ушах и темные пятна перед глазами мешали ему говорить.

Подошел мужчина в очках с лысым яйцевидным черепом.

— Я Поль Сильвестр, здешний врач.

Он взял Галуа за руку и нащупал пульс.

— Как я сюда попал?

«Зачем спросил? Это неважно. Я почти не слышу себя. Слова исчезают во тьме».

— Вас доставил один крестьянин, простой человек. Он очень беспокоился о вас.

Галуа улыбнулся про себя. «Этот врач сам простой человек. Он умеет говорить, находит подходящие слова. Стало посветлее. Нужно сказать ему что-нибудь приятное. Пусть видит, что я оценил его».

Язык поворачивался с трудом.

— Я республиканец.

Он старался разглядеть лицо врача. Выражает ли оно сочувствие? Но четко рассмотреть не удавалось: что-то плясало перед глазами.

— Отвечайте, но только если вы в силах. Если это вам не будет стоить слишком большого труда.

Эварист еще раз качнул головой.

— Как вас зовут?

Несколько мгновений спустя последовал ответ. Доктор записал.

— Дрались на дуэли?

Эварист кивнул.

— Хотели бы повидать священника?

Эварист медленно покачал головой.

— У нас молодой священник, очень чуткий человек. Сочувствует республиканцам. Может быть, хотите?

Эварист еще раз качнул головой.

— Хотите ли увидеться с кем-нибудь?

Эварист кивнул.

— Сегодня вы чувствуете себя неважно. — Врач помолчал. — После того, что вы перенесли, это естественно. Завтра будет лучше.

Эварист улыбнулся. Ему хотелось показать доктору, что он все понимает.

Врач, казалось, был в затруднении.

— Если хотите увидеть кого-нибудь из друзей или родных, — с расстановкой произнес он, — скажите. Я пошлю за этим человеком. Но только кто-нибудь один, и очень ненадолго. Вы знаете, кто вам нужен?

— Да.

— Имя и адрес.

— Альфред. Брат. Бур-ля-Рен.

— Альфред Галуа. Бур-ля-Рен, — записал врач. — Не беспокойтесь, я сделаю все, что в моих силах. Сейчас же отправлю письмо со специальным посыльным. Постарайтесь не волноваться. В данный момент сделать ничего нельзя; лежите спокойно, и все. Сестра Терез последит, чтобы у вас было все, что нужно. Через несколько часов ваш брат будет здесь.

Эварист улыбнулся врачу:

— Спасибо. — И, чтобы показать, как он благодарен, заставил себя добавить: — Большое спасибо.

Альфред и сестра Терез стояли у. кровати Эвариста. Сестра указала на стул:

— Доктор дает вам только пять минут. Волноваться нельзя ни вам, ни больному.

Альфред нервно вытер глаза платком. Эварист ясно улыбнулся брату. Лицо Альфреда было искажено страхом и болью. Вдруг напряженное выражение сгладилось, брызнули слезы.

— Кто это сделал, Эварист? — вырвалось у него. — Кто?

Очень медленно, останавливаясь на каждой фразе, а то и на каждом слове, Эварист еле слышно ответил:

— Много говорить не могу. Некогда. Королевская полиция. Я не стрелял. Все в тумане. Секунданты бросили меня. Путается все. Кто виноват? Кто прав? Не знаю. Темно… не понять. Tenebris involuta, тьма.

— Кто сделал? Скажи! Клянусь, я отомщу.

Эварист качнул головой.

— Нет, Альфред. Мстить не надо.

В голову пришли слова, которые он уже слышал очень давно. Вспомнился даже звук голоса, произносившего их. Он силился повторить их Альфреду такими, как слышал сам.

— Не питай ненависти к людям. Виноват политический строй. Не отдельные люди. Не мсти. Мести не надо, Альфред.

Я должен сказать тебе… Это важно. Рукописи по математике. В моей комнате, на столе. Письмо к Шевалье. И тебе. Обоим. Альфреду и Огюсту. Позаботьтесь о работах. Пусть их узнают. Это важно.

Он почувствовал облегчение и стал слушать, как отвечает Альфред.

— Клянусь, сделаю, — горячо сказал брат. — Сделаю все. Клянусь, они будут напечатаны, признаны. Клянусь, что если нужно, я посвящу этому всю жизнь.

Он снова, еще сильнее, залился слезами. Эварист поглядел на него с состраданием. Очень медленно, отрывая от себя каждое слово с нарастающей болью, сказал:

— Не плачь, Альфред. Мне нужно собрать все мужество, чтобы умереть в двадцать лет.

Чтобы унять рыдания, Альфред вцепился зубами в платок, засунул его себе в рот.

Вошел врач, погладил Альфреда по голове, взял за руку.

— Теперь нужно уйти.

Альфред не противился. Они вышли.

— Я его врач. Это я написал вам.

Теперь Альфред рыдал не сдерживаясь.

— Вы не знаете, что это за ужас. Мой брат — великий математик. Великий человек. Великий патриот. Вы должны его спасти, обязаны. Королевская полиция — вот кто его убил. Полиция короля. Он мне сказал. Он не стрелял. Сказал мне сам, с последним вздохом. Спасите. Мой брат — великий математик.

Не отвечая, доктор ласково погладил его по руке.

— Скажите, есть надежда? Хоть какая-нибудь? Должна ведь быть. Было бы слишком жестоко, слишком, если бы он… — У Альфреда не хватило мужества кончить. Он повторил: — Скажите мне, доктор, есть надежда?

Сколько раз слышал врач тот же вопрос — по-разному сказанный, но всегда тот же самый! И сколько раз отвечал на него, так же, как и сейчас:

— Пока есть жизнь, всегда остается надежда.

— Нет, скажите правду. Правду, доктор. Есть ли надежда?

— Мало, — прошептал врач.

Четверг, 31 мая 1832 года

В десять утра врач вошел в палату, пощупал пульс. Сестра Терез стояла по другую сторону кровати.

— Пульс очень слаб. Он умирает.

Эварист чувствовал, что с ним говорит, держит его руку тот, кто всегда любил его. Прикосновение руки наполняло его ощущением блаженного покоя. Чья это рука? Чей голос? Нежный, успокаивающий. В детстве казалось, что у ангелов такие голоса. Но чья же рука? И голос? Что за вопрос! Как он их сразу не узнал? Это так просто, так невероятно просто, так очевидно. Конечно, это отец. Как ясно доносится каждое слово!

— Сынок, дорогой, ты устал.

— Устал, отец. Очень. Но сейчас легче. От твоей руки. Держи мне руку, гладь по голове. Да. Так мне лучше. Я почти счастлив.

Врач осторожно опустил руку Эвариста.

— Он умер.

Сестра Терез перекрестилась и накрыла тело Эвариста Галуа простыней.

13 июня 1909 года

2 июня 1832 года друзья Галуа снесли гроб с его телом на ныне неизвестное общее кладбище. Три тысячи республиканцев слушали выступления, восхвалявшие доблести Галуа как республиканца. Семьдесят семь лег спустя гению Галуа отдали дань математики, члены академии, официальные лица Франции. За эти годы Франция прошла сквозь войны и революции, свергла монархию, Вторую Республику, Вторую Империю, пережила Парижскую коммуну и, наконец, построила и перестроила Третью Республику. За эти годы математические исследования Галуа печатались, обсуждались, преподавались. Труды Галуа оказали влияние на развитие современной математики. Время стерло много имен, некогда известных и могущественных. Но память о Галуа с годами лишь росла в истории математики. Там она и останется жить вечно.

13 июня 1909 года в Бур-ля-Рен состоялась торжественная церемония. Перед ветхим двухэтажным домом собрались мэр города, секретарь академии, чиновники, математики, дети, прохожие. Предстояло открыть мемориальную доску, где в простых словах говорилось, что в этом доме родился Эварист Галуа. С речью выступил профессор Нормальной школы Жюль Таннери. Из окон соседних домов выглядывали женщины, дети: все-таки довольно интересное зрелище. Профессор читал по бумажке, но выразительно, живо: публика слушала.

«Он родился в этом доме почти век тому назад. Отец его, Габриель Галуа, был одним из ваших предшественников, мосье мэр».

Профессор и мэр обменялись поклонами.

«В трудные времена мэр Галуа являл собой пример преданности либеральным идеям. Он пал жертвой интриг и клеветы. Жена его, урожденная Демант, достойная, умная женщина, носила имя, хорошо известное на факультете права».

Профессор говорил о юности Галуа, проведенной в Луи-ле-Гран, о все растущей страсти к математике.

«Была у него и другая страсть: тайная и неистовая любовь к республике — республике, быть может, более идеальной, чем его математика, и слишком далекой от действительности. Республике, для которой он был готов пожертвовать жизнью своей и — если нужно — других. Герои Виктора Гюго — не плод фантазии. Мариус и Анжольра — братья Эвариста Галуа».

И профессор Таннери рассказал о жизни Галуа. Он не упомянул, однако, что короткий жизненный путь Галуа определила не любовь к таинственной республике, а ненависть к тирании — тирании гнусной, как зловоние тюремной камеры, вероломной, как предательство купленной девицы, смертоносной, как меткая пуля.

Выступление Жюля Таннери подходило к концу. Оратор обратился к мэру Бур-ля-Рен:

«Ввиду положения, занимаемого мною в Нормальной школе, мне выпала честь сказать вам, мосье мэр, следующее: разрешите поблагодарить вас за предоставленную мне возможность должным образом почтить гений Галуа от имени школы, в которую он поступил с сожалением, где остался непонятым, откуда его исключили и для которой он стал ныне одним из самых блистательных украшений».

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Большая доля правды и малая вымысла переплелись в том, что здесь написано. Теперь мне хотелось бы установить, где кончается правда и начинается вымысел. Задача нелегкая; подчас я и сам этого не знаю. Легче было бы сказать, что является вымыслом, чем определить границы правды.

В официальной регистрационной записи есть свидетельство о рождении Эвариста Галуа. Таким образом, мы не ошибемся, если скажем, что Эварист Галуа был рожден на свет. Если встречаешь письма, подписанные Эваристом Галуа, если видишь тот же почерк, больше того — внутреннюю последовательность в стиле и содержании, можно спокойно предположить, что они написаны Эваристом Галуа. Если в школьных отчетах или полицейских архивах находишь документы, относящиеся к пребыванию Галуа в школе или тюрьме, мало причин сомневаться, что это подлинные бумаги. Значит, можно спокойно доверять немногим известным документам, касающимся жизни Галуа. Однако все документы, все письма, написанные в то время, когда жил Галуа, и относящиеся к его судьбе, дают лишь отрывочные сведения, рисуют неполную картину. Ее приходится завершать, прибегая к помощи менее надежных источников и воображения. Там, где я пользовался источниками, повествование мое в такой же степени правдиво и достоверно, как источники, на которых оно основано. Там, где был вынужден, исходя из известных фактов, делать собственные заключения, я старался поступать как мог осторожно и честно. В самом главном вопросе — о смерти Галуа — мое толкование и выводы существенно отличаются от точки зрения наиболее известного биографа Галуа, Дюпюи. Ниже я буду вынужден остановиться на этом подробнее. Правда внутренне логична. И в конечном счете там, где документальных сведений не хватает и где возместить их нужно догадкой и воображением, единственным мерилом правдивости и остается эта внутренняя логика.

Наиболее важным источником является исследование Дюпюи — труд на семидесяти страницах. Им пользуются, на него ссылаются все, кто когда-либо писал о Галуа. Это ученый труд, солидно обоснованный, построенный на изучении источников. Написан он тепло, сочувственно. Дюпюи и не думал прибегать в своем кратком исследовании к вымыслу. Но и ему пришлось делать заключения, принимать или опровергать письменные свидетельства некоторых родственников Галуа. Не ограничиваясь имевшимися в его распоряжении документальными источниками,

он был вынужден придумывать, приводить собственные догадки, связывать события дополнительными звеньями.

Это неудивительно. Самая сухая и ученая биография должна давать толкование. Иначе это просто инвентарь документов. Биографу приходится иметь дело с суждениями и взглядами современников, с противоречивыми утверждениями, с оценками либо чересчур лестными, либо слишком суровыми, с предубеждением и предрасположением. Никто не в силах описать факты, не выразив своего отношения к ним. Де ла Одд считает толпу кровожадной и дикой, Луи Блан — мужественной и благородной; в толкованиях и теориях отражены наши социальные позиции. Революционный дух Галуа одному биографу покажется прискорбным заблуждением, другого приведет в восторг.

Субъективная, личная позиция должна выступать тем более отчетливо, когда источников мало, как в данном случае. У тех, кто умер в зените славы, нашелся свой Босуэлл. А если и нет, их жизнь оставила заметные следы. У многих были жены, любовницы, дети, друзья, враги, и каждый ревниво хранил письма, клочки бумаги и воспоминания, имеющие отношение к великим людям. Но и в этих случаях нелегко установить правду.

Приведу пример: тех, кто изучал жизнь Виктора Гюго и писал о ней, можно разделить на две группы. Одни считают, что у жены Гюго была любовная связь, другие утверждают, что не было.

Если так трудно установить истину о том, кто, дожив до старости, умер знаменитым писателем менее ста лет тому назад, что же сказать о Галуа, который умер молодым в полной безвестности? Биографии обычно по-настоящему только начинаются в том возрасте, когда умер Галуа.

В течение жизни он как математик был неизвестен. Его знали только как страстного республиканца. Однако республиканцу приходилось скрываться, работать тайно. Он, несомненно, делал все, чтобы не оставить следов своей революционной деятельности.

Найденные и сохранившиеся бумаги Галуа посвящены математике. Все, что мы знаем о его революционной деятельности, основывается на данных парижских газет, в особенности «Газетт де Трибюно», и воспоминаниях современников (Распая, Жиске, Дюма). Не лишено вероятности, что какие-то документы, относящиеся к его политической деятельности, существовали, но были уничтожены либо членами семьи, либо даже Огюстом Шевалье.

В самом деле, в своей «Некрологии» Шевалье приводит стихотворение, найденное, по его словам, в записках Галуа.

L’eternel cypres m’environne:
Plus pale que le pale automne,
Je m’incline vers le tombeau[14].

Тщетно искал я это стихотворение в бумагах Галуа.

Ниже я намерен вкратце остановиться на каждой главе, указав, какими воспользовался источниками и что в моем повествовании вымысел. Но, разумеется, даже и часть повествования (значительно большая), основанная на источниках или документах, содержит элемент драматизации, что почти всегда означает долю вымысла.

I. Короли и математики

Общая канва главы базируется на исторических материалах.

II. Бунт в Луи-ле-Гран

Существо главы представляет собой историю бунта в Луи-ле-Гран; имена, события, даты ее в точности соответствуют тем, что приведены в двухтомнике Дюпон-Феррье — научной книге, оснащенной множеством документов. Вымыслом являются лишь подробности, роль, сыгранная во время бунта Эваристом Галуа, и фигура Лавуайе.

III. «Я — действительно математик»

Приведенное здесь описание учебного процесса основано на документах, собранных и опубликованных Дюпюи. Все замечания преподавателей Галуа, приведенные в этой и последующих главах, — подлинники. Первое соприкосновение Эвариста с математикой; впечатление от книги Лежандра; быстрота, с которой Галуа прочел ее; уверенность, что он решил уравнение пятой степени; начало научной работы — все это соответствует тому, что сказано Огюстом Шевалье и напечатано в «Иллюстрированном журнале».

Выбросил Коши работу Галуа или потерял? Представляется невероятным, чтобы он мог потерять и ее и работу Абеля.

Галуа не выдержал вступительного экзамена в Политехническую школу. Однако приведенное здесь письмо, где Галуа сообщает об этом событии отцу, — вымысел.

IV. Гонения

Причины самоубийства Галуа-отца и беспорядки на похоронах описаны Дюпюи, узнавшим об этом от членов семьи Галуа. Мое описание не противоречит Дюпюи. Письмо отца Галуа вскрывает истинную причину самоубийства; само письмо — вымысел.

Сведения, послужившие основой для сцены на экзамене, взяты у Бертрана. Запустил ли Галуа губкой в голову экзаменатора? По преданию, да. Бертран с преданием не согласен. Я остался верным преданию; оно, по-моему, не противоречит истории жизни Галуа, его характеру.

Спор между Галуа и мосье Ришаром — вымысел. Но он объясняет внезапный переход мосье Ришара от восторженных отзывов к сдержанным. Быть может, он также объясняет, почему мосье Ришар, по всей видимости, не сыграл никакой роли в жизни Галуа по окончании Луи-ле-Гран.

V. Год революции

История с исключением Галуа из Нормальной школы соответствует действительности. Приведенные здесь и ниже документы — подлинники. Политические и исторические факты взяты из источников, самый важный из которых — книга Луи Блана. Все события, описанные здесь, — историческая правда. Роль Галуа, как и сцена в школе верховой езды, — вымысел. В школе действительно происходили еженедельные собрания Общества друзей народа. Они прекратились после 25 сентября 1831 года, когда национальная гвардия закрыла собрание.

В основу сцены, где Галуа находит доказательство теоремы Штурма, легли сведения, приведенные в очерке Бертрана.

VI. «За здоровье Луи-Филиппа»

До сцены на банкете исторические события снова базируются на источниках, а роль Галуа в них отчасти вымышлена. (Известно, например, что 21 декабря 1830 года он находился в Лувре.) Введение к работе Галуа «Об условиях разрешимости уравнений в радикалах» — подлинник, как и письмо в академию, где он настаивает, чтобы референты сообщили, потеряна рукопись или ее собираются опубликовать. Письмо приводится Бертраном. Лекция, прочитанная в книжной лавке Кейо, — подлинник. Она основывается на одной из посмертных записей Галуа.

На исторической арене Галуа появляется во время банкета в «Ванданж де Бургонь». Банкет и судебный процесс описаны в «Воспоминаниях» Дюма в «Газетт де Трибюно» и в «Газетт де Франс». Описание процесса почти полностью взято из этих источников.

Сцена между Жиске и Лавуайе, разумеется, вымышлена. Об ее отношении к судьбе Галуа будет сказано ниже.

VII. Сент-Пелажи

Основным источником для этой главы, для описания арестного дома и Сент-Пелажи послужил двухтомник писем Распая. Письма, приведенные в этой главе, достоверны. Однако при переводе они сильно сокращены. Их подлинный стиль так романтичен, что в дословном переводе некоторые выражения в наше время прозвучали бы нелепо.

Отзыв Пуассона о работе Галуа — подлинник (приведен у Бертрана). Подлинным является и публикуемое здесь впервые введение к двум работам Галуа, взятое из посмертных записок. Выдержка из «Газетт де Трибюно» с отчетом о втором судебном процессе — также подлинник.

VIII. Возвращенная свобода

На этой главе следует остановиться гораздо подробнее, чем на других. В ней содержатся новые догадки, которые я хочу обосновать.

Начнем с перечисления фактов, послуживших основанием для моих выводов:

1. В камеру Галуа влетела пуля. Этот факт, подробно описанный Распаем, сомнению не подлежит. В одном письме Распай также утверждает, что все заключенные знали, что пуля не случайна, и были возмущены, когда Галуа бросили в карцер.

2. В том же письме говорится, что с Галуа в тюрьме обращались особенно плохо: его запугивали, притесняли.

3. Из тюремных записей о Галуа явствует, что 16 марта 1832 года его перевели в лечебницу.

4. 25 мая Галуа написал Огюсту Шевалье полное отчаяния письмо, содержавшее ясные намеки на неудачную любовную историю. Это письмо (оно приводится в VIII главе) было напечатано Огюстом Шевалье в его «Некрологии».

5. 29 мая Галуа написал письмо двум друзьям — республиканцам, письмо всем республиканцам и свое научное завещание. Как первое, так и второе были напечатаны Шевалье в

«Некрологии». Письмо друзьям-республиканцам озаглавлено так: «Письмо к Н.Л. и В.Д.».

Можно, мне кажется, отгадать, кому было написано письмо. На одной странице рукописи, отвергнутой Пуассоном, той самой, на которой Галуа накануне дуэли второпях написал знаменитое «У меня нет времени», находим четыре имени: V. Delaunay (В. Делонэ), N. Lebon (Н. Лебон), F. Gervais (Ф. Жерве), A. Chevalier (О. Шевалье).

Не нужно обладать чрезмерной проницательностью, чтобы заключить, что это имена людей, которым Галуа собирался писать в ту роковую ночь. Имена Н. Лебон и В. Делонэ соответствуют инициалам Н.Л. и В.Д. Разумно предположить, что Ф. Жерве был тем, кому Галуа написал письмо, адресованное всем республиканцам. И действительно, имена Делонэ и Лебона я нашел в «Газетт де Трибюно», где говорится, что это члены Общества друзей народа, принимавшие участие в республиканских судебных процессах. Ф. Жерве упоминается в «Большом универсальном словаре XIX века» Ларусса как видный республиканец, медик, на семь лет старше Галуа.

(У меня Галуа пишет письмо Дюшатле и Лебону. Это сделано для того, чтобы не вводить новых персонажей, о которых нам очень мало известно.)

6. Эварист был убит на дуэли Пеше д'Эрбинвилем.

Дюма в своих «Мемуарах» упоминает однажды, что Эвариста Галуа убил «этот очаровательный молодой человек» Пеше д’Эрбинвиль. Других сведений на этот счет нет, как нет и фактов, служащих опровержением. Нет оснований полагать, что Пеше д’Эрбинвиль был полицейским шпионом. Дюма — не слишком надежный источник, но все же приходится считаться с его показаниями; они — всё, чем мы располагаем.

7. После дуэли Галуа нашли на дороге одного, без секундантов. Это следует как из газетных заметок, так и статьи в «Иллюстрированном журнале».

8. Младший брат Эвариста, Альфред Галуа, которому в то время было восемнадцать лет, видел Эвариста в больнице перед смертью. Альфред всю жизнь утверждал, что Эварист Галуа был убит королевской полицией. Этот факт, приведенный у Дюпюи, кажется надежным. Альфред дожил до того времени, когда брат его стал знаменитым. Пытаясь привлечь внимание к работам Галуа, он, вероятно, встречался со многими математиками, и его мнение о причине смерти брата, очевидно, приобрело широкую известность.

Это все, что мы знаем. Любое истолкование смерти Галуа должно придерживаться этих фактов. Это жесткое ограничение.

Вспомним: из письма Галуа накануне дуэли явствует, что его обязали честным словом держать всю историю в секрете. Он знал, что умрет, но не подозревал полицейской провокации. Причину своей смерти он видел в отвратительной любовной интриге.

Нелегко построить теорию, соответствующую всем этим фактам. Я не претендую на то, что мой вариант — единственно возможный. Но хочется сказать, что я пришел к нему после трехлетнего знакомства с моей задачей. За этот период я пытался создать простую, но психологически убедительную картину, обнимающую все известные факты.

Я знаю, что подробности выдуманы и намеренно расплывчаты. Но, мне кажется, есть достаточно косвенных доказательств, из которых следует, что судьбу Галуа решило вмешательство тайной полиции. Не верится, что можно объяснить все известные факты, если не предположить, что Галуа был убит намеренно. Из источников, относящихся к этому периоду, нам известно, что полиция широко пользовалась услугами шпионов и провокаторов. Не естественно ли, что она пустила в ход свою гигантскую машину, чтобы убрать опасного в ее глазах и способного на крайние поступки горячего бунтаря, угрожавшего жизни короля и оправданного присяжными? Можно ли уклониться от очевидного вывода, что ответственность за раннюю гибель одного из величайших ученых, какого когда-либо знал мир, ложится на политический режим Луи-Филиппа?

Есть и другие доводы, подтверждающие мою теорию.

Во-первых, мы знаем, что префект полиции Жиске был прекрасно осведомлен обо всем, что касалось смерти Галуа. Полиция боялась беспорядков. Она помешала собранию, которому, как предполагают, предстояло организовать демонстрацию на похоронах Галуа. Каким образом могла полиция узнать об этом, если не из донесений полицейских шпионов? Откуда знал мосье Жиске, что Галуа, как он пишет в своих «Мемуарах», был убит одним из своих друзей?

Во-вторых, не я первый заявил в печати, что Галуа был убит преднамеренно. Известно, что после революции 1848 года и в период временного правительства были разоблачены многие полицейские шпионы, раскрыты старые заговоры. Поэтому характерно, что коротенькая заметка, напечатанная об Эваристе Галуа в «Новой летописи математики за 1849 год», начинается фразой:

«Убийство Галуа произошло 31 мая 1832 года на так называемой «дуэли чести».

Этим исчерпываются мои косвенные доказательства. Не исключена возможность, что какие-либо новые свидетельства

прольют более яркий свет на обстоятельства смерти Галуа. Впрочем, это представляется крайне сомнительным.

Постараемся дать ответ на вопрос: *«Что произошло после смерти Галуа?»*

Пожалуй, источники, дающие ответ на этот вопрос, интереснее самого ответа. Их два. Во-первых, свидетельство префекта полиции времен Казимира Перье, мосье Жиске — одного из тех, кого сильнее, чем кого-либо другого, ненавидели республиканцы. Оно приводится в его «Мемуарах», напечатанных в 1840 году, когда никто еще не считал Галуа знаменитым математиком. Во-вторых, свидетельство, которое приводит де ла Одд в книге, посвященной истории французских секретных обществ того времени. Автор — темная личность. Пока революция 1848 года не обличила его как полицейского шпиона, он делал вид, что принадлежит к республиканцам. Оба источника тождественны по содержанию.

Если верить им, в июне 1832 года готовилась революция. Республиканцы только ждали подходящего момента начать ее. Решили, что удачный момент настал, когда умер Галуа. Было намечено использовать его похороны как повод взяться за оружие.

Мосье Жиске начинает свое повествование следующими примечательными словами:

«Мосье Галуа, неистовый республиканец, был убит на дуэли одним своим другом».

Не намек ли это на то, что республиканцы решились пожертвовать одним из своих и сделать труп орудием, которое могло бы воспламенить народ? У полиции в этой истории, как и во всех других, руки оставались чистехоньки, сообщают нам господа Жиске и де ла Одд. От них же мы узнаем, что полиция была прекрасно подготовлена, чтобы не допустить революционного взрыва. Собрание, которому предстояло организовать демонстрацию на похоронах Галуа, должно было состояться 1 июня в квартире мосье Денюана на улице Сент-Андрэ-дез-Ар. Полиция опечатала помещение. Республиканцы сорвали печати и открыли собрание, после чего полиция совершила облаву на квартиру и арестовала тридцать человек.

Однако 2 июня от всяких планов вооруженной демонстрации на похоронах Галуа отказались. Об этом мы опять-таки узнаем от Жиске и де ла Одда. Почему же? В этот день умер генерал Ламарк — герой, которого Наполеон на ложе смерти назвал маршалом Франции. Это был куда более подходящий случай поднять восстание. Итак, народ всколыхнула смерть Ламарка, а не Галуа. В самом деле, через три дня, когда хоронили генерала Ламарка,

Париж был охвачен восстанием, и люди на баррикадах дрались и умирали за свободу.

Но среди тех, кто пал на баррикаде Сен-Мери, чьи подвиги были позднее описаны в бессмертных произведениях Виктора Гюго, Галуа уже не было. Без него прошли великие дни 1832 года, когда он мог отдать свою жизнь за народ.

Ежедневные газеты, полные сообщений о смерти генерала Ламарка, лишь вкратце упоминают о «погребении артиллериста парижской национальной гвардии, члена Общества друзей народа, мосье Эвариста Галуа», состоявшемся в субботу, 2 июня.

На похоронах собралось более двух тысяч республиканцев, в их числе — делегации от разных школ. Гроб мирно принесли к могиле. От имени Общества друзей народа выступили с надгробными речами Планьоль и Шарль Пинель. Тело Галуа было предано земле на общем кладбище. Ныне от могилы его не осталось никаких следов.

Какая судьба постигла научные труды и рукописи Галуа?

Рукописи от семьи Галуа получил Шевалье. Письмо, написанное Галуа другу в ночь накануне дуэли, было опубликовано в 1832 году в «Энциклопедическом обозрении». Нет свидетельства, что кто-либо в то время прочел и понял научное завещание Галуа. Мы не знаем, как Шевалье и Альфред Галуа добились того, что работы Эвариста были напечатаны. Одним из следов, оставшихся от их усилий, является копия письма, написанного Альфредом к Якоби. Другим — старательно переписанные Огюстом работы Галуа. Неизвестно, как эти рукописи попали в руки Лиувилля. Можно сказать лишь одно: с именем знаменитого математика навсегда будет связана та заслуга, что он добросовестно и серьезно попытался разобраться в работах Галуа и самую важную из них напечатал в «Журнале чистой и прикладной математики». Приводим выдержки из предисловия Лиувилля:

«Главным объектом исследований Эвариста Галуа являются условия разрешимости уравнений в радикалах. Автор строит основы общей теории, которую детально применяет к любому уравнению, чья степень — простое число. Шестнадцати лет, на скамье Луи-ле-Гран… работал Галуа над этой сложной темой. Он последовательно представил в академию ряд работ, содержащих результаты его размышлений… Референтам показались неясными формулировки молодого математика… и следует признать, что упрек был не лишен оснований. Преувеличенное стремление к краткости породило этот недостаток, которого нужно в первую очередь стараться избегать, когда имеешь дело с отвлеченными и таинственными категориями чистой алгебры. Тому, кто намерен

вести читателя к неизведанной земле, далеко от проторенной дороги, воистину необходима ясность. Как сказал Декарт: «Когда имеешь дело с трансцендентальными вопросами, будь трансцендентально ясен». Слишком часто пренебрегал Галуа этой заповедью; и понятно, почему знаменитые математики могли счесть необходимым направить одаренного, но неопытного новичка на правильный путь суровым советом. Автор, которого они осудили, был полон энергии и рвения; их совет мог оказаться ему полезен.

Теперь все иначе. Галуа больше нет! Остережемся бессмысленной критики; пройдем мимо недочетов и обратимся к достоинствам…»

В этих словах видна попытка извинить и оправдать тех, кто так и не признал Галуа при жизни. Бесцельная защита! В равной мере тщетными были бы и обвинения. Величие трагедии Галуа заслоняет вопрос о вине или заслугах нескольких людей, прочитавших или не прочитавших его работы.

Послушаем теперь мнение о публикации Лиувилля, высказанное математиком Бертраном в очерке о Галуа: «Публикуя работу, показавшуюся неясной Пуассону, Лиувилль объявил о своем намерении снабдить ее комментарием, которого он никогда не написал. Я слышал, как он говорил, что понять доказательства очень легко. Видя мое изумление, он добавил: «Достаточно на месяц-другой посвятить себя исключительно этой работе, не думая ни о чем другом». Это объясняет и оправдывает затруднение, в котором честно признался Пуассон и которое, несомненно, испытали Фурье и Коши. Прежде чем написать работу, Галуа больше года производил смотр бесчисленной армии сочетаний, подстановок и перестановок. Ему пришлось отобрать и пустить в ход все дивизии, бригады, полки и батальоны и выделить простые подразделения. Чтобы понять его изложение, читателю нужно познакомиться с этим сборищем, проложить сквозь него дорогу, научиться видеть его в нужном свете. На все это нужны долгие часы и активное внимание. Этого требует сущность темы. И мысли и язык являются новыми. Их не изучишь за один день.

Желая как следует понять работу, которую он собирался комментировать, Лиувилль пригласил нескольких друзей прослушать серию лекций о теории Галуа. На этих лекциях и обсуждениях присутствовал Серре. В первом издании его «Учебника высшей математики», вышедшего в свет несколько лет спустя, об открытиях Галуа не сказано ни слова. В предисловии говорится, что автор не хочет незаконно воспользоваться правами своего учителя. Прошло пятнадцать лет, прежде чем появилось

второе издание книги Серре. Лиувилль, по-видимому, отказался от проекта написать комментарий к работе Галуа. Для второго издания книги Серре подготовил изложение теории Галуа. Помнится, он отвел для него шестьдесят одну страницу. Они были напечатаны, и я корректировал оттиски.

Меня удивило, что в этих страницах не приводятся высказывания Лиувилля. Когда я спросил Серре, почему, он ответил: «Я действительно принимал участие в обсуждениях, но ни слова не понял». Позже, однако, видя, что подобное объяснение вряд ли покажется удовлетворительным, он уступил желанию Лиувилля и изъял шестьдесят одну страницу. Чтобы уладить с наборщиком (последующие страницы были уже готовы), он написал столько же страниц на совершенно другую тему».

В 1870 году, почти сорок лет после смерти Галуа, Камилль Жордан написал книгу о теории подстановок. В предисловии говорится, — быть может, с излишней скромностью, — что эта книга лишь комментарий к работе Галуа. Именно этот труд привлек внимание математического мира к работам Галуа. Ниже, приводятся выдержки из предисловия к книге Жордана:

«Галуа было суждено дать четкое обоснование теории разрешимости уравнений… Проблема разрешимости, прежде казавшаяся единственным объектом теории уравнений, ныне представляется первым звеном в длинной цепи вопросов, касающихся преобразования и классификации иррациональных чисел. Применив свои общие методы к этой частной проблеме, Галуа без труда нашел характерное свойство групп уравнений, разрешимых в радикалах. Но, торопясь с формулировкой, он оставил несколько коренных теорем без достаточных доказательств…

Коренных идей три… идея приводимости, появившаяся уже в трудах Гаусса и Абеля, идея переходности, высказанная Коши, и, наконец, различие между простыми и сложными группами. Последней, наиболее важной из трех, мы обязаны Галуа».

В конце XIX века идеи Галуа стали общеизвестными среди математиков. Влияние их неизменно возрастало. В очерке «Влияние Галуа на развитие математики», написанном в 1894 году, весьма крупный и известный математик Софус Ли называет имена четырех крупнейших математиков XIX века: Гаусс, Коши, Абель и Галуа. Показав, как идеи Галуа проникают во все отрасли математики, он в заключение говорит:

«Видя, как плодотворны оказались идеи Галуа в стольких областях анализа, геометрии и даже механики, можно смело надеяться, что они окажут равное влияние и на математическую

физику. Не преподносят ли нам явления природы лишь непрерывный ряд бесконечно малых преобразований, в основе которых лежат незыблемые законы вселенной?»

В 1906 и 1907 годах Жюль Таннери опубликовал большую часть из оставшихся посмертных рукописей Галуа. С научной точки зрения они не имели особенного значения по сравнению с теми, которые еще в 1846 году опубликовал Лиувилль. В предисловии к этому изданию Таннери пишет:

«Жозеф Лиувилль получил рукопись Галуа от Огюста Шевалье. Луивилль оставил свою библиотеку и бумаги мужу одной из своих дочерей, мосье де Блиньеру. Мадам де Блиньер ревностно посвятила себя классификации бесчисленных бумаг мужа и своего прославленного отца. Не без труда восстановила она рукописи Галуа. Вместе с другими важными бумагами они были переданы Французской академии наук.

Нижеследующие строки, отдельные отрывки и заметки, публикуемые мною здесь, ничего не добавляют к теории Галуа. Это лишь дань его славе, сияющей все ярче и ярче со времени публикации Лиувилля».

Характерно, однако, что Таннери не включает в свою публикацию часть одной рукописи. Мы знаем, что во время заточения в Сент-Пелажи Галуа написал к двум работам по чистому анализу полное негодования, горечи, обвинений и сарказма введение, где он подвергает осмеянию и нападкам Пуассона, экзаменаторов Политехнической школы, сильных мира сего и властелинов царства науки. Цитируемая здесь (глава VII) в свободном переводе (и слегка сокращенном виде) часть печатается впервые. Это тяжкое обвинение рабам научной иерархии, ставящим тщеславие выше смирения, высокомерие выше доброты.

Почему Таннери опустил этот характернейший человеческий документ? Потому, отвечает он, что, когда Галуа писал, он, возможно, был в состоянии опьянения или возбуждения. Знаменитый математик Таннери полагает, очевидно, что, не будучи пьян или возбужден, Галуа не решился бы оскорбить Пуассона и академиков. Так, семьдесят четыре года спустя после смерти Эвариста Галуа все еще не позволено поступать по-человечески: браниться, терзаться ненавистью и презрением. Через семьдесят четыре года после смерти его канонизируют официальные математики, и, следовательно, он обязан поступать, как подобает уважающему себя академику. А когда он ведет себя как живой человек, он, несомненно, либо пьян, либо болен.

Когда Галуа умер, его знали как ярого республиканца, любившего Францию и свободу, ненавидевшего тиранию и

сражавшегося с ней. Современным математикам, знакомым с терминами «группа Галуа», «поле Галуа», «теория Галуа», он известен как один из величайших математиков всех времен, в юности убитый на дуэли.

Он был и тем и другим. История его заслуживает, чтобы ее знали и помнили не только математики, но и все люди доброй воли.

ПРИМЕЧАНИЯ

Абель, Нильс Генрик (1802–1829) — норвежский математик. Доказал, что алгебраические уравнения степени выше четвертой в общем случае неразрешимы в радикалах. Наряду с К. Якоби заложил основы теории эллиптических функций и исследовал интегралы, названные его именем.

Ампер, Андре-Мари (1775–1836) — французский физик и математик, член Парижской академии, профессор Нормальной школы. Установил один из основных законов электродинамики — закон взаимодействия электрических токов; предложил первую гипотезу для объяснения магнитных свойств вещества.

Ангулемский, герцог — старший сын графа д'Артуа (впоследствии короля Карла X). Командовал французскими роялистскими войсками при водворении на престол Людовика XVIII. В 1823 году возглавлял поход против революции в Испании.

Анфантен, Бартелеми-Проспер (1796–1864) — французский социалист-утопист, один из ближайших учеников Сен-Симона, в общине сен-симонистов считался главой школы и носил титул «верховного отца». Пытался с пятьюдесятью своими сторонниками устроить трудовую коммуну в имении Менильмонтан, вблизи Парижа.

Араго, Доминик Франсуа (1786–1853) — французский физик и астроном, член Парижской академии, профессор Политехнической школы, директор Парижской обсерватории. Исследовал поляризацию света, открыл так называемый «магнетизм вращения». Буржуазный республиканец. В дни февральской революции 1848 года входил в состав временного правительства. Выступал против июньского восстания парижских рабочих. После переворота 2 декабря 1851 года отказался присягать Луи-Наполеону.

Араго, Этьен (1803–1892) — журналист, левый республика — ней, один из основателей республиканской демократической газеты «Реформа». Принимал личное участие в баррикадных боях июльской революции 1830 года, восстаниях 1832–1834 годов, революции 1848 года. После революции 4 сентября 1870 года, свергнувшей Вторую империю, был назначен мэром Парижа.

Артуа, Шарль граф'д (1757–1836) — французский принц из династии Бурбонов, брат Людовика XVI и Людовика XVIII. После падения Бастилии в 1789 году бежал за границу, руководил изменническими действиями дворян-эмигрантов. В 1814 году возвратился во Францию. После смерти Людовика XVIII, в 1824 году, стал королем под именем Карла X. Проводил политику защиты интересов наиболее реакционных слоев дворянства и высшего католического духовенства. Свергнут июльской революцией 1830 года и бежал за границу.

Барро Одиллон (1791–1873) — реакционный государственный деятель, в июльской революции — сторонник Луи-Филиппа, затем возглавлял либерально-монархическую оппозицию. В 1848–1849 годах — глава правительства, расчистившего путь бонапартистской диктатуре Наполеона III.

Бастид, Жюль (1800–1879) — буржуазный республиканец, активный участник июльской революции. За участие в демонстрации на похоронах генерала Ламарка (1832) был приговорен к смерти, но бежал из тюрьмы в Лондон. Позднее оправдан судом присяжных и вернулся во Францию. Участвовал в революции 1848 года, был противником бонапартизма.

Беррийский, герцог — второй сын графа д'Артуа, рассматривался Бурбонами как возможный наследник французского престола; убит 13 февраля 1820 года рабочим-шорником Пьером Лувелем. Этот террористический акт был вызван белым террором Реставрации и повлек за собой усиление реакции.

Бертолле, Клод-Луи (1748–1822) — французский химик, профессор Нормальной и Политехнической школы. «Совместно с А. Лавуазье разработал новую химическую номенклатуру. Определил состав аммиака, разработал беление полотна хлором и способ получения бертолетовой соли. Во время революции 1789–1794 годов организовал производство пороха, стали и др. Положил начало учению о химическом равновесии.

Бертран, Жозеф Луи Франсуа (1822–1900) — французский ученый и политический деятель, участник июльской революции, математик, профессор Политехнической школы и Коллеж де Франс, член Парижской академии.

Биксио, Жак-Александр (1805–1865) — французский ученый и

политический деятель, участник июльской революции. В 1830 году основал журнал «Revue de deux mondes», был редактором газеты «National». После бонапартистского переворота в декабре 1851 года заключен в тюрьму.

Блан, Луи (1811–1882) — французский политический деятель, социалист-утопист и историк, автор «Истории французской революции», «Истории десяти лет» (1830–1840). В 1848 году — член временного правительства, соглашатель, противник вооруженного восстания рабочих. После 1851 года — эмигрант, в 1871 — депутат национального собрания, враг Парижской коммуны.

Босуэлл, Джемс (1740–1795) — английский писатель, получивший известность благодаря написанной им биографии английского писателя Самюэля Джонсона, которая явилась образцом особого жанра художественной биографии. Босуэлл кропотливо подбирал мелкие детали из жизни своего героя и на основе собственных наблюдений построил подробное жизнеописание Джонсона. Книга Босуэлла — важный историко-культурный памятник XVIII века, образец английской художественной прозы.

Вальми — деревня в Северной Франции. 20 сентября 1792 года французская революционная армия в сражении при Вальми разгромила и отбросила австро-прусские войска, двигавшиеся на Париж с целью задушить революцию. Битва при Вальми означала перелом в войне между революционной Францией и коалицией европейских монархов.

Гаусс, Карл Фридрих (1777–1855) — крупнейший немецкий математик, автор выдающихся работ по теоретической астрономии, геодезии, физике и земному магнетизму. Доказал основную теорему алгебры о существовании хотя бы одного корня у всякого алгебраического уравнения. Написал ряд работ по теории чисел, дифференциальной геометрии, теории вероятностей, теории бесконечных рядов, теории потенциала и т. д.

Генрих IV — основатель династии Бурбонов, король Франции (1589–1610).

Гора — революционно-демократическое крыло Конвента в период Великой французской революция 1789–1794 годов. То же — монтаньяры (буквально — горцы), якобинцы.

Гюго, Виктор (1802–1885) — великий французский писатель — демократ, приветствовал июльскую революцию; в революции 1848 года примкнул к республиканцам, после государственного переворота Луи-Наполеона в декабре 1851 года эмигрировал, боролся с бонапартизмом, сочувственно относился к Парижской коммуне. В романе «Отверженные» дал картины парижского восстания 1832 года.

Жемапп — город в Бельгии. 6 ноября 1792 французские республиканские армии одержали блестящую победу при Жемаппе над контрреволюционными австрийскими войсками. Следствием этой победы было занятие французскими войсками всей Бельгии.

Жиске, Андре (1792–1866) — префект полиции времен Июльской монархии.

Кавеньяк, Эльонор Луи Годфруа (1801–1845) — республиканец, активный борец против монархии Карла X, сражался на баррикадах в дни июльской революции. В октябре 1830 года, будучи капитаном артиллерии национальной гвардии, участвовал в попытке восстания, был арестован, но оправдан судом присяжных. Дальнейшая деятельность протекала в Обществе друзей народа и Обществе прав человека.

Клейн, Феликс (1849–1925) — немецкий математик, автор работ по алгебре, геометрии и теории функций.

Коши, Огюстен Луи (1789–1857) — французский математик, член Парижской академии. Создатель теории функций комплексного переменного. Автор работ по теории дифференциальных уравнений, математической физике и др., автор классических курсов математического анализа.

Лагранж, Жозеф Луи (1736–1813) — выдающийся французский математик и механик, член Парижской академии. Заложил основы аналитической механики. Работал во многих областях математики (вариационное исчисление, алгебра, теория чисел и т. д.).

Лакруа, Сильвестр Франсуа (1765–1843) — французский математик, ученик Монжа.

Ламарк, Жан Максимен (1770–1832) — наполеоновский генерал, после Второй Реставрации изгнан из Франции. Вернулся в 1818 году, был избран в палату депутатов, примыкал к левому крылу либералов. После июльской революции находился в оппозиции. Похороны Ламарка в Париже послужили поводом для восстания 5–6 июня 1832 года.

Лаплас, Пьер Симон (1749–1827) — выдающийся французский математик, физик и астроном, член Парижской академии, автор пятитомной «Небесной механики». Ему принадлежит ряд открытий в механике, теории дифференциальных уравнений, теории вероятностей. Выдвинул гипотезу о происхождении солнечной системы, которая продержалась в науке свыше ста лет. При Наполеоне I одно время был министром внутренних дел.

Лафайет, Мори Жозеф де (1757–1834) — генерал, умеренный либерал-конституционалист. Принимал участие добровольцем в войне за независимость Северной Америки. Во время французской революции 1789 года во главе буржуазной национальной гвардии выступал против революционного движения масс, после падения монархии бежал из Франции, но был арестован австрийцами и несколько лет просидел в крепости. В годы Реставрации играл видную роль в либеральном движении. В дни июльской революции — начальник национальной гвардии; пользуясь своей популярностью, содействовал приходу к власти Луи-Филиппа.

Лаффит, Жак (1767–1844) — крупный банкир, вместе с Лафайетом содействовал возведению на престол Луи-Филиппа.

Лежандр, Адриан Мари (1752–1833) — французский математик, профессор Политехнической школы, член Парижской академии. Автор работ по теории чисел, теории эллиптических интегралов, геодезии, а также классического курса элементарной геометрии.

Ли, Софус (1842–1899) — норвежский математик, создатель теории непрерывных групп. Труды Ли имеют важное значение для теории дифференциальных уравнений и для дифференциальной геометрии.

Лиувилль, Жозеф (1809–1882) — знаменитый французский математик, член Парижской академии.

Луи-Филипп, герцог Шартрский и Орлеанский (1773–1850) — старший сын герцога Филиппа Орлеанского (Эгалите), родственника короля Людовика XVI. Из честолюбивых побуждений прикинулся сторонником революции, участвовал в сражениях французской республиканской армии против войск европейской коалиции. В 1793 году участвовал в контрреволюционном заговоре генерала-изменника Дюмурье, после разоблачения которого бежал за границу. Вернулся во Францию в 1814 году. После июльской революции 1830 года стал королем под именем Луи — Филиппа, в своей политике опирался на финансовую буржуазию. Свергнут февральской революцией 1848 года.

Людовик XIV — король Франции (1643–1715). Его правление — период наивысшего расцвета абсолютизма. По преданию, ему принадлежит изречение: «Государство — это я». Войнами и расточительностью довел страну до крайнего истощения.

Людовик XVI — король Франции (1774–1792), свергнут Великой французской революцией и по постановлению Конвента казнен 21 января 1793 года.

Людовик XVIII — французский король из династии Бурбонов (1814–1824), брат Людовика XVI. В 1791 бежал за границу. Считался главой контрреволюционной эмиграции, уступая фактическое руководство своему брату графу д'Артуа. Занял престол после падения Наполеона I. С воцарением Людовика XVIII начался период Реставрации Бурбонов.

Мария Антуанетта (1755–1793) — французская королева, жена Людовика XVI, дочь австрийского императора. Организовывала контрреволюционные заговоры против революции. Казнена по приговору революционного трибунала.

Мартиньяк, Жан-Батист (1776–1832) — политический деятель эпохи Реставрации, сторонник конституционной монархии. В 1828–1829 годах министр внутренних дел, фактически глава кабинета. Пытался реформами укрепить режим Реставрации.

Монж, Гаспар (1746–1818) — французский математик и общественный деятель, один из основателей Политехнической школы в Париже. Создал начертательную геометрию, сделал важные открытия в области дифференциальной геометрии и

теории дифференциальных уравнений.

Монсеньор — титул принцев из царствующих династий.

«Монитер» («Вестник») — официальный орган правительства Франции в 1789–1869 годы.

Перье, Поль Казимир (1777–1832) — крупный банкир и реакционный политический деятель. После революции 1830 года — глава кабинета и министр иностранных дел.

Полиньяк, Жюль-Арман (1780–1847) — ярый реакционер и ультрароялист; 8 августа 1828 года возглавил кабинет министров. Один из инициаторов издания ордонансов 26 июля 1830 года, грубо нарушавших конституцию. Вместе с де Перроне, бывшим министром внутренних дел, де Шантелозом, бывшим хранителем печати Карла X, де Гернон-Ранвилем, бывшим министром просвещения и культов, после июльской революции был приговорен судом пэров к пожизненному заключению, но в 1836 году амнистирован.

Пуассон, Симеон Дени (1781–1840) — французский математик, механик и физик. Профессор Политехнической школы, член Парижской академии. Автор работ по исчислению конечных разностей, дифференциальным уравнениям, теории вероятностей, а также по теоретической и небесной механике, теории упругости, математической физике и др.

Распай, Франсуа Венсан (1794–1878) — видный французский революционный демократ и утопический коммунист, ученый — химик и медик. Был тесно связан с рабочим движением. Активный участник июльской революции 1830 года, один из инициаторов провозглашения республики в 1848 году. В декабре 1848 года рабочими и социалистами выдвигался кандидатом в президенты республики, неоднократно заключался в тюрьму, в 1853 году изгнан Наполеоном III из Франции. В последние годы жизни примыкал к левому крылу буржуазной партии радикалов.

Римский король — титул, введенный Наполеоном I для своего единственного сына (Наполеона II) при его рождении. После падения Наполеона I он был отправлен вместе со своей матерью, дочерью австрийского императора Марией-Луизой, в замок Шенбрунн, недалеко от Вены, где жил под именем герцога Рейхештадтского. После смерти Наполеона I бонапартисты

рассматривали Наполеона II как законного претендента на французский престол. Никогда не правил, умер в 1832 году.

Тьер, Адольф (1797–1877) — французский реакционный политический деятель, историк и публицист. Премьер и министр иностранных дел Июльской монархии. Руководил жестокой расправой с участниками восстаний 1834 года. Палач Парижской коммуны.

Фома Кемпийский (1379–1471) — средневековый философ — мистик. Автор многочисленных религиозных сочинений, написанных средневековой латынью. Основной мотив «Подражания Христу» — призыв к аскетическому уединению и проповедь так называемых христианских добродетелей.

Фурье, Жан Батист Жозеф (1768–1830) — французский математик, физик, военный и политический деятель. Автор работ по теории тригонометрических рядов, дифференциальных уравнений и теплопроводности.

Эгалите, Филипп (1744–1794) — герцог Орлеанский, отец Луи-Филиппа, в первые годы французской революции отрекся от своего титула и принял фамилию Эгалите (Равенство), вступил в Якобинский клуб, стал членом Конвента. Прикидываясь убежденным якобинцем, голосовал за казнь Людовика XVI. Впоследствии настоящее лицо Филиппа Эгалите и его честолюбивые замыслы были разоблачены, и по приговору революционного трибунала он был казнен.

Якоби, Карл Густав Якоб (1804–1851) — немецкий математик, член Берлинской академии. Работал почти во всех областях математики. Наибольшее значение имеют его работы по теории эллиптических функций, по интегрированию уравнений динамики, по вариационному исчислению.

БИБЛИОГРАФИЯ

В этой библиографии приводятся не все источники и книги, которыми пользовался автор. Однако в ней перечислены те из них, которые упоминаются в этой биографии, и все источники, в которых содержатся новые данные о Галуа. К списку даются пояснения. Из множества современных английских книг, в которых дается изложение теории Галуа, здесь названы только две. Одна, насколько мне известно, — самая современная, другая — самая популярная.

Abel, N.H., Oeuvres Complètes, Christiania, 1839. *(Абель Н.Г.*, Полное собрание сочинений.)

Abrantes, Laure Saint-Martin Junot, Duchesse d', Memoirs of Napoleon, his court and family, New York, 1886. (*Абрантес*, *Лаура Сен-Мартэн Жюно, герцогиня д',* Наполеон, его двор и семья, Мемуары.)

Из весьма многочисленных книг о жизни Наполеона я упоминаю лишь эту: она содержит интересные сведения о том, как повлияла на императора смерть Лагранжа (см. гл. I).

Artin, Emil, Galois Theory. Notre Dame, Mathematical lectures, 1942. *(Артен, Эмиль*, Теория Галуа.)

В этой небольшой книжке (70 страниц) дается, пожалуй, наиболее современное изложение теории Галуа.

Bell E.T., Men of mathematics, New York, 1937. *(Белл Е.Т.,* Математики.)

Bertrand, Joseph, La vie d'Evariste Galois par P. Dupuy Printed in «Eloges Académicues», p. p. 329–345. Paris, 1902. *(Бертран, Жозеф,* Жизнь Эвариста Галуа по П. Дюпюи.)

Эта малоизвестная статья содержит некоторые сведения о жизни Галуа, помимо тех, которые приводятся Дюпюи. (Письмо Галуа в институт, подробности сцены на вступительном экзамене в Политехническую школу; история о том, как теория Галуа приобрела известность.)

Birkhoff, Carrett, Galois and Group Theory. Osiris, Vol, III, p. p. 260–268, 1937. (*Биргкоф, Гаррет*, Галуа и теория групп.)

Blanc, Louis, L' Histoire de dix ans (1830–1840). Paris, 1841–1844. 5 vols. *(Блан, Луи*, История десяти лет (1830–1840).)

Наиболее значительная и исчерпывающая работа, относящаяся к историческим событиям того периода. Около половины этого крупного произведения посвящено событиям 1830–1832 годов, то есть вплоть до смерти Галуа.

Chevalier, Auguste, Nècrologie, «Revue encyclopèdique», p. p. 744–754. *Paris*, 1832. *(Шевалье, Огюст*, Некрология.)

В этом очерке — первой работе, посвященной жизни Галуа, — приводятся письма, написанные Галуа накануне дуэли: одно, адресованное всем республиканцам, другое — двум друзьям.

Crelle, Journal für die reine und angewandte Mathematik, Vol. I, p. p. 65–85, 1826; vol. 4, p. p. 131–156, 1829. *(Крелль,* Журнал чистой и прикладной математики.)

В этих томах напечатаны две работы Абеля, о которых у меня говорится в главе IV.

Dumas, Alexandre, Mes Mèmoires. Paris, 1863–1865, vol. 10. *(Дюма, Александр,* Мои воспоминания.)

В этой работе описан банкет, на котором Галуа предложил тост «За Луи-Филиппа», и суд, на котором Галуа был оправдан. Это единственный известный источник, называющий противника, с которым Галуа дрался на дуэли. В одной фразе вскользь говорится, что Галуа был убит Пеше д'Эрбинвилем.

Dupont-Ferrier, Gustave, Du Collége de Clermont au lycée Louis le-Grand. Paris, 1921–1922, vol. 2. *(Дюпон-Ферье, Густав*, От коллежа де Клермон до лицея Луи-ле-Гран.)

Второй том описывает историю Луи-ле-Гран от 1800 до 1920 года. Все, что в моей книге относится к Луи-ле-Гран (бунт в 1824 году, распорядок дня, имена, письмо мосье Ла-бори), взято из этой работы.

Dupuy, Paul, La vie d'Evariste Galois, Annales de l'École Normale, vol. 13, p. p. 197–266, 1895. *(Дюпюи, Поль,* Жизнь Эвариста Галуа, Летопись Нормальной школы, т. 13, стр. 197–266, 1896.)

Перепечатано в «Cahiers de la Guinzaine» за 1903 год, с предисловием Жюля Таннери.

Эта работа (в ней 70 страниц) — самый важный источник, касающийся истории Эвариста Галуа. В нем приводятся тексты и факсимиле множества подлинных документов, воспоминания людей, еще помнивших Эвариста Галуа. Однако, делая выводы, автор, как видно, не считается с собранными фактами. В книге порой встречаются и погрешности против исторической правды.

Euler, Leonard, Éléments d'algébre. Paris, 1807. *(Эйлер, Леонард,* Начала алгебры.)

Galois, Evariste, Oeuvres mathématiques, «Journal de mathématiques pures et appliquées», vol. XI, p. p. 381–444, 1846. *(Галуа, Эварист,* Труды по математике.) Изданы Жозефом Лиувиллем.

1. Введение, Ж. Лиувилль.

2. «Démonstration d'un théoréme sur les fractions continues périodiques». («Доказательство одной теоремы о периодических непрерывных дробях».) Впервые напечатано в «Anna les de mathématiques» de M. Gergonne. Vol. XIX, p. 294, 1828–1829.

3. «Notes sur quelques points d'analyse». («Заметки о некоторых вопросах анализа».) Впервые напечатано в «Annales de mathématiques de M. Gergonne. Vol. XXI, p. 182, 1820–1831.

4. «Analyse d'un mémoire sur la résolution algébrique des equations». («Анализ одного мемуара об алгебраическом решении уравнений».) Впервые напечатано в «Bullitin des Sciences mathématiques de M. Férussac». Vol. XIII, p. 271, 1830.

5. «Note sur la résolution des équations numériques». («Замечание о решении численных уравнений».) Впервые напечатано в «Bulletin des Sciences mathématiques de M. Férussac». Vol. XIII» p. 413, 1830.

6. «Sur la théorie des nombres». «Из теории чисел».) Впервые напечатано в «Bulletin des Sciences mathématiques de M. Férussac». Vol. Xlll, p. 428, 1830.

7. Письмо Галуа Огюсту Шевалье. Впервые напечатано в «Revue encyclopédique», p. p. 568–576, 1832.

8. «Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux». («Мемуар об условиях разрешимости уравнений в радикалах».) Это работа, отвергнутая Пуассоном.

9. «Des équations primitives qui sont solubles par radicaux». («Простые уравнения, которые можно решить в радикалах».) Неоконченная работа.

В 1897 году работы Галуа были заново изданы в форме отдельной книжки с предисловием, написанным Эмилем Пикаром.

Многие из остальных рукописей были — с описаниями и пояснениями — опубликованы Жюлем Таннери в «Bulletin des Sciences mathématiques» («Бюллетене математических наук»), т. 30, стр. 226–248 и стр. 255–263, 1906, и стр. 275–308, 1907. Они были также изданы в форме отдельной книги в 1908 году. Подлинники всех известных нам рукописей Галуа хранятся в Библиотеке l'lnstitut de France (Института Франции). У Вильяма Маршала Буллита (Лиувилль, Кентукки) и в библиотеках Харвардского и Принстонского университетов находятся их фотокопии. Кроме рукописей, изданных Лиувиллем и Таннери, в этих коллекциях есть полный текст предисловия к двум работам по анализу (лишь частично приведенный в публикации Таннери), математические записи Галуа, несколько школьных задач, данных мосье Ришаром; заметки Лиувилля; черновик письма Альфреда Галуа к мосье Якоби.

Математические записи Галуа зачастую перемежаются с рисунками, изображающими то дом, то лица, стул, причудливые фигуры. Много раз встречается тщательная подпись автора. В одном месте старательно, печатными буквами выведено имя

«Жерве». Есть и такие фразы: «Républlque indivisible. Unité indivisibilité de la république. Liberté, égalité, fraternité ou la mort. Lyon. Lyon grande ville». («Неделимая республика. Единство, нерушимость республики. Свобода, равенство, братство или смерть. Лион. Лион, большой город».)

«Gazette de France» («Газетт де Франс»), 1831.

В номере от 17 июня 1831 года напечатаны подробности суда над Галуа, которые нигде больше не были опубликованы.

«Gazette des Tribuneaux» («Газетт де Трибюно»), 1831.

В номерах от 16 июня 1831 года и 4 декабря 1831 года приводится подробный отчет о двух заседаниях суда, на которых разбиралось дело Галуа.

Gisquet, H. J., Mémoires de M. Gisquet, ancien pré'et de police. Paris, 1840, Vol. 4. *(Жиске, А.Ж.,* Воспоминания мосье Жиске, бывшего префекта полиции.)

Hall, John R., Major, The Bourbon Restoration. London, 1909. *(Холл, Джон Р.,* Реставрация Бурбонов.)

Heine, Heinrich, Das Bürgerkönigtum im Jahre 1832. *(Гейне, Генрих*, Королевство бюргеров в 1832 году.) Сборник статей. Одна из них — от 19 апреля 1832 года — описывает эпидемию холеры в Париже.

Hodde, Lucian de la, l'Histoire de sociétées secrétes et du parti répubicain de 1830 à 1848. Paris, 1850. *(Одд, Люсиан, де ла*, История секретных обществ и республиканской партии с 1830 по 1848 год.) Эта книга, написанная полицейским шпионом, в основном сходна по содержанию с «Mémoires» («Воспоминаниями») Жиске.

Hugo, Victor, The Memoirs of Victor Hugo. New York, 1899. *(Гюго, Виктор,* Воспоминания Виктора Гюго.) В переводе Джона В. Хардинга.

Jordan, Camille, Traité des substitutions et des équations algébrique. Paris, 1870. *(Жордан, Камилль,* Сочинение о алгебраических уравнениях и подстановках.) В предисловии автор заявляет, что его книга (в которой 667 страниц) — лишь комментарий к работе Галуа.

K*lein, Felix*, Vorlesungen über die Entwicklung der Mathematik im XIX Jahrhundert. Berlin, 1926. *(Клейн, Феликс,* Лекции о развитии математики в XIX столетии.)

K*owalewski, Gerhard,* Grosse Mathematiker. Berlin, 1938, *(Ковалевский, Герхард,* Великие математики.)

Lagrange, J.L., Traité de la résolution des équations numériques. Paris, 1808. *(Лагранж, Ж.Л.,* Трактат о решении численных уравнений.)

Его же. Oeuvres de Lagrange. (Труды Лагранжа.) Paris, 1867–

1892.

Laplace, Pierre Simon, Marquis de, Oeuvres complétes. Paris, 1878–1892. Vol. 14. *(Лаплас, Пьер Симон, маркиз де,* Полное собрание трудов.)

Larousse, Pierre, Grand dictionnaire universel du XlX-e siecle. *(Ларусс, Пьер,* Большой универсальный словарь XIX века.)

Legendre, Adrian Marie, Eléments de géométrie. Paris, 1824. *(Лежандр, Адриан Мари,* Начала геометрии.)

Lie, Sophus, Influence de Galois sur le développement des mathématiques. (Ли, *Софус,* Влияние Галуа на развитие математики.) Этот труд появился в «La centenaire de l'Ecole Normale 1795–1895» («Столетие Нормальной школы — 1795–1895»), обширном сборнике, посвященном истории этого учебного заведения. В этой же книге напечатан очерк о жизни мосье Гиньо.

Lieber, Lillian R., Galois and the Theory of Groups. 1923.

(*Либер, Лиллиан Р.,* Галуа и теория групп.) Эта небольшая книжка дает популярное изложение теории Галуа. Иллюстрации Хью Грея Либера.

Lucas-Dubreton, Jean, La Restauratlon et la monarchie de Juillet. Paris, 1926. (*Люкас-Дюбретон, Жан,* Реставрация и Июльская монархия.) Эта книга, написанная очень приятным языком, рассказывает о событиях от 1815 до 1848 года. В ней упомянут Галуа, его поведение на банкете; суд, оправдавший его.

«Magasin Pittoresque» Paris, 1848. («Иллюстрированный журнал».) Т. 16, стр. 227–228. В этом номере помещена короткая статья об Эваристе Галуа (без подписи), снабженная портретом Эвариста, сделанным Альфредом Галуа по памяти после смерти брата.

Mullingen, J.G., The History of Dueling. 2 vols. London, 1841. (*Мюллинген, Дж. Г.,* История дуэлей.)

«Nouvelle annales de mathématiques». Vol III, p. p. 448–452. Paris, 1849. («Новая математическая летопись».) В этом томе напечатана краткая биография Ришара и заметка о Галуа, начинающаяся примечательной фразой: «Galois a ètè assassinè le 31 mai, 1832 dans une rencontre dite d'honneur, par antiphrase» («Убийство Галуа произошло 31 мая 1832 года на так называемой дуэли чести»).

Perreux, Gabriel, Au temps des sociètès secrèts (1830–1835). Paris, 1931. *(Перро, Габриель,* Во времена секретных обществ (1830–1835.) В этой книге приводится весьма обширная библиография, относящаяся к истории указанного периода и истории секретных обществ.

Pierpont, James, Early History of Galois' Theory of Equations.

(Пирпонт Джемс, Ранняя история теории уравнений Галуа.) «Bulletin of the American Mathematical Society». («Бюллетень Американского Математического Общества».) Vol. 4, p. p. 332–340, 1898.

Pinet, Gaston, Histoire de l'École Polytechnique. Paris, 1887. *(Пине, Гастон,* История Политехнической школы.)

Raspail, F.V., Lettres sur les prisons de Paris. Paris, 1839, Vol. 2. *(Распай, Ф.В.,* письма о парижских тюрьмах.) Здесь находятся письма, которые в сокращенном виде приводятся в моей книге. Перевод вольный. В письмах подробно описана тюрьма Сент-Пелажи.

Sarton, George, Evariste Galois, Osiris, Vol. III., p. p. 241–259, 1937. *(Сартон Жорж,* Эварист Галуа.)

«*Source Book in Mathematics*», New York, 1929. («Математические источники».) Издано Дэвидом Юджином Смитом. В этой книге напечатано письмо Галуа Огюсту Шевалье, написанное накануне дуэли. Английский перевод сделан Л. Вайзнером.

Stenger, Gilbert, The return of Louis XVIII. London, 1909. *(Стенье, Жильбер,* Возвращение Людовика XVIII.) Перевод с французского Р. Ставелла.

Tannery, Jules, Discours prononcè à Bourg-Ia-Reine, «Bulletin des Sciences mathèmatiques», 1909, p. p. 158–164. *(Таннери, Жюль*, Речь, произнесенная в Бур-ля-Рен.) Здесь напечатана речь Таннери, произнесённая 13 июня 1909 года на церемонии открытия мемориальной доски на доме Галуа.

Thureau-Dangin, Paul, Hlstoire de la monarchic de Juillet Fourth edition, Paris, 1904–1911, Vol. 7. *(Тюро-Данжэн, Поль,* История Июльской монархии.) Здесь говорится о том, как был оправдан Галуа после банкета в «Ванданж де Бургонь».

Verriest, G., Evariste Galois et la thèorie des èquations algebriques. Paris, 1934. *(Веррье, Ж.*, Эварист Галуа и теория алгебраических уравнений.) В этой брошюре 58 страниц: краткий очерк жизни Галуа и популярное изложение его теории.

На русском языке имеется книга:

Галуа, Эварист, Сочинения, перев. с франц. Н.Н. Меймана, под ред. и с прим. Н.Г. Чеботарева. М. — Л., ОНТИ, 1936, 336 стр.

В книгу входят: математические работы Галуа (статьи, опубликованные Галуа; посмертные работы Галуа; отрывки, опубликованные Ж. Таннери) статьи Н.Г. Чеботарева «Проблемы современной теории Галуа» и П. Дюпюи «Жизнь Эвариста Галуа» с приложением документов.

ОБ АВТОРЕ

Леопольд Инфельд родился в 1898 году в Кракове (Польша). Еще мальчиком он почувствовал неудержимую страсть к физике. В возрасте тринадцати лет начал заниматься самостоятельно, готовясь к поступлению в университет. Он защитил диплом в Ягеллонском университете (Краков) в 1921 году и до 1930 преподавал в средней школе, а затем в Львовском университете.

В 1934 году появилась его книга «Новые пути в науке».

Вскоре доктор Инфельд поехал в Англию, работал в Кембриджском университете. Там он помог Максу Борну сформулировать теорию поля.

В 1936–1938 годах Инфельд преподавал в Принстонском университете (США), где вместе с Эйнштейном работал над волнами тяготения и в содружестве с ним написал популярную «Эволюцию физики», напечатанную в 1938 году. С 1939 года Инфельд — профессор университета в Торонто (Канада).

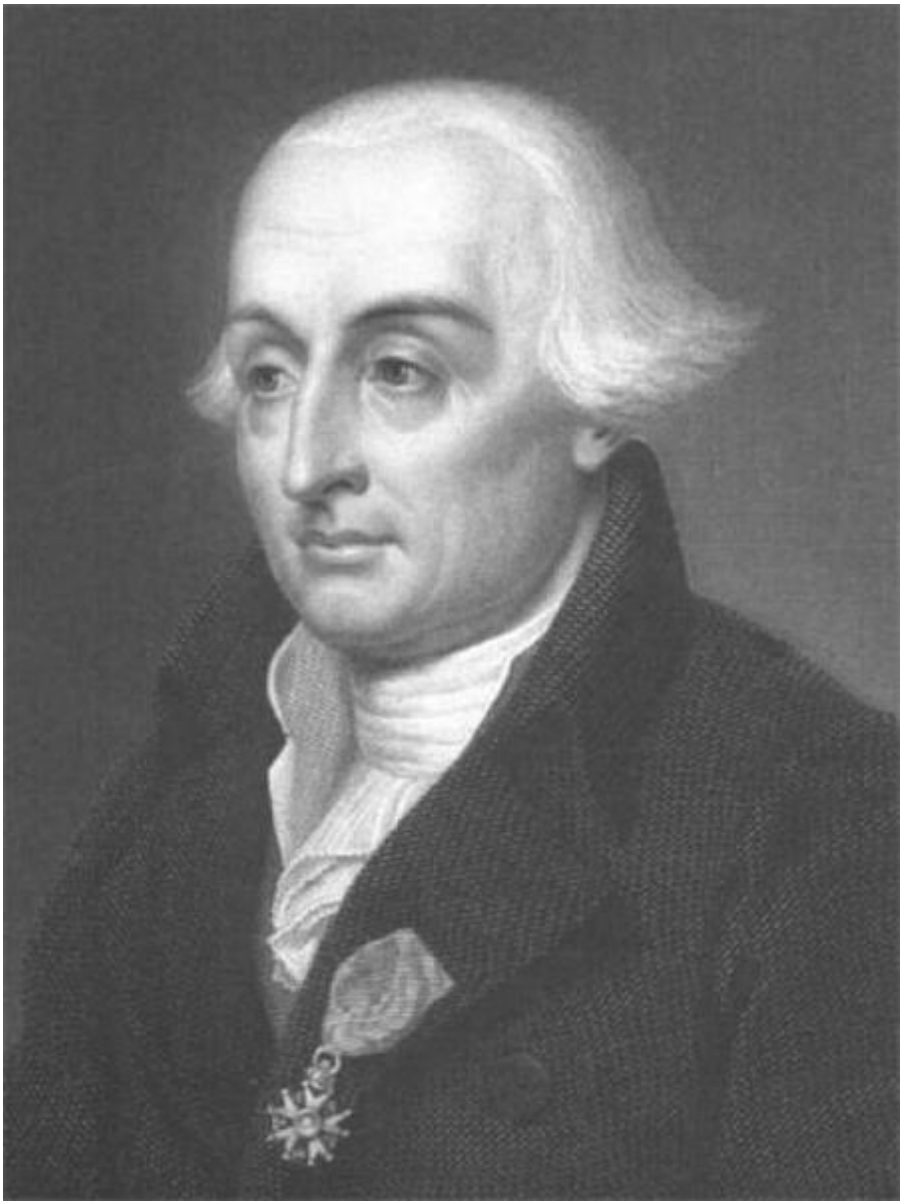
Романизированная биография Эвариста Галуа «Избранник богов» была написана по-английски и впервые издана в 1948 году в Нью-Йорке.

Д-р Инфельд написал также книгу «Поиски», автобиографию, в которой, если верить одной рецензии, впечатления Инфельда от Эйнштейна «составляют одну из наиболее теплых и интересных частей книги и представляют собой отличную краткую биографию Эйнштейна — биографию его духа».

В 1950 году Леопольд Инфельд возвратился в Польшу и занял кафедру теоретической физики Варшавского университета, а позже стал директором института теоретической физики Варшавского университета. Профессор Инфельд — член Президиума Польской академии наук. Он принимает активное участие в движении сторонников мира.

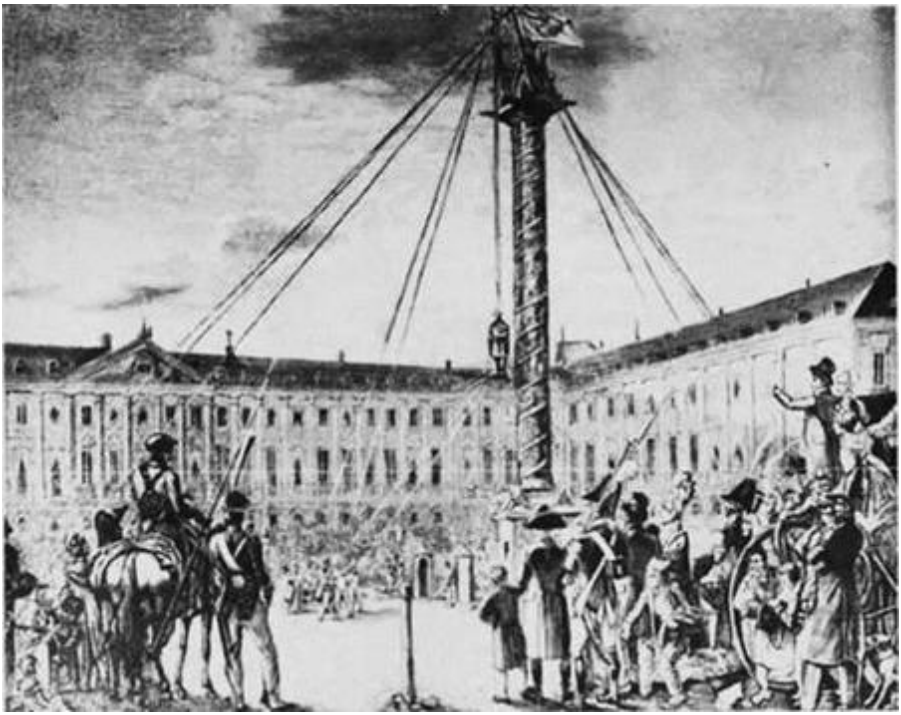
ИЛЛЮСТРАЦИИ

Пьер Симон Лаплас

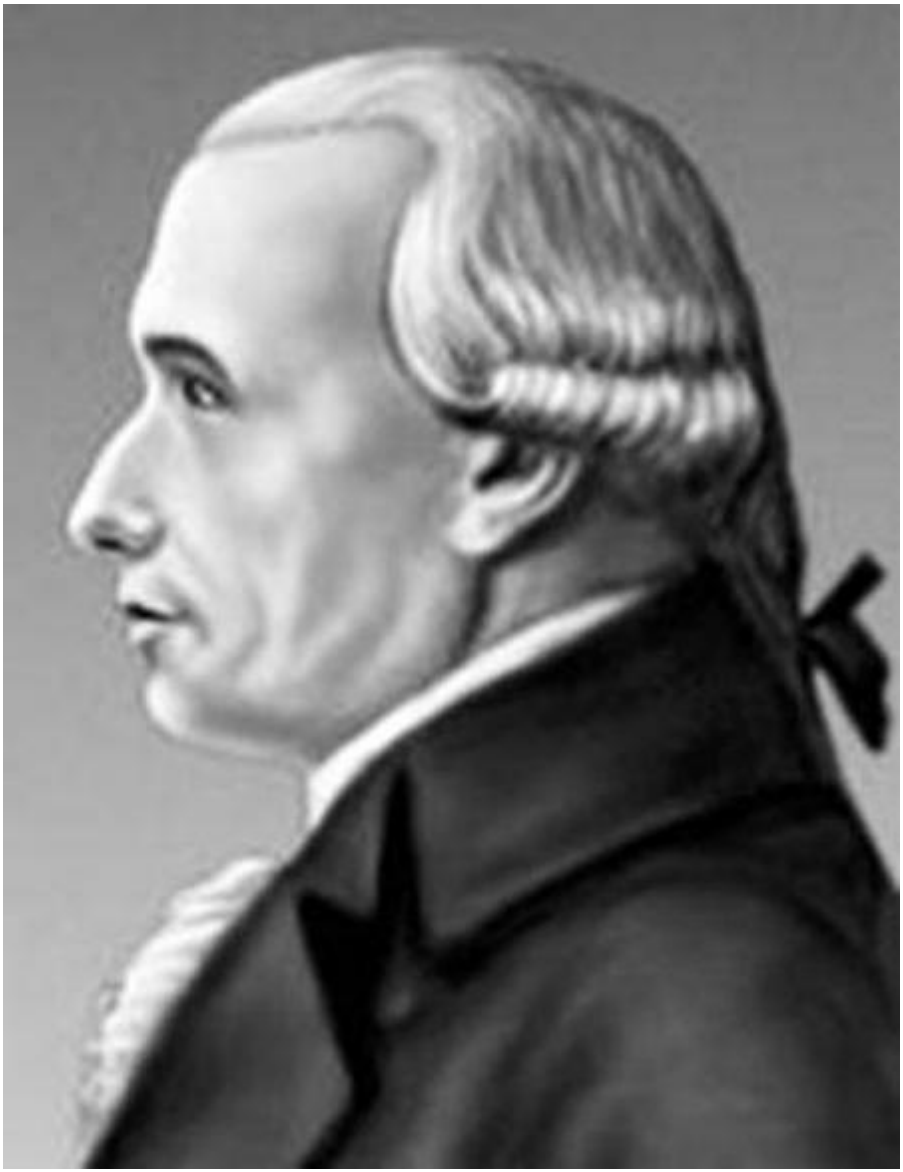


Жозеф Луи Лагранж

Собор Парижской богоматери

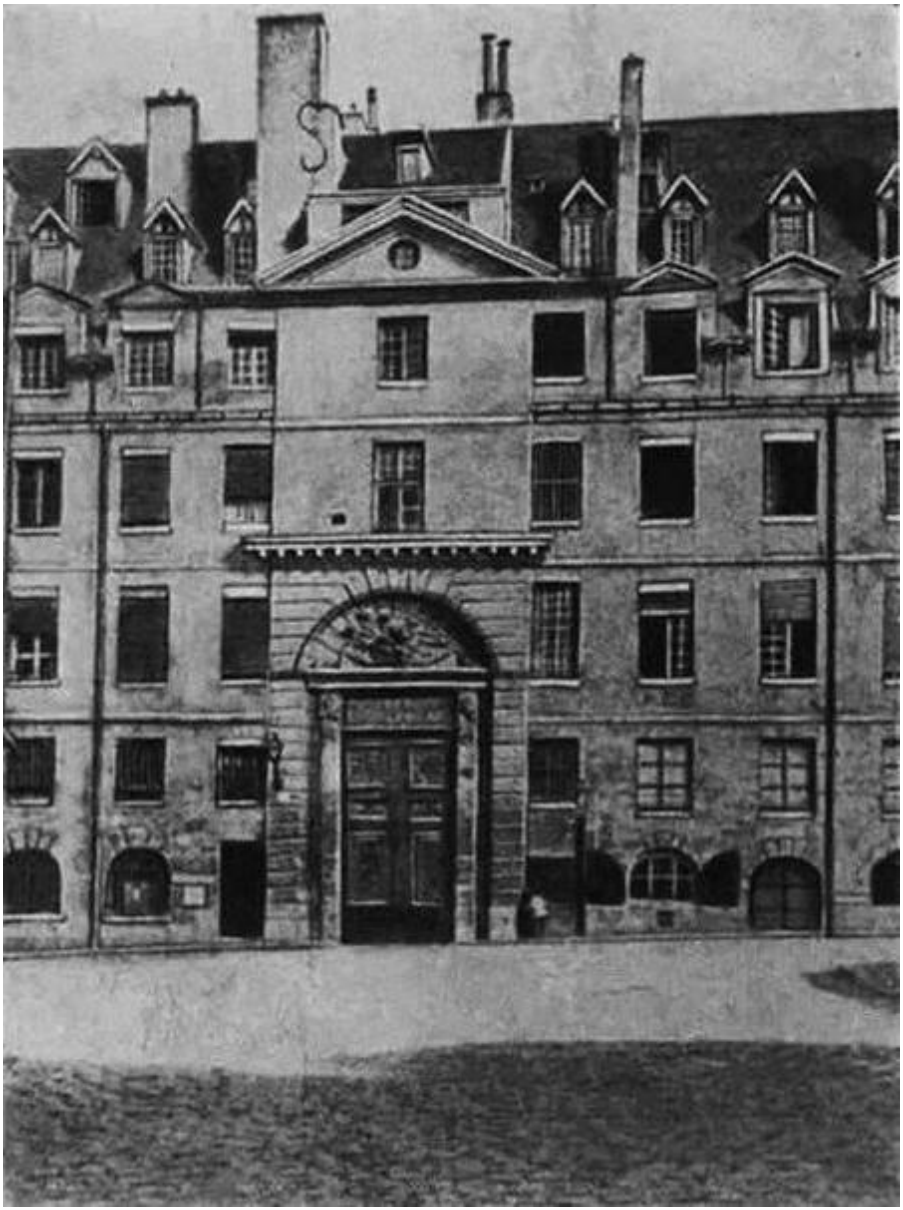


Снятие статуи Наполеона с колонны на Вандомской площади в Париже в 1814 году. С гравюры Опица.



Гаспар Монж

Огюстен Луи Коши



Лицей Луи-ле-Гран

Эварист Галуа

Франсуа Венсан Распай

28 июля 1830 года (Свобода на баррикадах). С картины Э. Делакруа.

Лувр. Париж.

Площадь Карусели. Париж.

"Гаргантюа". Литография О. Домье, 1831 г.

"Опустите занавес, фарс сыгран". Литография О. Домье, 1834 г.

"Геракл Победитель". Литография Ж. Травьеса, 1834 г.

"Раз — два, взяли!". Литография О. Домье, 1832 г.

"Франция, отданная на растерзание воронам всех сортов". Литография Ж.-И. Гранвиля, 1831 г.

notes

Примечания

1

Под «детерминистическими законами» автор имеет в виду так называемый механический детерминизм, исключающий случайность. Как показала квантовая теория, атомные явления также детерминированы, но так, что их законы включают вместе с необходимостью и момент случайности. — Ред. (Издание 1960 г.)

2

«Да здравствует король! Да здравствует наш отец!» *(фр.)*

З

«Да здравствует хартия!» *(фр.)*.

4

Аристократический район Парижа.

5

«Первым посеян был век золотой, не знавший возмездья, сам соблюдавший всегда, без законов и правду и верность». *(П. Овидий Назон,* Метаморфозы. Перев. С. В. Шервинского. «Academia», 1937, стр. 6.)

«Да здравствует король в веках!» *(лат.)*.

Французское Abel (Авель) произносится «Абель».

«Помилуй меня, боже» *(лат.)*.

9

«Боже, чьим милосердием праведные души…» *(лат.)*.

10

Судья, перечисляя пункты обвинения, задает вопрос присяжным относительно виновности подсудимых.

11

«Любовь священная к отчизне!»

12

(лат. Не дважды за одно и то же) — принцип прав человека и уголовного права, согласно которому не должно быть двух взысканий за одну провинность. — Прим. сканериста.

13

«Страшная буря заволокла ослепительный свет вечным мраком».

14

Тень кипариса свет вокруг затмила,
Как осень безотрадная уныла,
Угаснет жизнь моя, близка могила.